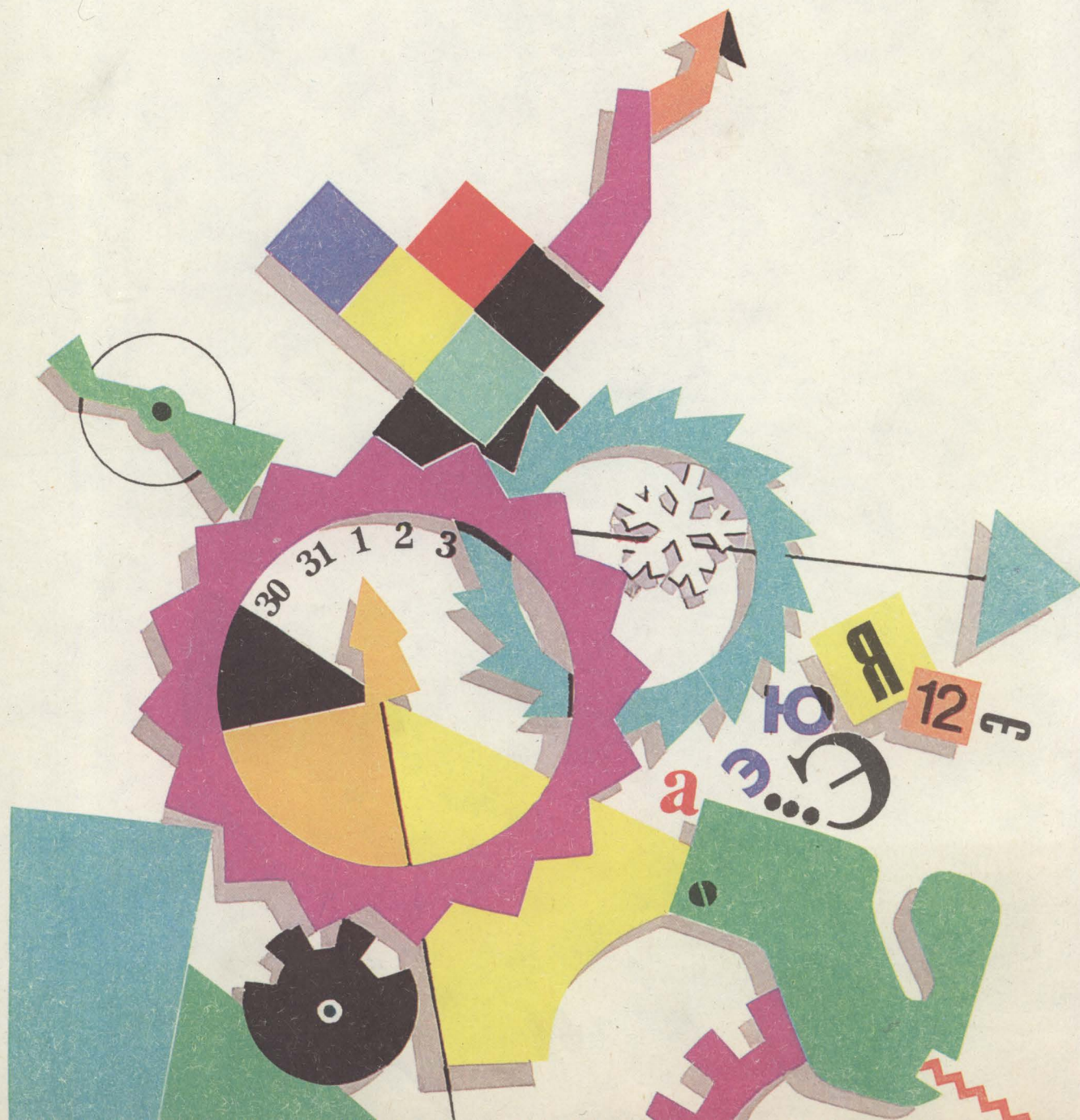


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

12 '90





Эта работа — сборная Камеруна, команда, которая на прошедшем чемпионате мира по футболу вошла в восьмерку сильнейших, — демонстрировалась в конце этого года в Москве на выставке «Гений и безумие».

Кто из художников не испытал однажды нервный срыв? Пятеро ленинградцев, к которым принадлежат и авторы этой работы Дмитрий Дмитриев и Алексей Лазовский, познакомились у врача-психиатра и создали сообщество художников и музыкантов. Эту работу приобрел посол Камеруна в Москве, пообещав, что непременно передаст ее своим футболистам. Подробнее о команде Камеруна и о ее советском тренере Валерии Непомнящем — в конце журнала, в «Хронике футбольного года».

ЮНОСТЬ

12⁽⁴²⁷⁾ '90



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН
Татьяна БОБРЫНИНА
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОКИН
Александр ЛАВРИН
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва



Протоиерей Александр МЕНЬ
(А. БОГОЛЮБОВ)
**СЫН
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ**

«Мне кажется, что мы живем в эпоху, когда спор о том, можно ли построить рай на земле, отказавшись от Неба, приходит к концу. Вскоре, спор окончен».

Это слова отца Александра Менья — из записи его беседы в нашей редакции. А точка в конце этого спора — не его ли мученическая смерть? И другими глазами читаешь сейчас слова пастыря: «Забывают порой, что размахивают факелами около пороховой бочки. Сначала надо либо убрать бочку, либо погасить факел, а потом уже спорить...»

О своей книге «Сын Человеческий» отец Александр отозвался так: «Я ведь не кабинетный теолог, я пастырь. Книга не притягивает на роль научного исследования. Это просто рассказ о Христе. Рассказ для всех... Я надеюсь, что и у нас ее издадут». Перед вами, читатель, — три фрагмента (главы 16, 19 и Эпилог) из этой книги. А последние слова, сказанные им в редакции, звучат так: «То, что мы на земле живем временно, — это неоспоримый факт. Церковь же учит о том, что наши временные, земные дела отзвучат в вечности, где сохраняется бессмертным человеческий дух, ядро личности... Пусть тело наше слабеет, стареет, умирает, но любовь и мудрость должны возрастать, чтобы дух мог стать полноценным в заповедном бытии...»

Трудами и смертью отца Александра Менья да возрастет любовь наша. И мудрость.

Покидать дом в ночь пасхальной трапезы не полагалось, но Иисус нарушил это правило, вероятно, заботясь об учениках. В горнице их легко могли взять вместе с Ним. Не исключено, что Иуда сначала удостоверился, что дом опустел, и лишь потом повел стражу в глухой сад за Кедром, где Учитель часто уединялся с Двенадцатью.

По пути Христос продолжал беседовать с учениками. Он объяснял им смысл таинства Чаши, которое слило причастников в единое целое. «Я — истинная виноградная лоза, — говорил Господь, — и Отец Мой — виноградарь. Всякую ветвь на Мне, не приносящую плода, Он удаляет, и всякую, приносящую плод, — очищает, чтобы больший плод приносила... Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не пребывает на лозе, так не можете и вы, если во Мне не пребываете. Я — лоза, вы — ветви».

Иисус говорил о Духе — Заступнике и Утешителе, Чья сила преобразит апостолов, когда Сына Человеческого не будет с ними. «Еще многое имею вам сказать, но теперь вам не под силу. Когда придет Он — Дух Истины, Он введет вас во всю истину».

Церкви предстоит, как и Христу, пройти через крещение скорбью и испить чашу страданий. Но разлука будет временной. Ученики не должны унывать, расставаясь с Христом. «Истинно, истинно говорю вам: вы будете плакать и рыдать, а мир будет радоваться. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость обратится. Женщина, когда рождает, печаль имеет, потому что пришел час ее. Когда же родит дитя, уже не помнит скорби от радости, что родился человек в мир. И вы теперь печаль имеете, но Я снова увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем».

Посланцы Мессии избраны для великого служения, и Он приведет их в Царство Отца. «Сам Отец любит вас, потому что вы Меня возлюбили и уверовали, что Я от Бога исшел; исшел от Отца и пришел в мир. Снова оставляю мир и иду к Отцу».

Им показалось, что они начинают прозревать.

— Вот теперь Ты открыто говоришь и притчи никакой не говоришь. Теперь мы знаем, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто Тебя вопрошал. Поэтому веруем, что Ты от Бога исшел.

— Теперь веруете? — сказал Иисус. — Вот приходит час — и пришел, что вы рассееетесь, каждый сам по себе, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною.

Он не упрекал учеников, напротив, хотел вселить в них стойкость. «В мире скорбь имеете, но держайте: Я победил мир».

Когда проходили близ храма, Иисус остановился. Безмолвно застыли темные громады крепости и святилища. Утром здесь будет совершаться богослужение и тысячи людей принесут пасхальных агнцев к алтарю. Но спящий город не подозревал, что в эту ночь у стен Дома Божия окруженный одиннадцатью робкими галилеянами молился вселенский Первосвященник и Спаситель. Он просил Отца сохранить Свое малое стадо среди враждебного ему мира. «И не только о них молю, — говорил Он, подняв глаза к звездному небу, — но и о верующих в Меня по слову их, чтобы все едино были, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, чтобы и они в нас были. Чтобы веровал мир, что Ты послал Меня». Грядущий храм Церкви Христовой озарялся лучами божественного Троиинства...

В Иерусалиме до наших дней сохранились стертые ступени древней каменной лестницы. Быть может, именно по ней спускался Иисус, направляясь из города к Елеону. Перейдя Кедронский овраг, Он не пошел в Вифанию, а предпочел остаться в Гефсиманском саду. Это было небольшое частное владение, обнесенное стеной, где находилась оливковая роща.

Полная луна серебрила листву и рождала отблески на изогнутых стволах деревьев. Ничто не нарушало молчания холодной весенней ночи. Ученики, войдя в ограду, стали

располагаться на отдых. «Посидите здесь, а Я тем временем пойду туда и помолюсь», — сказал Иисус, указывая в глубину сада.

Петр, Иаков и Иоанн, которых Он взял с Собой, не могли не заметить внезапной перемены в Учителе. Только что Он был исполнен силы и просветленного покоя, теперь же весь Его облик выражал безмерную муку. «Душа Моя скорбит смертельно», — проговорил Он. — Побудьте здесь и бодрствуйте». Впервые апостолы ощутили, что Ему нужна человеческая поддержка, но были не в состоянии исполнить просьбу Иисуса. Как это порой бывает в момент крайней тревоги, дремота, похожая на оцепенение, сковала их.

Христос отошел в сторону и, упав на колени, начал горячо молиться. Ученики находились недалеко, как говорит Евангелист, «на расстоянии брошенного камня», и отдельные слова Иисуса долетали до них. «Авва, Отче», — слышали они в полузабытьи, — все возможно тебе! Пронеси эту чашу мимо Меня. Но не чего Я хочу, а чего Ты... Не Моя воля, но Твоя да будет».

Он молился. Апостолы спали.

А на улицах Иерусалима уже раздавались шаги стражи...

Что испытывал Сын Человеческий, когда лежал на холодной земле в томлении духа? Мог ли то быть лишь естественный страх перед пытками и смертью? Но ведь его побеждали и более слабые. Почему же поколебался Тот, Кто будет опорой для миллионов?

Нам не дано проникнуть в глубину смертного борения, свидетелем которого был старый оливковый сад. Но те, кому Христос открылся в любви и вере, знают самое главное: Он страдал за нас, Он вобрал в Себя боль и проклятие веков, мрак человеческого греха, пережил весь ужас и ад богооставленности. Ночь, лишенная надежды, обступала Его; Христос добровольно спускался в пропасть, сойдя в нее, вывести нас оттуда к немеркнущему свету...

Что пронеслось перед Его мысленным взором? Картины будущего? Гонения, войны, насилия? Отступничество Его последователей, их неблагодарность и маловерие, их жестокосердие и фарисейство? Это было искушение более тяжелое, чем то, через которое Он прошел в пустыне. Никогда еще человеческое сознание Христа с такой силой не противилось ожидавшему Его кресту, как в час Гефсиманской молитвы. Вот почему Он просил любимых учеников не оставлять Его.

«Симон, ты спишь? — пытался разбудить Иисус Петра. — Не мог ты один час пободраствовать?» Тот поднимался, видел лицо Учителя, изможденное, покрытое, как кровью, каплями пота, но дремота вновь одолевала его. Другие попытки оказались тоже напрасными.

Так, всеми покинутый, страдал Иисус один на один с надвигающимися. Евангелист Лука говорит, что лишь ангел укреплял Его. Это значит, что, не найдя земной поддержки, Он обрел ее в Небе.

Наконец Иисус поднялся. Любовь к Отцу восторжествовала и утвердила в Нем согласие человеческой и божественной воли.

Теперь Его заботили только апостолы. Подойдя, Он заставил их страхнуть с себя сон. «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение... Идем. Вот предающий Меня близко». Они встали, ошеломленно озираясь.

В это мгновение сад осветился фонарями и факелами, послышались шум и голоса. У входа показалась толпа людей. Впереди шел римский трибун с солдатами, за ними — вооруженные храмовые служители.

Иисус двинулся навстречу.

— Кого ищете? — спросил Он.

— Иисуса Назарянина.

— Я есмь, — ответил Христос священной формулой имени Божия.

Иудейская стража, услышав ее, шарахнулась в сторону. Он же сказал:

— Если Меня ищете, оставьте этих, пусть идут.

Тогда вперед протиснулся Иуда. Он обещал дать знак, чтобы при аресте в ночном саду не произошло ошибки.

— Приветствую Тебя, Равви! — сказал он, целуя Учителя.

— Друг, вот для чего ты здесь! — промолвил Иисус. — Поцелуем ли предаешь Сына Человеческого?

Стража немедленно окружила Христа.

— Господи, что если мы ударим мечом? — сказал Петр и, не дожидаясь ответа, бросился на одного из тех, кто начал вязать Учителя. Удар вышел неловким. Рыбак лишь отсек ухо архиерейскому слуге. Его, конечно, тут же схватили бы, но все внимание было сосредоточено на Христе.

«Оставьте, довольно!» — сказал Он апостолам. — Чашу, которую дал Мне Отец, неужели Я не стану пить ее?» Он повернулся к отряду: «Как на разбойника вышли вы с мечами и кольями задержать Меня. Каждый день сидел Я и учил в храме, и вы не взяли Меня. Но этот час ваш, и власть — тьмы».

Быть может, ученики ждали в этот момент чуда, но чуда не произошло.

Грубые руки скручивали Иисуса веревками...

Иуда, боясь, что шум привлечет ненужных свидетелей и может подняться возмущение, торопил воинов: «Возьмите Его и ведите под надежной охраной». После этого пытались задержать и остальных, но они, воспользовавшись темнотой и сумятицей, разбежались.

Когда Иисуса выводили из сада, все, казалось, было спокойно. Замысел врагов удался вполне. Однако неожиданно появился какой-то юноша. Он шел сзади, завернувшись в покрывало. Конвойные, думая, что это один из учеников, схватили его, но он вырвался и, оставив покрывало, убежал нагой. По-видимому, он только что встал с постели. Не был ли тем юношей сам Иоанн-Марк, будущий евангелист? Только он упоминает об этой подробности.

Согласно славянской версии «Войны» Иосифа Флавия, при аресте Иисуса погибло множество народа. Не оказались ли вблизи некоторые галилеяне, сделавшие попытку отбить Учителя? Однако в Евангелиях без всякого смягчения сказано, что, когда Иисус был схвачен врагами, все друзья Его скрылись. При виде Учителя, Который покорно дал увести Себя, их охватила паника, и они забыли, как обещали идти за Ним на смерть. Только Петр и Иоанн, придя в себя после первого потрясения, осмелились последовать за стражей на безопасном расстоянии.

Голгофа

7 апреля

В Иерусалиме до сих пор показывают «Скорбный путь» (Via dolorosa), по которому люди вели на смерть Спасителя мира. С евангельских времен многое изменилось в топографии города, и поэтому трудно отстоять достоверность предания. Несомненно, однако, что именно по такой же узкой восточной улице двигалась процессия, вышедшая из претории в полдень пасхальной пятницы 14 нисана.

Никого из близких не было рядом с Христом. Он шел в окружении угрюмых солдат, два преступника, вероятно, сообщники Вараввы, делили с Ним путь к месту казни. Каждый имел *titulum*, табличку с указанием его вины. Та, что висела на груди Христа, была написана на трех языках: еврейском, греческом и латинском, чтобы все могли прочесть ее. Она гласила: «Иисус Назарянин, Царь иудейский».

Синедрион пытался протестовать против такой надписи, видя в ней оскорбление патристических чувств народа. Но Пилат на этот раз остался непреклонен. «Что я написал — то написал», — ответил он, довольный, что хотя бы таким образом смог досадить людям, принудившим его к уступке.

По жестокому правилу обреченные сами несли *patibulum*, перекладыны крестов, на которых их распинали... Иисус шел медленно. Он был истерзан бичами и ослабел после бессонной ночи. Власть же стремились кончить с делом поскорее, до начала торжеств. Поэтому центурион задержал некоего Симона, иудея из Киренской общины, который шел со своего поля в Иерусалим, и приказал ему нести крест Назарянина. Впоследствии сыновья этого человека стали христианами и, вероятно, от него узнали основные подробности Голгофской трагедии.

У Эфраимских ворот шествие окружили люди. Послышались плач и причитания женщин. Иисус повернулся к ним и впервые за долгое время заговорил: «Дочери иерусалимские, — сказал Он, — не плачьте обо Мне, но о себе плачьте и о детях ваших. Ибо вот приходят дни, когда скажут: «счастливы неплодные и утробы, никогда не рождавшие, и сосцы, никогда не питавшие!» Тогда начнут говорить горам: падите на нас! — и холмам: покройте нас! Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?»

В эти последние часы Он продолжал думать об участи, которая постигнет Иерусалим через сорок лет...

Выйдя из города, повернули к крутому главному холму, расположенному недалеко от стен, у дороги. За свою форму он получил название Голгофа — «Череп», или «Лобное место»¹. На его вершине должны были поставить кресты. Римляне всегда распинали осужденных вдоль людных путей, чтобы их вид устрашал непокорных.

На холме казнимым поднесли напиток, притупляющий чувства. Его делали еврейские женщины для облегчения мук распятых. Но Иисус отказался от питья, готовясь перенести все в полном сознании.

Распятие на кресте не только считалось позорным концом, но и было одной из самых бесчеловечных казней, какие изобрел древний мир. Оно соединяло физическую пытку с нравственным унижением. Не случайно в империи от этого «ужаснейшего и гнуснейшего» вида смерти избавляли всех, кто имел римское гражданство. Распинали обычно мятежных варваров и рабов. Заимствованная римлянами из Карфагена казнь широко применялась уже в дни республики.

Осужденного нагим привязывали, а иногда и прибавляли к столбу с перекладиной и оставляли на медленное умирание. Удущие мучило его, солнце жгло голову, все тело затекало от неестественного положения, раны воспалялись, причиняя нестерпимую боль. Он звал смерть как освобождение, но она не приходила. Бывали случаи, когда люди висели на крестах много дней: иногда им, еще живым, птицы выклевывали глаза...

Чтобы близкие не могли спасти распятых, у крестов выставлялась вооруженная охрана. И на этот раз было выделено четыре солдата с приказом привести приговор в исполнение и остаться в «Лобного места» в качестве караула. Конвоем командовал уже не трибун, как в Гефсимании, а только центурион. Власти поняли, что тревога оказалась напрасной: никаких беспорядков процесс не вызвал. Сторонники Галилеянина разбежались, а многие, наверно, узнали о случившемся, когда было поздно. Арест, суд и казнь были проведены быстро, как и планировали архиереи. Если кто и поверил в мессианство Иисуса, то сейчас они парализованы. Ведь крест значил только одно: Назарянин — лжемессия. О Его притязаниях напоминала теперь только ироническая надпись, прибитая ко кресту.

Издаലെка за казнью следила толпа галилейских женщин. То были: Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломея и другие. Среди них находилась и Мать Господа со Своей сестрой. Горе и отчаяние их были беспредельны. Вот он — «престол Давидов», уготованный Мессии! Из всех пророчеств исполнилось только одно: «оружие пронзило душу Марии». Как могло случиться, что Бог попустил это? Иисус, воплощенная Вера и воплощенная Любовь, стоял беззащитный перед Своими палачами. Давно ли Саломея просила у Него почетного места для сыновей? А сейчас Он должен умереть вместе с преступниками...

Женщины видели, как солдаты сорвали с Иисуса одежды, оставив на Нем лишь набедренную повязку; видели, как был приготовлен крест и Осужденного положили на него. Послышался страшный стук молотков, которыми вгоняли в запястья рук и в ступни огромные гвозди. Это был ни с чем не сравнимый ужас. Стоявший рядом Симон Киренский слышал слова Иисуса: «Отче, прости им, ибо не знают они, что делают». Поистине, ни бездушные палачи, ни иерархи, добившиеся осуждения Иисуса, не понимали, что совершается в этот час. Для одних казнь была просто перерывом в скучных казарменных буднях, а другие были уверены, что оградили народ от «месита», опасного богохульника и соблазителя.

После того как кресты с повешенными были водружены, их завалили у подножий камнями. Теперь конвою предстояло ждать последнего вздоха осужденных. Чтобы скоротать время, солдаты перекидывались шутками, играли в кости. По обычаю им полагалось забирать себе одежду смертников. Они разорвали ее на части, только цельнотканый хитон Иисуса решили не портить и бросили жребий, кому он достанется.

Нередко говорят, что смерть Христа была событием, которое прошло почти не замеченным в тогдашнем мире. Это вполне справедливо. Даже сто лет спустя римский историк Тацит посвятил ему только одну короткую фразу: «Христос в царствование Тиберия был казнен прокуратором Понтием Пилатом». Однако и в Иерусалиме распятию Иисуса Назарянина не придавали слишком большого значения. Переполненный богомольцами город жил своей жизнью. За четыре года правления Пилата народ привык к многочисленным казням.

Люди, спешившие в Иерусалим, не удивлялись, видя кресты на холме. В дни праздников показательные расправы были нередки. Прохожие останавливались и с холодным любопытством читали надписи. Некоторые, слышавшие о Назарянине, злорадно кричали: «Эй! Разрушающий храм и воздвигающий его в три дня! Спаси Себя самого, сойди с креста!»

Те члены Синедриона, которые не могли отказаться от мстительного удовольствия видеть конец Осужденного, тоже пришли на Голгофу. «Других спасал,— со смехом переговаривались они, намекая на крики «Осанна!»¹,— а Себя Самого не может спасти! Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверовали. Он возложил упование на Бога; пусть избавит Его теперь, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын».

Между тем подул ветер и мурные тучи заволокли небо². Казалось, само солнце скрылось, чтобы не видеть безумия людей. А они продолжали глумиться над Христом, безмолвно терпевшим нечеловеческую муку. Глумились солдаты, глумились старейшины, глумились случайные зрители. Даже один из мятежников, повешенный рядом с Ним, присоединился к злобному хору...

Три года, проходя по этой земле, Иисус учил людей быть сынами Отца Небесного, облегчал страдания, проповедовал Евангелие Царства. Но люди не захотели войти в это Царство. И язычники, и иудеи верили в царство мира сего, а Христово Царство сходило с Неба и вело к Небу.

Но вот теперь Он умолк, Он побежден и никогда больше не будет вселять в них тревогу.

Вдруг произошло нечто неожиданное. Второй осужденный сказал своему товарищу, который вместе с толпой насмехался над Галилеянином: «Не бойшься ты Бога! Ведь сам ты приговорен к тому же. Мы-то — справедливо, ибо достойное по делам получаем. Он же ничего дурного не сделал». Быть может, человек этот еще раньше слышал проповедь Иисуса; быть может, лишь в этот миг ощутил какую-то силу, исходящую от Распятого рядом с ним, только в душе его внезапно вспыхнул луч веры, исторгнутый предсмертной тоской.

— Вспомни меня,— сказал он, взглянув на Христа,— когда Ты придешь как Царь.

Запекшиеся уста Иисуса разомкнулись, и Он ответил:

— Истинно говорю тебе, сегодня со Мною будешь в раю.

Толпа постепенно редела. Стоявшие поодаль женщины осмелились, невзирая на солдат, приблизиться. Крест был высок, однако с Распятым можно было говорить³. Увидев Свою Мать, подошедшую с Иоанном, Иисус в последний раз обратился к Ней. «Вот сын Твой,— сказал Он, а потом взглянул на любимого ученика.— Вот Мать твоя». И после этого Он умолк...

Тучи сгустились; к трем часам дня стало темно, как в сумерках. Неимоверная тяжесть, которая начала спускаться на Иисуса еще в Гефсиманскую ночь, достигла предела. Уже давно ждал Мессия этой последней встречи со злом мира, окутавшим Его теперь, как черная пелена. Он поистине сходил в ад, созданный руками людей.

— Элахи, Элахи, лема шабактани! Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил!

В этом вопле псалмопевца Христос излил всю глубину

¹ Место Голгофы в настоящее время почти не вызывает сомнений. Оно находилось за старой стеной у Эфраимских ворот. Там, по видимому, был пустынный карьер для добывания камня. Голгофа рано стала местом почитания у христиан. Ее расположение не было забыто и после того, как в 30-х годах II века император Адриан воздвиг там новые здания. Неподалеку находился и гроб Господень, над которым в IV веке соорудили храм Воскресения.

¹ Возглас «Осанна!» буквально означает «Спасай нас».

² «Тьма», описанная в Евангелии, не могла быть солнечным затемнением, т. к. Пасха падала на первое весеннее полнолуние. На это указывал еще св. Иоанн Златоуст (Беседы на Матфея, 88). По видимому, над Иерусалимом скопились тучи или воздух потемнел, как бывает, когда поднимается ветер *хамсин*.

³ Чаще всего кресты были в рост человека. Но поскольку воин, чтобы протянуть смоченную губку Христу, должен был надеть ее на трость, можно полагать, что Его крест был высоким, около 3 м.

Своего беспредельного томления. Конца молитвы Он не дочитал...

Стоявшие на Голгофе не разобрали Его слов. Солдаты решили, что Распятый призывает Гелиос, Солнце, а иудеям по созвучию послышалось имя Илии-пророка¹. «Вот Илию зовет!» — сказал кто-то.

Начиналась агония. «Шахена!», «Пить!» — просил Иисус. Один из воинов, движимый состраданием, подбежал к кувшину с «поской», кислым напитком, который солдаты постоянно носили с собой, и, обмакнув в него губку, протянул на палке Умиравшему. Более черствые отговаривали его: «Оставь, посмотрим, придет ли Илия спасти Его».

Едва только влага коснулась воспаленных губ Иисуса, Он проговорил: «Свершилось». Он знал, что смерть уже рядом, и снова стал молиться, повторяя слова, которые Мать учила Его произносить перед сном: «Отче, в руки Твои предаю дух Мой...»

Внезапно у Страдальца вырвался крик. Потом голова Его упала на грудь. Сердце остановилось. Он был мертв.

Сын Человеческий выпил Свою чашу до дна.

В это мгновение люди почувствовали, как вздрогнула земля, и увидели трещины, пробежавшие по камням. Воздух был душным, как перед грозой. Центурион, который долго всматривался в лицо Распятого, воскликнул: «Поистине этот Человек — сын богов!» Что-то таинственное открылось римлянину в последние минуты казни².

Грозные явления природы действовали на всех угнетающе. Смущенные и испуганные, возвращались люди в город. Они били себя в грудь в знак скорби, догадываясь, что совершилось нечто ужасное.

На фоне сумрачного неба высились контуры трех крестов. Но не только о жестокости и злобе человеческой говорили они. Отныне это орудие казни станет символом Искушения, символом жертвенной любви Бога к падшему человечеству...

Эпизод

Пронеслись века...

Возникали и рушились империи, гибли цивилизации, военные, политические и социальные перевороты меняли самый облик земли, но Церковь, основанная Иисусом Назарянином, возвышается, как скала, среди этого клокочущего моря.

Вера, которую в первые дни исповедовало всего несколько десятков человек, движет сегодня миллиардом жителей земли, говорящих на разных языках и создавших бесчисленные формы культур.

Когда евангельская проповедь, подобно свежему ветру, ворвалась в дряхлеющий античный мир, она принесла надежду опустошенным и отчаявшимся, вдохнула в них энергию и жизнь. Христианство соединило мудрость Афин и чаяния Востока с мечтой Рима о всеобщем «согласии»; оно осудило угнетателей, возвысило женщину, способствовало искоренению рабства.

Позднее в молодых варварских странах Запада оно стало опорой гуманности и просвещения, заставив грубую силу признать духовный и нравственный авторитет. Постепенно христианская «закваска» превратилась в Европе и Новом Свете в источник динамики, которого не знали все пятьдесят тысяч лет существования человека.

Христианство влекло к себе людей, казалось бы, абсолют-

но непохожих: от рабов Рима до Данте, от Достоевского до африканских пастухов. Оно укрепляло мучеников Колизея и давало силу своим исповедникам в XX веке.

В каждую эпоху Новый Завет обнаруживал скрытые в нем неистощимые импульсы к творчеству. Если первыми учениками Иисуса были простые галилеяне, то впоследствии перед Его крестом склонились величайшие умы всех народов. Его откровение озарило мысль Августина и Паскаля, любовь к нему возводила рукотворные утесы храмов, вдохновляла поэтов и ваятелей, вызывала к жизни могучие звуки симфоний и хоралов. Образ Богочеловека запечатлен Андреем Рублевым, Микель Анджело, Рембрандтом; на пороге третьего тысячелетия Евангелие, повествуящее о Христе, переведено на полторы тысячи языков и расходитя по миру, не уступая прославленным творениям человеческого гения.

Даже когда многие христиане забывали, «какого они духа», а их измены Завету Спасителя вооружали против Церкви множество врагов, Евангелие «неприметным образом» продолжало действовать на людей. Идеалы справедливости, братства, свободы, самоотверженного служения, вера в конечную победу добра и ценность человеческой личности — словом, все, что противостоит тирании, лжи и насилию, черпает, пусть и бессознательно, живую воду из евангельского родника.

Грозы и ураганы пронеслись над Церковью, внешние и внутренние опасности подстерегали ее. Властолюбие вождей и непреодоленное язычество толпы, мирские и аскетические соблазны, натиск открытых противников и грехи христиан, распри и расколы порой, казалось, ставили под удар само существование Церкви. Но она выдержала все исторические битвы и кризисы.

Тайна ее неодолимости заключена в Сыне Человеческом, Который, по слову апостола, «вчера, сегодня и вовеки — Тот же» в дарах Духа, сходящего на верных Ему.

Непросветленное сознание человека ищет внешнего величия, поклоняется зримой силе; но не это дает ему Евангелие. «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев — соблазн, для эллинов — безумие». Открывается миру и спасает Бог униженный, умаленный в глазах «века сего».

Каждая душа, обретшая Иисуса Христа, отныне знает, что человек — не одинокий скиталец, которого некому окликнуть в черной космической пустыне, а дитя Божие, соучастник божественных замыслов. Воплотившийся на земле указал людям на их высшее предназначение, освятил и одухотворил человеческую природу, посеяв в ней семена бессмертия. В Его лице сокровенный и непостижимый Творец стал близок нам, и это наполняет жизнь радостью, красотой, смыслом. Нет больше «пугающего безмолвия бездны», над всем — свет Христов и любовь Небесного Отца...

Вот почему всякий раз, когда христианство считали уже похороненным, оно, как Распятый и Воскресший, вставало из гроба, являя непреложность обетования: «Ты Петр, и на этой Скале Я построю Мою Церковь, и врата ада не одолеют ее».

Не доктрины или теории, а Сам Христос вечно обновляет христианство и ведет его в бесконечность.

Столетия, минувшие с пасхального утра в Иудее, не более чем пролог к богочеловеческой полноте Церкви, начало того, что было обещано ей Иисусом. Новая жизнь дала только первые, подчас еще слабые ростки. Религия Благой вести есть религия будущего. Но Царство Божие уже существует: в красоте мира и там, где среди людей побеждает добро, в истинных учениках Господа, в святых и подвижниках, в тех, кто хочет идти за Ним, кто не покинул Христа среди тяжких испытаний Его Церкви...

Дай же нам, божественный Учитель, мощь их веры, несокрушимость их надежды и огонь их любви к Тебе. Когда, заблудившись на жизненной дороге, мы остановимся, не зная, куда идти, дай и нам увидеть во мраке Твой лик. Сквозь рев и грохот технической эры, столь могущественной и одновременно столь нищей и бессильной, научи внимать тишине вечности и дай услышать в ней Твой голос, Твои вселяющие мужество слова: «Я с вами во все дни до скончания века».

¹ Пс 21. Еврейский текст этой строки псалма звучит: «Эли, Эли, лама азабани!» Христос же произнес молитву в арамейском варианте (если судить по греческой транскрипции слов у Мф и Мк). Произнесение Христом этой молитвы на языке, который Он употреблял в повседневности, указывает на глубоко личное переживание Им слов псалмопевца. Имя Илии-пророка произносилось как «Элиягу», что объясняет ошибку находившихся у креста. В некоторых древних рукописях стоит: «зовет Солнце». Для язычников эта ассоциация со словом Элиос (Гелиос) более естественна.

² Мф 27, 54. В устах римлянина-язычника более вероятно выражение «сын богов». Из текста Мк 15, 39 следует, что центуриона поразили облик и слова Иисуса перед смертью. Мф (27, 51—53) говорит о знамениях, сопровождавших смерть Иисуса (разорванная завеса в храме, землетрясение, явления умерших). Древнее Евангелие от Назария поясняет, что землетрясение повредило балку храмовых дверей (см.: Иероним. Письмо 12 к Эбидию). Некоторые экзегеты рассматривают эти сообщения просто как символ конца Ветхого Завета. Однако вполне вероятно, что в тот день действительно произошло землетрясение. Тектонические явления в Иудее были нередки.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

ИСКУПЛЕНИЕ

Роман

Когда «культурник» подошел сзади к Сашеньке и взял ее за плечо, она рванулась, хотела убежать, но он держал ее крепко, так что от железных пальцев его ныла Сашенькина ключица. И в то же время «культурник» говорил ласково.

— Ты, Саша, не дичись... Я тебе худа не сделал, но, если не нравлюсь, не признавай меня посла... А пока матери помочь надо... Я этого дежурного знаю малость... Тоже фронтовик... Подождать надо... Фронтовик фронтовика уважить должен... Майор сухой сердцем, а начальник в разъездах. Один дежурный там ничего...

— Куда вы меня ведете? — сердито спросила Сашенька.

Они шли по каким-то узким проходам, между заборами, среди запорошенных снегом огородов, на которых кое-где шелестели остатки прошлогодней сухой кукурузы.

— Вон там он живет, — сказал «культурник», кивнув на низкую, совсем сельскую мазанку с белыми стенами и соломенной крышей. Мазанки эти сплошь и рядом встречались не только на дальних улицах, но даже в центре, во дворах, за кирпичными домами. Здесь же таких мазанок в два-три оконца раскидано было с десяток среди огородов и вишневых деревьев. Кудлатые непородистые собаки рвались с цепей на чужаков, носились вдоль низких плетеных заборов — тынов. Мазанки эти с одной стороны подступали ко двору восстановленной недавно двухэтажной городской больницы, а с другой — к выстроенным в тридцатые годы красным корпусам, где жили рабочие завода «Химаппарат».

— Давай посидим, — сказал «культурник» и уселся на лавочку, сколоченную у ворот, но не перед домом дежурного, а чуть в стороне, так что подход к этому дому хорошо просматривался.

— Он на обед идти должен... Я уж раз с ним толковал здесь...

— Пустите плечо, — злобно сказала Сашенька.

«Культурник» смущенно разжал пальцы, и Сашенька повращала рукой, разминая похрустывающие суставы. Дурные предчувствия томили ее, а болезнь, неожиданная растерянность перед Васей и Ольгой, внезапная жалость, тоска, даже нежность к матери совсем ослабили Сашеньку, и она поняла, что должна озлобиться, чтоб окрепнуть.

— Гляди, — сказал вдруг «культурник», — вот шельма, тоже пронюхала...

Шарахаясь от рвущихся собак, вдали между заборов пробиралась женщина в каракуле.

— Спекулянтка, — сказала Сашенька, — и муж ее спекулянт. Таких к ногтю надо...

— Нет, — ответил «культурник», — это не уголовная... По 58-й статье ее мужа пускать будут... Враг народа... В пединституте учителем литературы был... Этим мне не жалко... Мы на фронте за родину костей не жалели, а они родиной за иностранные деньги торгуют... Знаешь, какие слухи ходят... Мне дружок говорил, фронтовичок... Умный парень... Девять классов образование... С союзниками нашими не очень чисто... Я и сам англичан не очень люблю... Американцы — те ребята ничего, я от них технику принимал... А англичане советскую власть шибко не любят... Дружок мой, он парень не промах, раз говорит, верить можно...

Женщина в каракуле между тем перебралась через мосток, проложенный над канавой, и, привалившись к плетеному забору, принялась также вглядываться в тропку, вьющуюся среди заснеженных огородов,

ноги ее в фетровых модных ботах, видно, зябли, и она постукивала задниками бот одну ногу о другую.

— Перехватит дежурного, — с тревогой сказал «культурник», — вот народ... Пройдоха народ... Ты бы здесь посидела, а я с фланга, может, пойду...

Но в этот момент послышался шорох прошлогодних стеблей кукурузы, это шел на обед дежурный, но не по тропке, а огородами сзади, и таким образом жена врага народа в каракулевой шубе оставалась при пиковом интересе. Однако дежурный был не один. Его уже перехватила где-то, очевидно, неподалеку, старушка Степанец. Лицо дежурного было растерянным и усталым, а глаза беспокойно бежали.

— Отстань, бабка, — хрипло, сорванным голосом говорил дежурный, — я чего могу... Судить его будут... Я же не судья...

— А худой он какой, сыночек мой, — причитала старушка, — каждую косточку видать... Большой весь... Кровью кашляет... Еще до войны кровью кашлял... В область его возили... Прохвессор сказал в тепле держать... Теплое молоко пить по утрам и перед сном... С медом...

— Чего ты мне голову морочишь, — рассердился дежурный. — К начальнику иду... К майору иди... Убийца сын твой, понимаешь... Он граждан мирных убивал... На него протокол есть... Понимаешь... Когда детей из детдома стреляли... Цыган и евреев... И в районе вашего села он в расстрелах участвовал... Тоже протокол есть...

— Пустили б меня к нему, — причитала старушка Степанец, словно не слыша, что ей говорит дежурный, и твердя свое, — мне места не надо... Я б возле него на полу спала... Большой он. Может, прибрать что от него надо или подать надо...

— Завтра приходи, — очевидно, чтоб отвязаться, сказал замученный дежурный, — приходи в час дня в канцелярию...

— И справку принести? — спросила обнадуженная старушка, несколько даже повеселев.

— Какую еще справку? — удивился дежурный.

— Где про его болезни сказано, — ответила старушка.

— Хорошо, — махнул рукой дежурный. — И справку принеси...

— Спасибо тебе, — поклонилась старушка и перекрестилась, — добрый ты... На тебя все так говорят... Дай тебе Бог удачи... — Она пошла назад вдоль по тропке.

Стало заметно холодней, подул ветер, сдувая снег с вишневых деревьев и прошлогодних сухих стеблей кукурузы. Чувствовалось приближение метельной, морозной ночи, будто и дня не было, а позднее утро сразу переходило в рано наступающие сумерки.

— Ты что же это, Степанец, — крикнул дежурный вслед старушке, — семь километров сейчас потопашь?..

— Семь, — оборачиваясь, ответила старушка.

— Пешком?

— Подводы не найдешь, — сказала старушка, — поздно... Это пораньше бы, может, и подвез кто...

— И полем все? — спросил дежурный.

— До Райков поле, — сказала старушка, — после лесопосадка и вниз под уклон... После снова поле... Из городу легко идти, а в город тяжелее... Не с горы, а на гору... А пока на гору взберешься, упреешь вся...

— Ты вот что, — сказал дежурный, — ты лучше завтра не приходи... Ты через три дня... Боюсь, начальника не будет, а без него чего можно решить...

— Нет, — сказала старушка. — Я приду... Вдруг будет... Передачу, может, разрешит... Я сыночку пряники с медом напекла... А не будет начальника, я назад пойду...

Она перекрестилась и пошла по проходу между заборами, сгорбленная, часто по-старушечьи семеня огромными валенками, перевязанными по-хозяйски вокруг ступней тряпками, набитыми для утепления соломой. Семена валенками, дойдет она до окраины города, пойдет ночным метельным полем через спящие Райки будоражить собак, через замерзшую лесопосадку под гору, скользя по укатанному санями снегу, и так семь километров до самого Хажина... А утром в город, к сыну...

Старушка давно уже скрылась, а дежурный все не шел обедать, хоть мазанка его была рядом, все стоял и думал чего-то.

— Подойти сейчас, что ли? — шепнул «культурник» Сашеньке.

Но женщина в каракулевой шубке опередила их. Стремглав, спотыкаясь и даже разок упав очень смешно, так что каракулевый капор съехал ей на ухо, женщина кинулась через огорода к дежурному. Она зацепилась пыльным, с буфами, рукавом о ржавый моток колючей проволоки, свисающий со столба, и разодрала рукав так, что лоскутья каракуля повисли. У Сашеньки на мгновение радостно екнуло сердце, потому что она ненавидела женщину за то, что та тоже красивая, может, красивей Сашеньки и имеет шубку, какой у Сашеньки нет, а также еще за что-то неясное, но, как Сашенька догадывалась, в этом неясном и была главная причина нелюбви Сашеньки к этой женщине. Однако сейчас Сашенька радовалась недолго, потому что недобрые предчувствия томили ей сердце. Может, одним из этого неясного было то, что Сашенька где-то смутно в подсознании начала догадываться: женщина эта знала и успела пожить жизнью, которая не то что не была Сашеньке доступна, но Сашенька даже не умела мечтать о такой жизни, впрочем, может, в той жизни и были легкие, не имеющие формы сны, которые очень редко снились Сашеньке и в которых было не меньше захватывающего дух счастья, чем в ночных физических томлениях, когда во сне они оканчивались диким сладким восторгом, приводящим к покою. В тех редких бесформенных снах, очень редких, так что за всю жизнь Сашенька помнит, может, два или три таких счастливых состояния, а кроме состояния, не помнит ничего, ни одной детали, впрочем, однажды она запомнила пейзаж какой-то местности, в которой не была никогда, залитой лунным светом, в тех редких снах тоже был восторг и была сладость, но не было дикости и тоски, и все это не кончалось покоем, который вскоре переходил в скуку и переходил даже в неприязнь к недавней сладости, потому что покой присутствовал там всегда, и восторг, и сладость в тех снах все время были полны покоя, там ни к чему нельзя было прикоснуться, ни к окружающим предметам, ни к себе, это единственное, что Сашенька помнила твердо.

Женщина в каракуле между тем подбежала к задумчиво стоящему дежурному.

— Товарищ начальник, — сказала женщина дрожащим от уважения голосом.

Дежурный поднял голову и оторопело посмотрел на женщину. Дежурный был молод, и женщина, решив, что он разглядывает ее красивое лицо, кокетливо опустила ресницы, а левую руку, на которой был разодран рукав, спрятала за спину, зажав в ней хозяйственную сумку.

— Я хотела бы с вами говорить наедине, — шепотом, заставлявшим, может быть, биться не одно мужское сердце, проговорила женщина. — Главное, выслушайте меня... Я давно добивалась свидания с вами... Именно с вами. — Она сунула правую руку за пазуху своей каракулевой шубки и вытащила несколько тетрадей в коленкорových переплетках.

— То, что произошло с моим мужем, недоразумение,— торопливо, боясь, что ее прервут, заговорила женщина,— может, он резок, может, он иногда туманно выражается, но это очень талантливый человек... Поверьте... Его не поняли... Я не хочу сказать, что его оклеветали умышленно... Его не поняли... У нас есть много знакомых в Москве... Уважаемых лауреатов... Я написала им, как только это случилось... Я уверена, они прислали характеристики... Либо пришлют... Обратите внимание... Мой муж — тяжелый человек, я знаю... Я сама с трудом его временами терплю... Но он талант... Он эрудирован... Он владеет четырьмя языками... У него переводы с английского... Он переводил Байрона... И Лорку... Это с испанского... Вот смотрите, слушайте... Это талант... — Она неловко подбородком, потому что левая рука была занята, раскрыла верхнюю тетрадь и начала читать негромко, очевидно, наугад, то, что оказалось перед глазами. «Дитя у тебя родится прекрасней ночного ветра. Ай, свет мой, Габриэлильо! Ай, Сан-Габриэль пресветлый! Я б ложе твое заткала гвоздикой и горлицей. — С миром Анунсиасион, звезда под бедным нарядом! Найдешь ты в груди сыновей три раны с родинкой рядом. Ай, свет мой, Габриэлильо! Ай, Сан-Габриэль пресветлый. Как ноет под левой грудью, теплом молока согретой!.. Дитя запевает в лоне у матери изумленной. Дрожит в голосочке песня миндалинок зеленой. Архангел восходит в небо ступенями сонных улиц. А звезды на небосклоне в бессмертники обернулись!»¹

Дежурный смотрел на женщину все с большим изумлением, потом лицо его потемнело, потом налилось густой краской, и он впал в тот страшный гнев, который чрезвычайно редко нисходит на людей добрых и незлобивых, но который особенно бывает страшен у таких людей в те минуты и подлинные причины которого не вполне понятны ни им, ни окружающим. Впрочем, кончив читать, женщина, чтоб усилить впечатление, действительно позволила себе несколько двусмысленные взгляды и движения, которые при желании можно было принять за попытку соблазнить...

— Сука,— закричал дежурный и, выбив тетради у женщины из рук, наступил на них ногой,— использовать меня хочешь... Подсунуть филькину грамоту... Купить... В сорок втором я б тебя, не задумываясь... В партизанах... Я б тебя прошил... Я б из автомата тебя...

Женщина, тоже словно потеряв страх и безумев, упала на колени и стала с силой выдергивать тетради из-под ноги дежурного. Некоторое время со стороны они представляли странное зрелище, дежурный изо всех сил прижимал тетради ногой к земле, а женщина тянула так, что глаза ее выпучились и подрисованные брови, поверх выщипанных, размыло потом, краска потекла по лицу. Наконец то ли женщине удалось выдернуть тетради, то ли дежурный, опомнившись, отступил. Женщина торопливо спрятала тетради на груди и, очевидно, окончательно перестав ориентироваться в ситуации, протянула дежурному корзинку.

— Это вам,— пролепетала она,— здесь мяско жареное с чесночком... И печенье домашнего приготовления... С яичным порошком...

— Взятку мне давать,— крикнул несколько успокоившийся было дежурный,— да я тебя упеку... Вместе с мужем... Параша таскать будешь...

Женщина не то чтобы крикнула, а скорей пискнула, словно попавшая в силки птица, и побежала через огороды, ударилась о забор и скрылась. Дежурный дышал, как после переноски тяжестей, он расстегнул полубубок, расстегнул китель и подставил морозному

ветру взмокшую от пота тельняшку. «Культурник» подошел к нему сзади, осторожно похлопал меж лопаток. Дежурный вздрогнул, обернулся и, увидев «культурника», сказал успокоенно:

— Э, это ты, фронтовичок... Ну-ка пойдем ко мне... Я рядом тут живу... Жена борща наварила... Пообедаем...

— Я не один,— сказал «культурник» и кивнул на Сашеньку.

Дежурный глянул на Сашеньку и, кажется, узнал, но не сказал ничего.

Они вошли в небольшой дворик, а оттуда в низенькую мазанку с земляным полом, где действительно вкусно пахло только что сваренным борщом.

— Гануся,— ласково сказал дежурный жене,— ты нам дай перед обедом по стопочке... По самой маленькой, потому что мне ж еще на работу...

Жена дежурного Гануся была похожа на мужа, словно сестра, такая же белобрысая. Она легко и тихо накрывала на стол, мягко ставила алюминиевые миски, умело одинаковыми ломтями резала хлеб, и дежурный следил за ней с ласковой улыбкой, а в глазах его была вечная любовь до самого гроба, которую подтверждала надпись густой невыводящейся трофейной тушью у запястья: «Ганна» написано было большими буквами так, что «Г» верхней головкой касалось выпуклых синих жил, проступающих сквозь кожу, словно имя любимой смывалось и пропитывалось живой кровью.

— Уйду я с этой работы,— чокнувшись с «культурником» и выпив, сказал дежурный,— трое суток не спал уже... И вчера на банду ходил в Райковский лес... Кореша рядом со мной из автомата пополам разрезало... Кишки наружу... — Он скатал из хлеба мякиш, мякишем этим подобрал со стола хлебные крошки, проглотил. — Но дело не в том... Ты меня понимаешь... Мы смертей и кишок за три года навелились... Не в том дело... Добрый я слишком для такой работы... Кто про меня этот слух пустил, не знаю... Но только идут ко мне и идут... Все прошения ко мне... Не к майору, не к начальнику... Вот старуха Степанец ходит каждый день... А сыну не меньше 25 светит... Хотя он и года, думаю, не протянет... Чахотка... Так с чахоткой и в зондеркоманду пошел... У нас показания имеются... Некоторые из трусости шли, а он добровольно, даже принимать по болезни не хотели... Добивался... Начальнику гестапо жалобу на местного полицию писал... У нас этот документ к делу приобщен... А сегодня вообще денек... И эта подвернулась, соблазняет меня... Брови навела, читает что-то, то ли русское, то ли нерусское... Арестант у нас есть, по 58-й проходит... Измена родине... Хотя много, конечно, и лишнего пишут, говоря прямо. Кто по злобе счета сводит, кто не разобравшись... А тут еще сегодняшняя неприятность. Арестантов к вокзалу не довели... Теперь ночью отправлять надо... Выговор я заработал, это уже третий у меня.

Гануся вынула из печи чугунок. Необыкновенно вкусный пар шел от него, так что от пара этого опьянеть можно было. Это и был украинский борщ, который готовился только в чугушке и только в деревенской печи, он был цвета венозной крови, темный и тягучий, и ложка, поставленная торчком, не падала в нем, застряв меж реквизированных у спекулянтов овощей, большая часть которых, без сомнения, шла в детдом, меньшая же — в столовую органов и пожеланию для семейных сухим пайком. Картошка в борще этом была не склизкая мороженая, а мягкая, маслянистая, капуста не напоминала вкусом горьковатые листья с осенних деревьев, а напоена была соком хорошо унавоженных частных огородов, бурак был не бледно-розовый, терпкий, а темно-вишневый, сладкий, мясо не резиновое с костями, а соч-

¹ Перевод А. Гелескула.

ное, легко рвущееся на ломтики, пропитанное жирком, утаенное от немецких реквизиций и вскормленное, очевидно, лучшими кусками ворованного колхозного силоса. Съев миску такого борща, можно было день спокойно ходить сытым, только пить время от времени воду, чтоб растворить жир и облегчить переваривание. Уж на что хорошо питалась Сашенька у Софьи Леонидовны, но такой приятной сытости она никогда не испытывала. От этой сытости она и вовсе ослабела и поняла, что пропала, потому что смутно предчувствовала какой-то подвох и даже предугадывала, с какой стороны.

— Гануся,— беззвучно отрывая в ладонь, сказал дежурный,— позвони, скажи — я к вечеру буду... Вчера на облаве был, пулей рукав полшубка порвало... Залатать надо промежду прочим... Делов сейчас никаких, я к отправке арестантов буду в половине первого ночи.— Он обернулся к «культурнику».— Давай еще по одной.— Он налил две полные стопки и до половины плеснул Сашеньке.— Ганна,— позвал он,— давай и ты... Дружка встретил, фронтовичка, однополчанина... Ты же с Третьего Украинского?

— Нет,— сказал «культурник».— Я на Первом Белорусском.

— Ничего,— сказал дежурный,— главное, общий враг, как внешний, так и внутренний...

Подошла Ганна, раскрасневшаяся, с высокой крепкой грудью под вышитой блузкой. Она взяла свою стопку двумя пальцами, отставив мизинец. Дежурный чокнулся со всеми, выпил и вместо закуски сочно поцеловал жену в губы.

— Куцый меня вчера чуть не срезал,— обиженно сказал дежурный «культурнику»,— в Райковском лесу... На мушку он меня, видать, взял хорошо, самый срез под левый бок... А собачку нажимал, дернул, не иначе, поторопился... Но я уж от такой обиды ему череп рукояткой погладил... Майор ругался, допрос даже снять нельзя... И в сознание не пришел... Но мне ж обидно, пойми... Не жизни мне жалко, а бабу такую оставлять жалко... Никак я ей не наемся... Год уж все бежит слюна и бежит...

— Петрик,— зардевшись, сказала Ганна,— ты лишнее не варнячай.— Ганна подняла белую ручку свою, расслабленную в кисти, и сначала коснулась костистой сухой руки дежурного запястьем, потом прокатилась по ней ладонью, слегка трогая кончиками пальцев, царапая ноготками.

— Меня убивать никак нельзя,— рассмеявшись, сказал дежурный,— я годовой молодожен... Слушай, фронтовичок, женись, чего ты тянешь... Бабы не найдешь?.. Не верю... Мужчины теперь подорожали... Мертвецы нам цену подняли.

— Вот о том я с тобой потолковать хотел,— сказал «культурник»,— про бабу свою... Разве не помнишь...

— Постой, постой,— сказал дежурный, распрямляясь, словно на службе за канцелярским столом, а не в своем доме,— ну-ка, Ганна, пойдй, тут разговор у меня.

Ганна встала и, вздохнув, вышла.

— Так,— сказал дежурный,— это ты насчет той арестантки приходил... А я тебя с кем-то перепутал... Но не беда... Ты фронтовик, и тот фронтовик... А насчет тебя я помню, теперь припоминаю ту историю... Трое суток не спал по-человечески, в голове кавардак.— Он отодвинул стопку и вдруг пристально глянул на Сашеньку, так что сердце ее сжалось от сбывающихся предчувствий.— Понимаю,— сказал дежурный,— теперь все хорошо вспомнил... Ну и что ж ты хотел? — обернулся дежурный к «культурнику».— Были у нас случаи, когда истец берет назад заявление и мы закрываем дело... Но теперь-то обвинение держится не на заявлении дочери, а на вещественных доказательствах... Твою ж бабу прямо

в проходной взяли с продуктами... В сапогах прятала и еще в некоторых женских местах, ты уж извини... Протокол имеется, подписи свидетелей... Заявление теперь можно даже изъять, оно роли не играет...

— Какое заявление? — удивленно спросил «культурник».

— Ладно,— сказал дежурный,— Ваньку не разыгрывай, не люблю я этого... Вы что, плохо договорились между собой?... Я к тебе хорошо отнесся, как к фронтовику, так ты это учитывай... Я тебе просто посоветую, ты пока не хлопочи за нее совсем... Тогда получится, что она вдова летчика-орденоносца... Героя боев за Варшаву... Подвиг отмечен специально в центральной прессе... У нас все это имеется... А то, что она спит с тобой, это подчеркивать не надо для юридического документа...

— Поимели б совесть, кобеля,— неожиданно с порога крикнула Ганна,— при дочери такое говорить... Нализались самогонки...

— Ганна,— сказал дежурный как можно строже и, поворотившись корпусом к жене, вытянул в ее сторону руку ладонью вверх с растопыренными пальцами, как бы отгораживая жену от происходящего в комнате разговора,— Ганна, ты в мои служебные дела не путайся...

— Да разве ж можно при дочери такое на мать говорить, какая она там ни есть воровка или спекулянтка,— сказала Ганна,— дочь-то позеленела вся...

— Наплевать,— закричала Сашенька, вскакивая.

Крепкий мясной борщ, смешавшись с глотками сахарного самогона, уже не убаюкивал и расслаблял, а, наоборот, возымел обратное действие и как-то сразу выстроил новые картины в сознании, и картины эти похоронили колебания и сомнения насчет матери, которая никогда не думала о Сашенькином будущем. Мать Сашеньки была грубой, развратной женщиной, которая потеряла уже право на память героя-отца и связь которой могла лишить и Сашеньку права на эту память. Матери у Сашеньки больше не было, но зато была Софья Леонидовна, которой можно было отдавать пенсию за отца, чтоб спокойно можно было там жить и питаться.

— Наплевать,— закричала Сашенька,— я не возьму назад заявление... Вот... Эта женщина родила меня, но не воспитала... А мать не та, что рождает, а наоборот... То есть кто выращивает... Знать не хочу... Мой отец за родину... Он сражался... Отдал жизнь...

Вдруг слезы сами потекли, да так обильно, что мокрыми стали не только лицо, но и грудь, и руки, и пряди волос, которые, растрепавшись, ниспадали на Сашенькины щеки. Ганна взяла Сашеньку за плечи, теплые руки ее пахли сушеными вишнями, но запах этот лишь в первый момент приятно повеял на Сашеньку, в следующее мгновение Сашеньке стало жаль себя, а теплые, вкусные руки Ганны еще более распалили эту жалость и обиду на жизнь. Сашенька вырвалась, глянула искоса на застывшего в изумлении дежурного, а на «культурника» глядеть не стала, повернувшись к нему спиной, потом Сашенька шагнула в сени, схватила шубку, пуховый берет и выбежала на морозный воздух, побежала уже в полной тьме, между тем наступившей. Такой черной ночи Сашенька давно не припомнит, а в действительности был вечер, и не очень поздний, часов семь-восемь. Но все уже спало, только кое-где мелькали слабые огоньки, еще более усиливающие глухоту и запустение совершенно теперь неизвестной местности.

В страхе бежала Сашенька через темные огороды, которым не было конца, и особенно страшно было не

лицу ее, так как его можно было потрогать руками, а спине, совершенно незащищенной, продуваемой снежным ветром, и к спине не то чтобы нельзя было прикоснуться, но даже подумать нельзя было о том, что делается за спиной, где сразу за шубкой начиналась ночная бесконечная тьма. Вдруг мелькнуло справа что-то белое, то ли стена мазанки, то ли снежный сугроб, однако довольно высокий, так что за ним можно было легко притаиться и взрослому сильному мужчине. Сашенька поняла это и побежала, оглябав сугроб большим полукругом, вглядываясь во тьму, но ни одного знакомого силуэта не проступало ни впереди, ни с боков, а назад, где, по всей вероятности, осталась больница, от которой Сашенька знала дорогу, назад смотреть было страшно. Какие-то примерзшие кочки запытали у Сашеньки под ногами, стало светлей, но то луна не выкатилась из-за туч, а просто попала под более жидкое, растрепанное ветром облако и светила сквозь него белым пятном. В свете этом увидела Сашенька неподалеку канаву, видно, недавно вырытую, уж после дневного снегопада, потому что глина вдоль бруствера была чистой, лишь слегка примерзшей. Сашенька решила обогнуть канаву, так как она была достаточной глубины, чтобы в ней мог притаиться человек, правда, не в полный рост, а присев на корточки. Однако проснувшееся наряду со страхом любопытство заставило Сашеньку не отшатнуться от канавы, а приблизиться к ней, комки глины не успели даже примерзнуть друг к другу, точно их буквально накануне извлекли наружу. Дно канавы было покрыто изморозью и присыпано, как показалось, густым слоем снега. Снег был мягкий, чистый, слегка подсиненный, словно накрахмаленный, и на снегу лежала в полный рост молодая еврейка, дочь зубного врача, в легком сарафанчике, в котором видела ее Сашенька на фотографии. Это была девушка редкой красоты, и она, видно, знала, что красива, потому что кокетливо обнажала красивые руки, круглые плечи и чистую гибкую шею. Только разбитая кирпичом голова искусно прикрыта была цветными лентами, вплетенными в волосы, да кожа у маленького ушка слегка была припудрена изморозью, как делала и Сашенька, чтобы скрыть оставшийся от операции шрам на затылке. Сколько так стояла Сашенька, наклонившись над канавой, не дыша, она не знает. Помнит только, что вскрикнула вдруг, словно внезапно пробудившись, отшатнулась, и сразу темные шумящие тени понеслись мимо нее от земли, едва не задев лицо.

— Мама,— закричала Сашенька.— Мамочка...— Крик этот напомнил ей все недавнее, она глотнула холода так, что закололо лопатки, чтоб подбодрить себя, еще громче крикнула: — Софья Леонидовна... Миленькая...

И тут она поняла, что кричать надо было с самого начала, ибо голос ее менял местность, делал эту местность не такой пустынной, безмолвной и незнакомой. Залаляли сонно собаки возле выросших по сторонам мазанок. Луна выкатилась из туч, засветила теперь на полную силу, и кто-то вышел во двор неподалеку.

— Тебе чего? — спросил темнеющий силуэт, правда, издали и с опаской, опасаясь, видно, грабителей.

— Как к больнице выйти? — сжимая челюсти и стараясь не стучать зубами, спросила Сашенька.

— А вон больница, — сказал силуэт, — перед тобой больница... Ты голову не дури...

И действительно, выкатившаяся луна осветила садящуюся на больничный забор воронью стаю, которую сонно всполошила Сашенька, согнала с огорода. Больница была, оказывается, не сзади, а впереди, так что, сама того не зная, Сашенька правильно сориентировалась на местности.

Забыв поблагодарить, побежала Сашенька вдоль больничного забора и вскоре нашла проход, по которому выбралась на знакомую улицу. С колотящимся сердцем бежала Сашенька мимо знакомых развалин главпочтамта, мимо городского кинотеатра, где шел еще последний сеанс и виден был свет в будке киномеханика, мимо перчаточной фабрики, где тоже не кончилась еще смена и горело электричество.

«У меня опять началась болезнь,— думала Сашенька,— я слишком рано вышла на улицу, переохладил тело и истощила нервную систему... Милая Софья Леонидовна, милая мама Софья, как я хотела бы поскорее вас видеть... Простите меня... Я буду любить вас сильнее, чем родная дочь... Успокойте меня, мне страшно, мне трудно жить, я совсем одна... Будьте мне матерью... Я простужена, у меня температура, и мне кажутся разные картины... Помогите мне... Не та мать, что рождает, а та, что воспитывает... Милая мама Софья... К школе я неспособная, зачем же мне впустую губить молодость... Выздоровею и пойду работать на перчаточную фабрику, куплю себе туфли, маркизетовое платье... Может, шубку... А то, что на мне одето, все отдам... Не надо мне от бывшей моей матери-воровки ничего...»

Так мечтая, но не громко, а шепотом, чтоб не слышали попадавшие навстречу прохожие, Сашенька достигла конца улицы, где за поворотом был уже дом ответработников. Сашенька долго звонила и только испуганно подумала, не ушла ли Майя с Софьей Леонидовной в кино, а Платон Гаврилович в партийный кабинет, как дверь внезапно открылась, хоть шагов в передней не слышно было, и у Сашеньки испуганно екнуло сердце, потому что она поняла: к двери давно уже подошли на цыпочках и, глядя в дверной глазок, думали, открывать ли. Мигом подавленная этим, никогда ранее не случавшимся обстоятельством, вошла Сашенька в темную переднюю, и тень в халате отступила в сторону, не проявляя никакой радости. Это была Софья Леонидовна.

— Входи,— сказала тихо Софья Леонидовна.

Она пригласила Сашеньку в кабинет Платона Гавриловича, где вдоль стен стояли шкафы с красными корешками классиков марксизма, она предложила Сашеньке сесть в кресло, словно посетителю, которого не жалко, охвачена ли ознобом его спина, сухо ли в горле у него, бледно ли лицо его, все равно не здесь забегают, всполошатся, не здесь уложат в постель и напоят питательным бульоном, здесь, может быть, только выслушают и посочувствуют из вежливости или даже искренне, если хорошо относятся.

— Я всегда относилась к тебе как к родной дочери, не так ли? — сказала Софья Леонидовна.

— Да,— покорно согласилась Сашенька.

— Я уступила тебе свою постель, а когда ты болела, я вставала к тебе ночью по три раза... И поила бульоном из рук... И давала лучшие куски... Лучше, чем Майе, хоть она болезненная девочка и нуждается в усиленном питании.

— Да,— опять покорно согласилась Сашенька.

— Но ты говоришь, что у нас какие-то расчеты,— продолжала Софья Леонидовна,— мы хотим тебя использовать... Ты очень обидела Майю, и меня, и Платона Гавриловича. Ты не думай, я и раньше замечала, как ты относишься ко мне... Тебе не нравится моя внешность и не нравится Майина внешность... Ты уже взрослый человек, и я говорю с тобой как со взрослой... Майя — ласковая и доверчивая девочка, у нее хороший характер, она душу свою могла бы отдать подруге... или близкому человеку. Она преданная девочка... А ты неблагодарная... Да, можешь на меня обидеться...

Сашенька вначале слушала Софью Леонидовну, после же рассеялась. Знобить стало меньше, может

быть, оттого, что некому было Сашеньку пожалеть и никто б не всполошился, даже если б она в гриппозном состоянии съела б сейчас снега, чтоб увлажнить сухую гортань. И Сашенька поняла, что Софья Леонидовна никогда не была ей близким человеком, потому что оберегала себя и не позволяла, чтоб Сашенька делала ей больно. Все обиды и насмешки, которыми даже не явно, а тайно Сашенька тешила свое сердце, Софья Леонидовна собирала и подшивала, будто бумажки, испытывая не страдания, а справедливый гнев, она не простила Сашеньке ни одного кособокого взгляда, ни одной несправедливости, которыми Сашенька платила ей за заботу и усиленное питание.

Сашенька встала и пошла в переднюю. Она слышала, как вздохнул на кухне Платон Гаврилович и заплакала в столовой Майя. Но не о них думала сейчас Сашенька. Она думала сейчас, как выселить Васю и Ольгу или в крайнем случае переселить их в кухню за ширму, чтоб начать жить самостоятельной взрослой жизнью, так как несколько минут назад кончилось Сашенькино детство. Оно кончилось в тот момент, когда Сашенька поняла, что некому больше обращать внимание на ее тоску, а без постороннего внимания и волнения тоска эта была вялой, скучной и не приносила сладости, ибо один из признаков детства — это возможность кого-нибудь мучить и волновать. Иногда оно отсутствует даже в младенчестве, иногда же растягивается до старости, в течение жизни оно может исчезать и возвращаться, детство — это возможность наслаждаться своей беспомощностью...

В квартире опять было сильно натоплено, впрочем, может, повлияла поднявшаяся к вечеру от незалеченной простуды температура, которую Сашенька ощущала во взмокших висках, в горячих ушах и ознобе вдоль спины. Сашеньке было так жарко, что даже шубка взмокла, и мокрая беличья шерсть неприятно гладила шею. Ольга хлопотала по хозяйству, носилась из кухни в комнату. На кухне у нее кипело какое-то варево для Васькиной груди из трав, чеснока и еще некой примеси, очень напоминающей мочу, так что у Сашеньки от удушливого запаха даже закружилась голова.

— Это мне певчая совет дала... Верить можно... Для Васи... — принялась убеждать Ольга Сашеньку, точно Сашеньку волновал правдивый совет певчей и ее, так же как и Ольгу, беспокоило Васино здоровье. — У певчей сын болел, — обстоятельно рассказывала Ольга, не замечая, как у Сашеньки кружится голова и хочется выпить холодного киселя из фруктового концентрата, который мать иногда приносила в сапоге.

— Били его сильно, — зевая и помешивая варево серебряной ложкой из набора, который Сашенькина мать хранила еще со свадьбы, неторопливо говорила Ольга, — били певчего-то сына ногами, видать, хоть не рассказывал он. Почки ему от спины отбили, желудок от кишок оторвался... — Ольга зачерпнула ложкой мутно-желтое варево, попробовала, приставив ложку ко рту самым концом, чтоб не сжечь губы, — а пища-то, она идет, питание... В желудок не попадает, а возле сердца скопляется... Вот он и кашлял, и тяжело ему, и кололо его сердце-то, — монотонно, словно муху, жужжала Ольга, убаюкивая Сашеньку и вгоняя ее в ленивую духоту, так что Сашенька не имела сил поднять сейчас вопрос о выселении, а лишь стояла, поддакивая и слушая зачем-то Ольгину болтовню.

— А певчая-то говорит, — продолжала Ольга, — есть у меня средство, в старину им пользовались, сына мне это средство полностью вылечило... Только народ теперь гордый, не каждый согласится... А я говорю, мне лишь бы Вася здоров был...

Ольга взяла тряпкой за ушки кастрюлю с кипящим варевом и, распространяя солоноватый терпкий запах, понесла в комнату. Сашенька вошла следом. Бывшая материнская постель застлана была свежими льняными простынями, которые Сашенькина мать ни разу не употребила с тех пор, как Сашенькин отец ушел на фронт. Вася сидел на кровати по-татарски, подогнув под себя ноги в белом, свежевystиранном отцовском белье, которое все время аккуратной стопкой лежало в той части шкафа, где были все другие отцовские вещи и куда мать не разрешала Сашеньке соваться. Васьины глаза лихорадочно блестели, и приступ кашля, видно, недавно кончился, потому что грудь, видневшаяся в разрезе рубахи, дышала неровно, а губы были мокрые, и Вася вытирал их ладонью, прикладывая затем к ладони край простыни. Увидав Сашеньку, он улыбнулся ей, обнажив десны, и кивнул на кастрюлю.

— Вот он мой самогон сахарный, — сказал Вася, — дай тебе Бог, Саша, никогда таким самогоном не опохмеляться.

— Ничего, — сказала Ольга, — ты, Васечка, выпей, это верное средство... Здоровый будешь...

Она налила варево в фарфоровую голубую кружку из Сашенькиного раннего детства. Вася выпил, морщась, вытер губы, перекрестился и снова улыбнулся.

— Ничего, — сказал он. — Хмельной самогон...

Ольга вынула из буфета целую буханку хлеба, и не магазинного, кирпичиком, с тяжелой мокрой мякотью, а круглого домашнего, который можно было достать лишь на рынке, с хрустящей корочкой и пружинистым сероватым телом. Вася проделал пальцами сверху в поблескивающей корке дырку, образовалась в мякоти ямка, и Ольга налила туда постного масла и посыпала солью...

— Любит он так, — сказала Ольга, — постное масло хлеб пропитывает...

— Простудилась я, — сказала Сашенька и сняла шубку.

— А ты ложись, — сказала Ольга, — кипяточку выпей с булочкой.

Сашенька поставила в маленькой комнатухе у зеркального шкафа раскладушку и принялась раздеваться. Движения ее были плавные и долгие, легкими руками снимала она с себя одежду, и ей было безразлично, куда после этого одежда исчезает, она не повесила на плечики маркизетовую блузку, а единственную нарядную юбку попросту уронила. Вошла Ольга, дала ей чашку кипятку с леденцом и черствый кусок церковной булки.

— Спасибо, — сказала Сашенька, ибо даже больной она не имела теперь права на заботу о себе и должна была за все благодарить. Булка пахла лампадным маслом. Сашенька решила намочить ее в кипятке, чтоб убить этот запах и чтоб легче было глотать, но намочила неудачно, почти весь кипяток вылился на пол. Ольга ушла на кухню, вернулась с тряпкой и вытерла насухо лужу, а с одеяла смахнула ладонью крошки.

— Спасибо, — сказала Сашенька.

Она долго лежала потом тихо и одиноко. Она слышала, как Ольга задула копилку, как Вася начал ласкать Ольгу, но все было ей теперь недоступно, и суставы ее не напряглись, и дыхание не стало учащенным, и горечь ее теперь была не живая, которая порождает злобу и жалость к себе, а, наоборот, своя судьба была сейчас безразлична Сашеньке, потому что Сашеньку никто не жалел и не любил.

Желание быть любимым присуще всем, но есть натуры сильные, нервные и чуткие, для которых жажда чужой любви так велика, что они теряют способность любить сами и, чтоб постоянно ощущать силу любви к себе, причиняют любящему страдания.

Не сразу, не вдруг становятся эти несчастные таими, и одной из ярких фигур подобных является непонятый либо оболганный евангелистами иудейский юноша Иуда, самый красивый, самый страстный и самый любимый Христом ученик. Он удавился вовсе не потому, что каялся. Христа Иуде жаль не было, ибо не бывает взаимной любви между двумя людьми, и так сильна была любовь Христа к Иуде, что у Иуды не могло остаться и крупинки любви к Христу. Страшно одиноко стало Иуде, когда не стало рядом Христа, ибо только Христос со своей всепоглощающей неземной любовью способен был утолить жажду этой доведенной до иступления, страстной, ни на секунду не утихающей потребности быть любимым, которая грызла Иуду. Так бывает всегда, когда кто-либо любит чрезмерно, как любил Христос всех, а более всех несчастного юношу Иуду, ибо и в любви если кто-то забирает много или все, то другим остается немного, либо одна лишь жажда. Такова и материнская любовь, по природе своей наиболее близкая к любви Христа, и потому дети не могут любить мать свою, а чувство, которое они испытывают, совсем другое чувство...

Так лежала Сашенька до глубокой ночи, когда за окном утих ветер и вззошла луна. Ей было теперь жаль Васю, потому что перестало быть жаль себя, и, когда он начинал громко, надрывно кашлять, ей хотелось войти босой и просить прощения. Мать же ей и сейчас жаль не было, наоборот, это был единственный человек, к которому Сашенька испытывала неприязнь и за свою болезнь, и за чужие насмешки, и за слабость, это был сейчас единственный человек на земле, перед которым Сашенька чувствовала себя по-прежнему сильной.

— Да, дорогой юноша,— говорил арестант в пене. Как часто бывает во сне, Сашенька видела его в неестественном положении, разрезанного пополам, и нижняя половина куда-то исчезла. На нем был солдатский мундир и поверх мундира пиджак из дорогого материала, но заносенный, потертый...

— Да, дорогой юноша,— говорил арестант,— существует и такая трактовка Иуды... Правда, чисто литературная, не имеющая успеха ни среди теологов, ни среди атеистов... Христос и Иуда — единственный пример великой любви в ее чистом виде, то есть бесполой, не опирающейся на инстинкт размножения... Иуда выдал Христа, когда потребность быть любимым, а значит, и слабость его, что одно и то же, преysила всякий наперед заданный нами, земными существами, предел... Парадоксально, что подобная трактовка перекликается с библейской притчей об Иове, но, как ни странно, это, может быть, единственный случай из Библии, когда всевышнее существо было слабее земного. Теологи трактуют эту притчу неверно. Господь вовсе не чувствовал себя тогда всемогущим, наоборот, он был слаб как никогда и жаждал любви. Потому он и обрек Иова на страдания, чтобы и «в гною» Иов любил его... Вы улавливаете общность... Точно так Иуда предал Христа на распятие... Может, это кощунство, но слияние Господа с Иудой, а Христа с ничтожным Иовом, живущим «в гною» своим, и есть мысль о великом первобытном хаосе, с которого все началось и к которому все придет, хаосе, царствующем и над людьми, и над Богом, где едино малое и большое, добро и зло, любовь к ближнему и мучение ближнего... Нам неприятно это, мы всегда будем отталкивать это от себя, как отталкиваем от себя смерть, тем не менее независимо от нас существующую, ибо подавляющее большинство людей не способно чисто физиологически жить за пределами своих страстей, как никто не может жить за пределами атмосферы. Но в борьбе со смертью человек стал именно тем, что он есть: отда-

лился от животного, развил науку, религию, искусство, философию... Да, так же как необходимо было человеку понимание своей смертности для построения той цивилизации, в которой мы с вами имеем счастье или несчастье жить, так же необходимо ему будет для грядущей цивилизации, о которой пока мы можем лишь догадываться, более ясно понимание всеобщего хаоса, наступающего за пределами наших страстей. Ибо всеобщий хаос — это всеобщая смерть и всеобщее лоно, которое и отталкивает, и притягивает...

Говорящий кашлянул, чтобы прочистить уставшее от слов горло, и выпил что-то.

— Я мог бы с вами согласиться лишь в одном, профессор,— сказал чей-то голос,— страх перед смертью крайне необходим и уравнивает собой пока еще низкую степень нравственности... В ином же я согласиться не могу, мне кажется, вы хотите навязать христианскому целомудрию чуждые ему древнегреческие извращения...

— Эх, юноша,— сказал ясно видимый до половины туловища арестант,— целомудрие и несет в себе наиболее сильную страсть и наиболее сильный вызов природе... Дразнящая порочность целомудрия особенно ясно видна не в философии, а в поэзии... За эти мысли меня и выгнали до войны из Свердловского университета... Причем я произнес их не перед аудиторией с университетской кафедры, а на дружеской вечеринке по случаю серебряной свадьбы заведующего кафедрой минералогии...

— Тебе не надо больше пить, Павлик,— сказала, появляясь в проеме двери, красивая женщина, которую Сашенька когда-то ненавидела, а теперь разглядывала безразлично,— ты уже продезинфицировал желудок, в малых дозах это полезно... Но слишком много выпив, ты разогреваешься, а в камере сыро...

Сказав это, женщина вошла в Сашенькину комнату вместе с красивым лейтенантом, о котором так мечтала Сашенька раньше, когда у нее были права на все лучшее, теперь же она даже не удивилась, увидев его, она лишь могла смотреть со стороны, не испытывая зависти, как Майя или другая дурнушка.

— Я вам очень благодарна,— шепотом сказала женщина лейтенанту,— я знаю, что у моего мужа не было шансов попасть на работу по этому наряду... Вам нужны два сильных арестанта-землекопа... Я все знаю... Я слышала, когда вы давали заявку в канцелярию... Вы пошли мне навстречу, вы настояли на том, чтобы послали мужа... Две ночи вне камеры и хорошая еда... Вы помогли ему, мне и, может, отечеству... Мы должны сохранить его... Поверьте, наступит время, и в таких будут нуждаться более, чем нищий в еде и теплой постели... Но будьте последовательным. Павел Данилович не может ночью при фонарях раскапывать могилы... В снегу... Не за тем мы с вами вытащили его из камеры хотя бы на две ночи... С конвойным я договорюсь... Он обедает на кухне. Ему же лучше оставаться в тепле... Второго арестанта тоже придется, разумеется, оставить здесь, иначе он донесет...

— У меня мало времени,— тихо сказал лейтенант.— Днем санинспекция раскапывать могилы запрещает, а мне надо возвращаться в часть... Мне дали арестантов на две ночи... За это время я должен отыскать родных и перевезти их на кладбище...

— Согласен дворник и хозяин этого дома, который сам же нас пригласил,— сказала женщина,— они хотят заработать... Хозяин согласен даже взять обычной тушенкой и хлебом... Дворник, правда, более требовательный, он хочет молока и хозяйственного мыла, но я достану, поверьте мне, я обязательно достану...

— Я тоже согласна,— сказала из темноты Сашень-

ка,— я могла бы поработать за банку тушенки.

Ей было страшно лежать одной, словно в могиле у края дороги, по которой течет жизнь, не задевая и не опасаясь ее.

— Здесь, кажется, кто-то есть,— вздрогнула женщина и прижалась к лейтенанту.

— Я хозяйка этой квартиры,— как можно тверже сказала Сашенька,— выйдите, я оденусь...

Лейтенант и женщина поспешно вышли, и Сашенька начала одеваться. Она думала, что тело и голова ее тяжелые, ночные, однако опасения оказались напрасными: тело было по-рассветному легким, особенно когда Сашенька натянула свитер и байковые шаровары.

— Здравствуйте,— сказала Сашенька, входя в большую комнату, наполненную чужими людьми и ярко освещенную двумя коптилками. Вася был уже одет и стоял в лоснящейся шинели, туго перевязанной на груди Ольгиным шарфом, чтоб не застудить больные места. Здесь же был Франия, одетый порбочему, с лопатой в руках.

— Вы, девушка, не сможете работать,— тихо сказал лейтенант,— там надо долбить мерзлую землю... На ветру... И мне кажется, вы нездоровы...

Сказав это, лейтенант посмотрел на Сашеньку, и Сашенька сразу и просто, такое бывает редко на этом свете, сразу и просто, без сомнений и клятв поняла, что ради этого человека родилась, выростала, стараясь питаться получше, чтоб исчезла сутулость и округлились бедра, и ради этого человека не умерла три года назад от сыпного тифа.

— Я смогу копать землю,— сказала Сашенька, не чувствуя себя более одинокой и получив наконец возможность пожалеть себя до слез,— мне надо заработать... Мой отец погиб на фронте, а мать арестована советскими органами как воровка... Я не намерена это скрывать...

Она надела телогрейку, закутала голову платком.

8

На теплой, хорошо освещенной кухне сидели два арестанта и стрелок конвойный, ели разогретое мясо с хлебом. Арестант-профессор ел, задумчиво разглядывая кусочки мяса, нанизанные на вилку, а второй арестант, сильный, полнокровный мужчина, и конвойный ели, твердо жуя, ибо всей сутью своих сочных, здоровых организмов поняли то, к чему самые светлые головы приходят лишь к концу жизни ценой жертв и постоянного нервного напряжения.

Жена профессора готовила на сковороде новые порции мяса, так умело пользуясь приправами: уксусом, лучком, перчиком, толчеными сухариками, что Сашенька впервые почувствовала к ней нечто вроде признательности, ибо запах сочного мяса в такую метельную ночь пробуждает надежды и успокаивает страх. Ночь же действительно была страшная, от которой следовало прятаться всему живому: с острым ветром, с горячим морозом, черная, беззвездная, угнетающая даже сильные души. Это была все та же ночь, которая напугала Сашеньку среди заснеженных огородов, но еще более глухая, еще более оживляющая нездоровое воображение и уродующая окружающую землю.

Франия шел впереди с железнодорожным фонарем, полученным под расписку в домоуправлении. Первым делом Франия подошел к обгоревшим одноэтажным развалинам дома, в котором ранее жила семья зубного врача, и, едва не упав и не разбив фонарь о сохранившееся железное крыльцо с всевозможными завитушками и украшениями, выругавшись в сердце, в печень, в душу Бога мать, начал мерить нетвердыми шагами расстояние от крыльца к выгребной яме

и далее к сараю. Сашенька, лейтенант и Вася стояли тесно друг подле друга. Ольга тоже пошла с Васей — помочь ему работать и уследить за ним. Тихо было вокруг, все спало. Только в одном домике на краю двора, грязном, покосившемся, то освещались, то потухали окна, там было беспокойно и не было сна.

— Мальчика убило,— сказала Ольга вздохнув.— За старой баней вчера Хамчик бомбу нашел, винтить стал... Ему-то ничего, он-то целый, а братишечку убило... Пять годов... Хороший был, бойкий...

— Сколько этого барахла еще под снегом,— подходя и тоже поглядывая на беспокойные окна, сказал Франия,— уже третий случай на моем участке... Есть постановление исполкома об установлении надзора... А что сделаешь,— он вздохнул,— неприятно живется народу, а почему так... К нам в костел новый ксендз приехал из Эстонии... Образованный... Я его спрашиваю: почему так неприятно живется народу, почему так в нелюбви живут?... Потому, отвечаю сам же ему, что устал человек продолжать род свой... Отец Георг меня чуть из костела не выгнал.

Франия снова пошел к сараю, шагал, отмерял и наконец воткнул лопату в снег неподалеку от выгребной ямы. Начали копать. Сперва очистили снег, потом, попеременно отдыхая, Франия, Вася и лейтенант принялись ломом долбить верхний слой мерзлого грунта. Сашенька и Ольга убирали штыковыми лопатами мерзлую землю. Попадались черепки, камни, какие-то железные обломки, комки неприятно пахнущей гнили, замерзшие ленты-липучки, усеянные мухами. Останки Леопольда Львовича нашли неглубоко, он лежал лицом вниз, тело тронuto уже было гниением, но это еще не был скелет. Он лежал совершенно голый, но голова укутана была порывевшей рубашкой. Вдруг появился арестант-профессор в телогрейке, видно, бобриковое пальто он уступил более сильному арестанту.

— Вам ведь не жалко то, что сейчас отдаленно напоминает человека,— сказал профессор почему-то Сашеньке,— вас гложет другое чувство: ужас перед тем, что это омерзительное когда-то могло сладко позевывать, смеяться, кушать...

«Или он внушает мне,— подумала Сашенька,— или угадывает мои мысли, неясные и страшные мне самой... Какое счастье, что я никогда не видала своего мертвого отца!»

— Можно любить память о мертвом, но не тело,— продолжал арестант-профессор,— мертвые должны хоронить чужие... Почему люди стремятся видеть своих умерших близких?... Это чудовищно... Большое горе, как и большая любовь, должно быть похоже на мечту... Человек исчезает вместе с жизнью, и остается самая страшная насмешка над ним: его мертвое тело... Помните, как сказано в одной из мудрых книг: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов».

— Идите в теплое помещение, профессор,— сказал лейтенант тихо, но постепенно все более возбуждаясь,— вы, может, не совсем понимаете ситуацию... Это не мумия этрусков... Это мой отец, убитый кирпичом по голове и закопанный в выгребной яме. Вы большая дрянь, профессор, поверьте мне... Вы хуже растлителя... Вас надо изолировать... Я с радостью набил бы вам морду, извините за грубость...

— Ах, молодой человек,— сказал грустно профессор,— подлинными гонителями философии являются не мракобесие и порок, а человеческие страдания и человеческие слезы, ибо философия делает эти страдания и слезы смешными.

— Простите его,— кинулась к лейтенанту жена профессора-арестанта,— он всегда пугается в своих мыслях, говорит нелепости... Боже мой, с каким трудом удалось вытащить его из сырой камеры хотя бы на две ночи!.. Он сам страдал, когда умерла наша

дочь... Он так страдал... Он три дня не уходил с кладбища... — Повернувшись к мужу, она сильно схватила его за рукав телогрейки и оттащила в сторону.

— Я заплатила самыми качественными продуктами за то, чтоб ты сидел в теплом помещении, — злым шепотом сказала она, — ты озлобляешь не только этого доброго юношу в трагический для него момент, но и конвойного, который вынужден топтаться с тобой на морозе, и второго арестанта... Мерзкий ты человек. Может, придет характеристика из Москвы... Я написала двум академикам... я добились... Ценой унижений я добилась, чтобы тебя не перевели в область, а оставили пока под предварительным следствием...

Все это она говорила, шипя, как змея, прижав губы к уху мужа и косясь на угрюмо топающего в стороне валенками конвойного, рядом с угрюмым арестантом. Их подкупили мясом, хлебом и теплым помещением, чтоб сохранить профессора для литературоведческой науки, но профессор своим нелепым поведением мог заставить их выполнять инструкцию, согласно которой один направлялся в ночную смену для копки мерзлого грунта, другой же для надзора. Конвойный получил это задание как наряд вне очереди от старшины, который к нему придирался. Потому он спокойно наслаждался мясом и теплом, радуясь своей везучести. «Меня в реку брось, я не потону, а с рыбой в зубах выплыву», — радостно думал он, может быть. И вдруг старшина восторжествовал самым неожиданным образом и в неподходящий момент, причем благодаря не майору или дежурному, а личности ничтожной, обязанной подчиняться любым распоряжениям и почему-то нелепо взбунтовавшейся в том смысле, что нарушал свои собственные, дорогой ценой купленные интересы и топил других. Поскольку поведение арестанта было непонятно, но вызывало у конвойного злобу, задевавшую самолюбие, а когда задето самолюбие, удобства отступают на второй план.

— Хватит, — сказал конвойный жестко, — побаловались... Бери, старикан, лопату и ты тоже, — он толкнул в плечо угрюмого арестанта, — выполняйте инструкцию согласно выписанного наряда...

— Мы все уладим, — метнулась к нему женщина, — он не может копать, у него больное сердце...

— Ну и что, — сказал конвойный, — а у меня шрапнельное ранение в верхнюю часть голеностопного сустава... И те еще преимущества, что я родину не предавал... А я ж инструкцию выполняю согласно выписанного наряда.

— Тихо, — сказал лейтенант, — ну-ка тихо... Чтوب полная тишина...

Он стоял, привалившись к стене сарая, дыша так, словно пробежал несколько километров. Сашенька подошла и стала с ним рядом. Несмотря на сердитый окрик, выглядел лейтенант сейчас беспомощно, будто искал защиты. Это был широкоплечий парень, летчик, провоевавший всю войну, трижды горевший в воздухе и дважды раненный на земле, но сейчас ему было по-детски страшно, и он нуждался в руке женщины, такое бывает даже с очень сильными, опытными мужчинами, а Сашенька Бог весть каким женским инстинктом, выработанным тысячелетиями, протянула свою руку, приласкала, не стыдясь окружающего, погладила по выбившимся из-под ушанки волосам, отерла влажный лоб, заботливо поправила кашне и впервые наяву ощутила странную сладость под сердцем, напомнившую ей сладость лишенных формы снов, в которых было не меньше счастья, чем в физическом томлении, на которые не оканчивались диким восторгом, сменявшимся покоем и позднее разочарованием, ибо восторг и сладость в тех снах всегда полны были покоя. Сашенька не догадывалась, что ее

впервые посетило ощущение материнства — этой высшей мудрости, до которой способна подниматься женщина в любви, не только не требующей, но в силу полноты своей полностью исключаящей взаимность, бездонной, слепой, лишенной терзаний и сомнений, присущих любви чувственной. Любовь эта таится в каждой женщине, но не всегда бывает разбужена и возникает внезапно, подчас весьма странно, случается, она возникает и в восьмилетней девочке по отношению к сорокалетнему мужчине, так что совсем еще ребенок чувствует себя сильнее и старше взрослого, и тот даже иногда подсознательно испытывает необходимость искать у девушки защиты. Любовь эта бывает рассеяна и в обычной общедоступной чувственной любви, словно драгоценные золотые крупинки, появляясь в моменты полного душевного единства, что случается не так уж часто в земной жизни. Так же как любовь эта в слабой степени зависит от возраста, так же не зависит она от ума и от воспитания, не зависит от нравственности и порядочности. Однако, возникнув, она может совершенно преобразить и изменить человека и всегда ведет лишь к совершенству. Может, от инстинктивных поисков ее, столь трудных, где удача бывает так редка, и страдает человек, злобствует, предает, мучается, ненавидит. Мистики, возможно, объясняют это поисками душ, тысячелетия назад состоявших в близком родстве, и наибольшее, хоть и редкое, счастье случается тогда, когда душа древней матери переселяется в тело современной молодой девушки, а душа сына ее — в тело ее возлюбленного... Материалисты же, разумеется, опровергают все это, тем более что тут попахивает древнегреческими извращениями, но в последнее время некоторые из них все же признают наличие в вопросе о счастливых браках темных пятен, на которые указывают социологи...

Многие, если не все, из этих мыслей высказал арестант-профессор в ту ночь этими же либо, во всяком случае, подобными словами, он продолжал говорить, невзирая на то, что жена его дрожала от страха и негодования, второй арестант и конвойный, основательно замерзшие после теплой кухни, в душе давно уже готовы были умело, по-тюремному бить его, не оставляя синяков, и даже лейтенант оскорбил его, потому что профессор краснобайствовал в момент, когда человеку хотелось тишины. Однако самому профессору слова эти не показались кощунственными и пошлыми, душа его давно уже томилась от слов, которые копились годами, путаных, нелепых, полных противоречий, но живых, тех слов, которые сам не знаешь куда тебя приведут и во что сложатся. Ему казалось, что долгие годы он пользовался словами, напоминающими чучела птиц, набитых тырсой, притом не обвиняя никого и ничто, а лишь собственную вялость и практицизм, живые же слова вследствие опять же собственной трусости бились и металлись в душе, как в тесной клетке, и вот сейчас он выпускал их в ночь, лихорадочно жестикулируя. Тощая фигура его в телогрейке, в крестьянском треухе и пенсне выглядела бы смешно, если б не метель, угрюмые лица, которые изредка, то одно, то другое, освещал фонарь, повешенный на остатке железного крыльца у развалин, да мертвое тело, которое поднимали из ямы, придерживая лопатой для создания внизу пространства, чтоб подсунуть веревку. Все это делало профессора похожим на обезумевшего колдуна, читающего заклинание-молитву над усопшим, которого ко всему еще не закапывали, а извлекали из земли, что придавало картине вовсе безумный смысл. Конвойный подошел вплотную, глянул в бегающие быстрые глаза старика арестанта и подумал уже без злобы, скорей даже весело и по-доброму, как часто думает здоровый сельский житель, глядя на неопас-

ного сумасшедшего: «А старичок-то лаптей ушибленный... надо бы доложить...»

Франя открыл один из сараев, где стояло четыре пустых гроба, заранее отпущенных по разнарядке столярным цехом деревообделочного комбината. Останки Леопольда Львовича положили в самый большой из гробов. Лейтенант сорвал с себя шинель и прикрыл страшные нагие кости и тело.

— Это я не подумал,— отворачиваясь, моргая и сморкаясь, сказал Франя,— надо бы рогож приготовить или одежду... А голову я ему обернул еще тогда... Сильно побита была...

Ольга, всхлипывая и крестясь, ушла и вернулась с большим шерстяным платком, который Сашенькина мать ни разу не надевала.

— Ты б на себя его взяла,— сказал Франя.— Твой-то дыра на дыре... В могиле и такой сойдет...

— Ничего,— сказала Ольга,— я иной себе заработаю... А он намерзся... Пусть лежит... Прости нас, Господи...

— Помоги,— сказал лейтенант Васе,— в сарай отнести... Я лицо отца посмотреть хочу...

Они отнесли гроб в сарай, и лейтенант там остался, а Вася вышел, тоже часто крестясь, без шапки и вдруг закашлялся, страшно выпучив глаза. Ольга кинулась к нему, и он продолжал кашлять у нее на плече, медленно успокаиваясь. Лейтенант забрал с собой фонарь, и стало совсем темно, лишь над самой Сашенькиной головой блестела одинокая звезда, Бог весть как пробивающаяся сквозь метель, впрочем, несколько поутихшую. Притихли также и все вокруг, конвойный перестал чертить на снегу рожи чертей прикладом, что он делал, чтоб занять себя чем-либо. Угрюмый арестант, до этого украдкой жевавший черствый кусок ржаного пирога, спрятал его в карман и вытер губы, профессор, поникший и обессиленный собственной речью, смотрел на свою энергичную жену, стремящуюся всеми неправдами сохранить его для науки, смотрел, часто моргая и без ропота отдавая себя на суд ее, как смотрят на хозяйина добрые провинившиеся собаки. Тишина становилась все более долгой, все более невыносимой, и Сашенька томилась сердцем у сарая, за стенами которого происходила встреча сына с отцом.

Метель тем временем вовсе утихла, небо во многих местах очистилось, и звезды усыпали всю небесную ширь, видно, утихший у земли ветер продолжал неистовствовать в вышине, разрывая тучи и гоня их прочь. Вскоре звезды расплодились так, что уже не хватало им всей шири, и звезды теснились густо, как редко бывает зимой, а лишь в августовские душные ночи. От лунного сияния вспыхнул снег, лежащий теперь покойно на земле, и этот свет, разом наступивший после тьмы, этот покой после метели не только не облегчили душу, а еще более усилили томление, ибо исчезла надежда, таящаяся помимо воли человека в душе его со времен языческого варварства, на природу, как на причину своих страданий, кстати сказать, надежда, не лишенная смысла даже согласно последним научным гипотезам, и потому особенно тяжело становится, когда, успокаиваясь, природа не успокаивает душу, лишая защиты и оставляя человека наедине со своими грехами. Чем далее длился покой этот среди праздничного сияния снега, среди роев звезд и потеплевшего от лунного света воздуха, тем томительнее становилось у Сашеньки на сердце. Ее угнетал и странный могильный покой за стенами сарая, где не слышно было ни шороха, ни вздоха, ни какого-либо другого свидетельства человеческой жизни. Сарай молчал, как и яма продолговатой формы, темно зиявшая среди чистого снега. Луна освещала эту яму, и четко видны были слои на стенах, верхний слой был сантиметром тридцать, труха, перегой, гу-

сто начиненный черепками, камнями, поблескивающими стеклышками, далее шли прослойки песка и желтоватый чистый слой глины, в котором ясно виден был след человеческого тела, пролежавшего в этой глине четыре года. Во время весенних паводков и дождей, когда почва оживала, тело, постепенно, год за годом, становившееся частью этой почвы, оживало тоже, в том смысле, что начинало движение вширь, разбухало от теплой воды и проникающих сквозь наносный грунт солнечных лучей, давило на стенки, на дно, и глина уплотнялась с таким чавканьем, которое слышно иногда весенней ночью на кладбище после обильного теплого дождя.

Так, или примерно так, думал профессор, подобно Сашеньке, неотрывно глядевший на яму, странно волнуемый, искушаемый в свои сорок семь лет мыслями новыми, состоящими не из слов, а из каких-то трудно переводимых на человеческий язык сигналов, мнящихся в мозгу и мнущих виски. В природе между тем продолжали проходить явления необычные, понятные, разумеется, астрономам, во всяком случае, в большей части своей. Родившаяся буквально на глазах из беспокойной метельной ночи, ночь лунная, звездная была первоначально до того покойна и безветренна, что казалась не живой, а нарисованной. Но потом и в ней началось движение, правда, иного свойства. Она начала заметно светлеть и еще более теплеть, какие-то зарницы заматались вдаль, так что стали видны горизонт, ранее сливавшийся с тьмой, стали видны крыши дальних домов среди позеленевшего на горизонте неба, и, хоть до рассвета еще было далеко, дальние звезды поблекли, ближние же налились, за-сверкали бесовски весело и до того ярко, что, казалось, расцвечивают снег синеватым бриллиантовым огнем, играют и насмеваются над человеческими мучениями. И тогда все, даже конвойный впервые в жизни, особенно при исполнении служебных обязанностей, испытали такое странное и, главное, всеобщее усиление сердцебиения, которое бывает лишь во время кошмаров во сне. Конвойный же, который спал вовсе без снов, испытал особый страх, происходящий от незнания подобных свойств организма, и хотел было даже на всякий случай загнать патрон из обоймы в канал ствола, однако руки не повиновались ему, также впервые в жизни, и он, задрвав несколько кверху подбородок и приоткрыв рот, тяжело дышал в унисон с конвоируемыми, а также с другими лицами, застигнутыми этим природным явлением врасплох. Ольга, Вася и Франя испуганно крестились, Ольга и Вася по-православному, а Франя слева направо, по-католически. Сашеньке же и профессору, как натурал нервному, хотелось то ли закричать, то ли заплакать, то ли схватить лопату и забросать землей яму, чтоб не видеть ясный отпечаток человеческого тела в глине, словно на геологическом разрезе отпечаток древних существ. В действительности же все объяснялось просто. Усилившееся в результате столкновения циклона и антициклона количество магнетизма в атмосфере воздействовало на полушария головного мозга, те же, в свою очередь, воздействовали на большой и малый круги кровообращения. Ритм тока крови нарушился, а именно усилился, что мгновенно сказалось на тканевой жидкости или тканевой лимфе, ощутившей недостаток кислорода и питательных веществ, а также избыток углекислоты и продуктов распада. Вот почему не мог передернуть затвор конвойный, впали в религиозный экстаз дворник и Ольга с Васей, особо жуткий покой воцарился за стеной сарая, а Сашенька и профессор, почувствовав сильное внутреннее давление, жмущее сердце к горлу, хотели забросать мерзлыми комками яму, чтоб не видеть ясных вмятин плеч, ног и головы на подмерзшей уже глине. Но, видно, и атмосферный магнетизм не на всех ока-

зывает одинаковое воздействие, одних он приковывает к месту, других же, напуганных либо терзаемых горем, поднимает и побуждает к движениям. Нарушив тишину, распахнулась дверь в дальней лачуге, и на протопанную тропку вышла мать убитого вчера у старой бани гранатой пятилетнего мальчика. Она шла, большеносая, золотозубая, с висящими в беспорядке вдоль щек волосами, и под руки ее поддерживали два члена этой широко разветвленной восточной семьи, родные братья мужа ее Шумы, такие же темнотицы, золотозубые и большеносые. Оба они имели рундучки по чистке обуви и продаже ботиночных шнурков, один у вокзала, второй у бани, где и погиб мальчик, найдя старую гранату под снегом. Рундучок возле бани младший брат унаследовал от Шумы, который обосновался на этом выгодном месте еще перед войной. В те годы Шума был человек крепкого здоровья и большой любитель радостей жизни. Любил он, например, пить пиво прямо в бане, сидя на омытой горячей водой каменной скамье с желобками для стока, среди пара и плеска, сдувая пену в мыльные потоки распаренными губами. Пиво же приносил ему в банное помещение из банного буфета банщик за скромное вознаграждение. Тело свое Шума холил и любил, оберегал без помощи докторов, но все-таки в дальнейших его действиях не все понятно, почему, как только представилась возможность, он специально ходил по адресам именно докторов, а не людей другой профессии, и бил их, этих докторов, без жалости. Кроме Леопольда Львовича, соседа своего, он убил педиатра Лапруна с семьей, убил хирурга Гольдина и оглохшего, полуслеплого от старости невропатолога Барабана, который, несмотря на старость и слепоту, используя многовековую природную хитрость своей натуры, сумел так ловко спрятаться вместе с запасом пищи и воды, что только Шуме, хорошо знавшему окружающую местность, удалось извлечь старого невропатолога из подвальных помещений трикотажной фабрики и убить его, ударив тут же, во дворе фабрики, подслеповатую седую голову о цементный угол склада готовой продукции... Теперь же, больной страшными неземными болезнями, Шума по частям умирал в тажном больничном бараке, а родные его скорбной вереницей шли по заснеженному двору, сопровождая мать погибшего от несчастного случая пятилетнего сына Шумы. Шли друг на друга похожие мужчины и женщины, двоюродные братья, сестры, племянники, внуки. Позади всех шли Зара и Хамчик. Зара шла, опустив голову, а Хамчик, наоборот, гордо и твердо смотрел вокруг, он видел Сашеньку, и глаза его загорелись ненавистью. Стариков в процессии этой видно не было, они, по обычаям своих предков, остались у тела мальчика, убирая его и снаряжая в дорогу. Процессия, тихо, гортанно переговариваясь между собой, обошла двор. Когда она была метрах в пяти от сарая, открылась дощатая дверь, и вышел лейтенант. Лицо его вовсе лишено было крови, которую всю отсосало сердце, снабдив его чугунные кулаки и многотонную грудь. Даже голубые глаза побледили, казалось, плохо различая то, что находилось неподалеку, но зато видя нечто сейчас отсутствующее, но существовавшее ранее. Мать мертвого мальчика оттолкнула братьев мужа и остановилась. Между ней и лейтенантом была яма, наполненная до краев лунным желтоватым воздухом, и на дне этого лунного воздуха виднелись отпечатки вжавшегося в глину тела. Так во всеобщей неподвижности прошли секунды, потом мать подняла руки и начала рвать, щипать свое лицо, как делают восточные женщины в страшном горе. Она захватывала кожу вместе с мясом на обеих щеках под скулами, сжимая ее сверху полусогнутым указательным пальцем, а снизу сильно упираясь в кожу вытянутым большим пальцем, так что

кожа собиралась в складку, которую мать мертвого мальчика постепенно сжимала, сдавливала, тянула, точно стараясь оторвать от костей. Так скользила она пальцами по всему лицу, молча, без стопа рвала, постепенно опускаясь от глаз книзу, к подбородку, скользила к ушам и снова рвала под глазами. От ногтей и щипков лицо ее покрылось кровоподтеками и синяками, а она все не могла ощутить боли, будто рвала не свое, а чужое лицо, чужое тело. Братья и сестры, внуки и племянники ее и мужа ее, сбившись в кучку, гортанно, беспокойно переговаривались между собой. Наконец те двое, которые вели ее ранее, подошли и взяли за руки, оторвали их от лица. И тогда она дико закричала и лишилась чувств. Братья подняли жену своего осужденного брата Шумы и понесли по тропинке к лачуге. Хамчик же, сын Шумы, похожий на отца лицом и фигурой, подбежал к краям ямы и гортанно закричал что-то, поднял в ненависти кулаки. Его схватил один из племянников, в телогрейке и бараньей шапке, и поскольку племянник этот был старше дяди лет на пятнадцать, то он легко поволок его с собой, а Хамчик упирался и продолжал угрожать до тех пор, пока не пришедшая в сознание мать ударила его по лицу, чтоб он криками не тревожил умершего мальчика, душа которого еще три дня будет жить в теле земной жизнью, спать по ночам и просыпаться утром. Вскоре вся процессия скрылась в лачуге, и лишь Зара не ушла, осталась в отдалении, упрямо и жадно смотрела на лейтенанта, нарушая обычаи предков, предписывающие быть скромной, стыдливой и ненавидеть врагов своего отца, а также врагов отца отца и так до десятого колена, и никогда не разделять с ними ложе свое.

— Теперь правой копать надо, — тихо сказал Франия, — я наметил... Мамаша там ваша... Или, если хотите, можно сперва сестру откопать... Она ближе к забору, возле кустарника...

— На сегодня все, — сказал лейтенант, как ему показалось, тоже тихо, в действительности же чрезвычайно громко, почти переходя на крик, что было защитной мерой организма, иной раз расходуемого таким образом избыток особого рода нервной энергии, именуемой в просторечии сердечной тоской.

— На сегодня все, — сказал лейтенант, — силы мои на сегодня кончились... Мать и сестру завтра откопаем...

— Подпишите наряд, — сказал конвойный, окончательно преодолевший атмосферные явления, и, проявив даже при этом солдатскую смекалку, а именно приказав обоим арестантам засыпать яму, откуда было извлечено тело, и тем самым приступив к непосредственному исполнению обязанностей, оторвал себя от бессмысленного созерцания звездного неба, что, как известно, ни к чему хорошему привести не может и превращает человека из труженика и умельца в неврастеника и фантазера. Угрюмый арестант повиновался с неохотой, профессор же неожиданно проявил необычайную работоспособность, почти вырвал у Франии лопату и начал сыпать мерзлые комья так остервенело, без роздыха, что вскоре отпечаток тела в глине совершенно исчез под слоем грунта. Лейтенант подписал наряд и пошел со двора, а Сашенька молча пошла с ним рядом.

Атмосферные явления необычного порядка в виде свечения и зарниц к тому времени вовсе прекратились, небо поблекло, скрылась луна, потух снег, и тучи снова принялись наползать, неся с собой ветер и проснувшуюся метель.

Придя в гостиницу, лейтенант лег на кровать, а Сашенька села у него в изголовье. Гостиничный номер

был двухместный, но вторая койка, к счастью, пустовала. В номере стояла мебель разных времен и вкусов. Рядом с защитного цвета тумбочкой, к которой прикреплена была свеча, стояли два домашних стула с гнутыми спинками и одно полукресло, обитое протершейся кожей. Стол же, большой, прочный, но корявый, сколотили, очевидно, в столярной мастерской горкомхоза из некрашенных суковатых досок.

Кровать, на которой лежал лейтенант, была никелированная с шишечками, вторая же кровать — обычная солдатская койка, низкая железная, даже с налетом ржавчины. В номере чувствовались сырость и холод. Лейтенант лег, лишь стащив сапоги, не снимая шинели.

— Сними шинель и ложись под одеяло... А шинелью укроешься сверху, — сказала Сашенька.

Лейтенант покорно повиновался, как послушный ребенок, но, когда Сашенька хотела отойти, чтоб убрать со стола промасленную бумагу, крошки, жестяные коробки из-под свиной тушенки и вытереть лужу вокруг жестяного чайника, очевидно, протекавшего, лейтенант схватил ее за руку, не пуская от себя. Странно, что сама Сашенька недомогания и температуры более не чувствовала, хоть провела ночь на ветру и морозе. Наоборот, сейчас Сашенька чувствовала себя необычайно сильной и умелой. Она ловко, по-хозяйски взбила подушки под головой лейтенанта, приласкав и успокоив его, убрала со стола, вытерла досуха промокшие доски, сложила аккуратной стопкой на тумбочке остатки еды, нашла тряпку и заткнула дыру в окне, так как в том месте, где окно было забито фанерой, образовалась щель и сильно дуло. Затем Сашенька взяла чайник, вышла в ледяной коридор и в самом конце его разыскала кухоньку-кубовую, полную едкого дыма. Воды, однако, не было ни в кране, ни в большом цинковом кубе. Сашенька спустилась на первый этаж, запахнув телогрейку, повязав крепче платок, вышла на улицу и набила чайник снегом, стараясь выбирать почище и побелей из сугроба, расположенного подалеже от протоптанных тропинок. Набив чайник белым снегом, Сашенька распрямила спину и оглянулась. Ночь все еще продолжалась, однако уже чувствовался близкий конец ее, но не в каких-либо рассветных бликах или светлеющих облаках, потому что по-прежнему была ночная тьма, продуваемая насквозь метелью, а в том, что кое-где в окнах мелькали огни, появились редкие прохожие и, громыхая, прополз громадный трофейный автобус «Фиат», который возил рабочих из окрестных сел на завод «Химаппарат». В автобусе видны были сонные мотающиеся головы в кепках, ушанках, платках. Сашенька вздохнула, поежилась и вошла назад в подъезд гостиницы. Она поставила чайник в печь, которую обжигивала старуха истопница в больших валенках, ковырялась внутри кочергой, ворошила на колосниках сырые куски тлеющего торфа, дула на этот негорячий торф, закрыв глаза.

— Керосинчику бы, — сказала старуха мечтательно, — вмиг занялось бы... Подуй ты, дочка, духу у меня не хватает...

Сашенька нагнулась и дунула, запорошив себе глаза пеплом, вытерла их ладонями и снова начала дуть до боли в щеках, чувствуя на лице жар. В печи рядом с чайником стоял чугунок и варилась какая-то похлебка, которую старуха беспрерывно зачерпывала деревянной ложкой и пробовала. Покуда закипел Сашенькин чайник, старуха уже успела испробовать почти полчугунка и долила его водой, которую хранила от жильцов для собственных нужд в укромном месте за печкой. Сашенька взяла чайник и пошла в номер. Лейтенант, по-прежнему лежавший в изнеможении, привстал, опершись на локоть.

— Я беспочвоился о тебе, — сказал он устало...

Сашенька налила кипятку в жестяную кружку и нашла в тумбочке банку джема, несколько пачек галет и начатую банку свиной тушенки.

— Ты тоже ешь, — сказал лейтенант, зачерпывая галетой топлёный свиной жир.

Сашенька взяла обломок галеты и вытерла им стенки банки, незаметно, как бы лейтенант не увидел, воспользовавшись тем, что он разрывал новую пачку галет. Таким образом Сашенька вполне была сыта, потому что на стенках банки сохранилась довольно плотная пленка жира и даже кое-где волокна мяса и маслянистого хряща. Лучшие же куски мяса, запаянного в жир, она оставила лейтенанту, который был чрезвычайно слаб и бледен. В тумбочке было, правда, еще несколько банок, но Сашенька поняла, что они предназначены, чтобы расплатиться с Франей, Васей и Ольгой за копку могил. После еды Сашенька легла рядом с лейтенантом поверх одеяла, прижавшись щекой к его щеке, не испытывая при этом ни возбуждения, ни сладострастия, а лишь нежность и покой. Так лежали они в холодном номере, согревая друг друга дыханием.

— Тебе холодно, — тихо сказал лейтенант, — ложись под одеяло.

На мгновение Сашенька испытала страх, ей вдруг показалось, что сейчас может произойти что-то мерзкое, ибо, как было ни странно, она испытывала в эти мгновения к тому, о чем мечтала ночами, лежа на диванчике, лишь отвращение.

— Не надо, — сказала Сашенька, — я так полежу...

Ей вспомнился свой первый поцелуй на темном балконе, мокрое, отвратительное прикосновение сына генерала Батюни к ее лицу, разрушивший мечты и, как ей теперь казалось, положивший начало всем дальнейшим несчастьям.

— Не бойся, — устало сказал лейтенант. — Я не трону тебя.

— А я не боюсь, — сказала Сашенька и с колотящимся испуганным сердцем откинула край одеяла, скользнула внутрь, вся замерзшая, готовая к самому худшему и одновременно испытывая легкое томление, возникшее в суставах. Мужское сильное тело разом обдало Сашеньку жаром, пугающим и манящим, но прошло несколько секунд, лейтенант по-прежнему лежал неподвижно, лишь рука его нашла Сашенькин затылок, осторожно лаская, Сашенька торопливо отдернула голову, потому что испугалась, как бы лейтенант не нащупал шрам от операции, который Сашеньку сильно портит. Чтоб лейтенант не нащупал шрам, Сашенька взяла его руки, сложила вместе ладонь к ладони и зажала их меж колен своих, так любила она и сама лежать, сунув свои ладони меж колен, где у нее была гладкая, совсем атласная кожа.

— Я тебя в плен взяла, — сказала Сашенька, сжимая его ладони своими коленями.

Сашенька доверчиво положила голову на грудь лейтенанта и, ощутив мерные, идущие изнутри удары, не сразу поняла, что это его сердце, так как еще не совсем привыкла к тому, что с ней происходило.

— Мне немного страшно слышать чужое сердце, — сказала Сашенька, — особенно твое...

Они лежали еще немного в тишине, прижавшись друг к другу. Свеча догорала, и лейтенант, привстав на локте, потушил ее. Стало темно, хоть за окнами да и в коридоре ясно слышны были шаги, говорящие о том, что уже утро.

— Давай поспим, — сказал лейтенант, — мы ведь не спали всю ночь...

— Ладно, — сказала Сашенька, — я сейчас закрою дверь, чтоб нас не тревожили.

Она выскользнула из-под одеяла, побежала в чулках на цыпочках по холодному полу, опрокинула стул, на ощупь принялась искать дверь, однако забрела

к тумбочке и что-то сбросила, кажется, пустую банку. Наконец она набрела на дверь, накинув крючок, бегом кинулась назад и смело, как-то привычно нырнула под одеяло, поближе к большому, горячему, влажному телу.

— Прости меня, девушка,— сказал вдруг лейтенант охрипшим голосом,— прости меня...

— За что? — удивленно спросила Сашенька.— Что ты, глупенький... Мне так хорошо с тобой...

— Прости меня,— снова повторил лейтенант,— я не могу сейчас быть один... Прости, сестрица... Он был в лихорадке и почти бредил.— Знаешь, сестрица,— сказал он,— этот профессор, кажется, прав... Ближние должны хоронить чужие... Особенно если они убиты кирпичом по затылку... Я бил пять раз ранен... Я полз с обожженными ногами... Я остуживал ноги в болотной воде... Иногда мне казалось, что ноги объаты огнем все время... Мне хотелось сбить огонь... Потом я заполз в амбар... Там было зерно и крысы... Я ел зерно, а крысы ели меня, когда я терял сознание... Вокруг и без меня было достаточно мяса, но им нравилось теплое мясо... Особенно им нравились мои жареные ноги... Они прогрызли унты насквозь... Даже когда я приходил в себя от крысиных зубов, мне трудно было отогнать крыс от своих ног... Я бил их палкой, на которую пытался опираться, когда шел, а они грызли конец палки... Особенно там была одна седая крыса... Совершенно седая... Я запомнил ее морду на всю жизнь... Она умела мыслить, я в этом убежден... Она не грызла палку, не скалилась, а спокойно и терпеливо ждала, пока я потеряю сознание... Ты никогда не слышала о древнегреческой трагедии, девушка?... Так вот глаза этой крысы отвергали познаваемость бытия... Они смеялись над теоретическим оптимизмом Сократа... В голову такой крысы вполне могла прийти мысль об убийстве целого народа из сострадания... Чтобы положить конец мучениям и унижению его раз навсегда... Вокруг меня шныряло много крыс, обленевших от изобилия пищи, с мокрыми от человеческой крови мордами, но я собрал все силы, весь свой опыт, я перехитрил ее, превозмогая боль, стараясь не стонать, потому что я уверен, она бы поняла и отбежала дальше, но я старался не стонать, осторожно подполз ближе и убил эту седую крысу палкой... Я заплатил за этот успех дорого, у меня начали от чрезмерного усилия кровоточить ноги, но я не жалею...

— Ты весь мокрый,— заботливо сказала Сашенька,— ты весь мокрый, миленький мой, сердце мое...

— У меня упадок сил,— сказал лейтенант, тяжело дыша,— полный упадок... Смогу ли я сегодня ночью выкопать из земли мать и сестру?... Они убиты одним кирпичом все вместе... Он схватил вдруг Сашеньку цепко за запястья и приблизил ее лицо к своему, сжигаемому лихорадкой.

— Нельзя так дешево продавать свою кровь,— шепотом сказал он,— это плохая коммерция... Так невыгодно торговать своей кровью... Надо брать за каплю литр... Два литра... Ведро... Только тогда станет меньше покупателей...

— О чем ты, миленький? — спросила Сашенька, любуясь его голубыми глазами.— Не надо себя тревожить...

— Прости,— сказал лейтенант,— это, может, минута, мгновение... я забыться хочу... Может, в этом спасение... Я другого хочу... Погрузиться в другое... Прости меня, девушка... Этот пьяный дворник-католик говорил об искуплении... Но мне страшно, а страх ожесточает сердце... Я не могу представить, как раскапаю сегодня землю и увижу в глине мать... Я мечтаю только о том, чтобы черты ее исказились до неузнаваемости... На карьерах фарфорового завода лежат десять тысяч... Их убил фашизм и тоталита-

ризм, а моих близких убил сосед камнем... Фашизм — временная стадия империализма, а соседи вечны, как и камни.— Он на мгновение замолк, глотнул несколько раз.— Мне рассказывал дворник, он смотрел в окно, но защититься боялся... Сперва сосед убил сестру, потому что она была молода и могла убежать или сопротивляться. Потом он оглушил отца, мать лишилась чувств, и практический ум чистильщика сапог подсказал ему, что ее можно оставить напоследок... Он начал гоняться за пятилетним братишкой и не мог догнать его довольно долго, потому что тот то на четвереньках пролезал под столом, то бегал вокруг фикуса... Сосед отодвинул в сторону стол, фикус и стулья, только тогда ему удалось убить мальчишку... Потом он добил отца и убил мать. Она умерла легко, потому что отец видел все, лежа лишь оглушенный, а мать умерла, не приходя в сознание... Возможно, он просто раздробил ее череп уже мертвой, я очень надеюсь на это, потому что у матери было слабое сердце... Потом сосед связал ноги всех бельевой веревкой, вытащил во двор и так затащил в помойную яму, в нечистоты... Взяв лопату, он пачкал им дерьмом лица, набивал дерьмом рты... Сейчас он работает на лесопилке в Ивдель-лагере... И знаешь, о чем я мечтаю... Я мечтаю, чтобы он выжил эти двадцать пять лет, вышел на свободу и я мог бы ногтями распороть ему кожу на шее... Пусть старческую кожу, все равно... Чтоб кожа эта свисала ему на плечи, будто воротник, и ждать, ждать, пока он медленно истечет кровью из порванных шейных вен... И мочить в его крови пальцы... Я знаю, что с такими мечтами долго жить нельзя...

— Миленький мой,— говорила Сашенька, сильно уже обеспокоенная хриплой торопливой речью возлюбленного своего, похожей скорее на бред.— Миленький мой,— говорила Сашенька, прижимая его голову к своей груди,— я тоже одна... Отец мой погиб за родину, а мать — воровка... Мне тяжело... Но мы теперь вместе...

— Да,— сказал лейтенант,— мы вместе... Надо думать о другом, иначе у меня лопнет череп... Надо чувствовать другое, жить другим... Сейчас, именно сейчас... Все решают минуты... Знаешь, мне снилось несколько раз, как я убиваю этого чистильщика сапог... После того, как я узнал подробности... Стоит мне закрыть глаза... Сегодня тоже рассветный сон... Я стоял по пояс в крови... Стены и потолок — все было цементным... Гулкое эхо... Там был жуткий момент — я убивал детей его... Я конченный человек... Говорят о всепрощении, об искуплении. А я не только во сне, я и наяву мечтаю... Я тешу свое сердце, я испытываю сладость неопишущую от мучений убийцы моей матери... Я выламываю ему пальцы, я рву ему жилы на ногах... Лейтенант задохнулся. Он весь покрыт был мокрой испариной.— Пойди в кубовую,— сказал он тихо,— узнай... Я искупаться хочу... Можно ли нагреть... Работает ли душ... Именно сейчас сходи... У меня тело зудит... Я хотел бы быть чистым...

Сашенька встала, надела сапожки. Лейтенант лежал, откинувшись на подушку, успокоенный, грудь его, ранее часто вздымавшаяся, теперь дышала равномерно. Сашенька вышла в коридор, залитый солнцем, но, дойдя до первого же оконного проема, увидав кусок яркого зимнего дня в самом своем расцвете, белые от снега поблескивающие крыши, черных спокойных ворон, небесную синь, крики детворы, доносящиеся снизу, очевидно, от старой бани, где была горка для катания, увидав и услышав все это, Сашенька испытала вдруг страшное, непонятное беспокойство, перешедшее в испуг, и она кинулась назад, рванула дверь номера. Лейтенант лежал на боку, лицом к стене, и правая рука его была согнута в локте,



прижата к голове. Сашенька схватила эту руку обеими своими руками, пытаясь разогнуть, оторвать от головы, еще не понимая зачем, но рука эта была железной, неподвижной, и через сукно Сашенька почувствовала ее бугристый, напрягшийся бицепс. Тогда Сашенька зубами вцепилась лейтенанту в запястье, торопливо, остервенелое, лейтенант застонал и, пытаясь оторвать Сашеньку, ударил ее левой рукой наотмашь. У Сашеньки загудело в висках, радужные винтообразные пятна понеслись в глазах, но она не выпустила запястья, еще сильнее сжав челюсти, и нечто тяжелое выпало на пол.

— Все,— прохрипел лейтенант,— все... Пусти...

Лишь тогда Сашенька откинулась и села на кровати. Ей не хватало воздуха, и она сидела, широко раскрыв рот. На полу у кровати лежал большой армейский пистолет «ТТ». Некоторое время было тихо.

— Какая глупость,— сказал лейтенант,— забыл запереться на крючок... Какая мелочь...

Тогда Сашенька заплакала.

— Ты дурак,— сказала она.— Ты дурак, дурак... Ты бессовестный человек, вот ты кто... Ты хотел меня обмануть...

— Я не пережил войны, девушка... Я убит... Я, студент философского факультета, стал сторонником кровной мести, после того как увидел в сарае лицо моего отца, искаженное мукой, со следами нечистот на губах...

— Мне тоже не хочется иногда жить,— сказала Сашенька,— хочется, чтоб я лежала и все меня жалели...

— Ты хорошая девушка,— сказал лейтенант и сел,— все неправда... Несмотря ни на что, мне хочется жить... Несмотря на то, что отцу моему, еще живому, чистильщик сапог набивал рот дерьмом... Спаси меня... Надо думать о другом... Раз ты меня спасла... Я ударил тебя... Это ужасно... Все это...

— А мне не больно,— сказала Сашенька.— Ты не беспокойся, славенький мой...

— Надо о другом...— говорил лейтенант,— совсем о другом... Оно заслонит... Оно спасет...

Он вдруг обхватил Сашеньку так, словно тонул и дотянулся наконец до предмета, обещающего спасение. Он прижал ее грудь к своим губам, и Сашенька ощутила щекочущее томление во всем теле, давно не посещавшее ее, но теперь оно было живым, все ранее

испытанное было ничто по сравнению с этим, в сладости этой не было ни порока, ни испуга, она чувствовала, как неопытные и неумелые руки возлюбленного обнажали тело ее, снимая одежду, но не испытала и тени стыда.

— Мне холодно, холодно, — шепотом пожаловалась Сашенька, и он торопливо натянул на обнаженную Сашенькину спину одеяло. Все было просто и справедливо, и Сашенька старалась помочь усталому возлюбленному, также охваченная нетерпением. Суставы Сашеньки млели от тоски по желанной минуте, которая никак не наступала, и жажда этой минуты была велика и недоступна тем, кто уже перешагнул ее, ибо никакими воспоминаниями и воображением нельзя было восстановить этой апокалиптической жажды, когда она оставалась позади. Но вот она кончилась и для Сашеньки, и наступили сладкие мучения, блаженное истязание, от которого приятно таяли силы, из груди исторгались радостные стоны, и наконец пришло невиданное доселе ощущение исчезновения, смерти души, которую хотелось бы продлить вечно, бросив бесовский хмельной вызов жизни, природе, бессильному порядку, насмехаться, торжествовать над всеми святостями этого света, плевать на Бога, издеваться над атеизмом, презирать страдания, не признавать ни отца, ни матери, ни родины, ни любви и прочее, и прочее, трудноопределяемые желания, ощущения в этот миг полного торжества тела над Душой, неразумного над разумом, животного над человеком, идей дьявола над идеей Бога, момент зачатия, единственный миг, двойственный, как все во Вселенной, когда жизнь, лишенная помощи фантазии и разума, показывает свою подлинную цену, равную нулю, и правдой этой доставляет наслаждение непередаваемое. Но впечатление это при всем необычайном блаженстве зыбко и бессловесно, бросив вызов разуму и фантазии, оно само оказывается поверженным тем, что, лишившись слов и мыслей, не способно расшифровать свою суть и соблазнить этим человека и, будучи непорочным, быстро угаснув, лишь усиливает порядок и укрепляет целенаправленность и смысл жизни. Так проходящая, гонимая, полная надуманного смысла жизнь вступает в борьбу с вечным, реальным, царящим во Вселенной хаосом и побеждает.

Лишь в миг зачатия врывается этот вечный хаос Вселенной в плоть человеческую, и то на одно безумное мгновение.

Сашенька, бессильная и счастливая, лежала рядом с любимым, первое время, может, минуту, может, пять минут, может, еще более, она была так слаба, что не могла поднять руки, а ноги ее, как казалось Сашеньке, далеко лежащие, ощущались лишь в ноющих коленях. Любимый ее был также слаб и тих и даже изменился лицом, морщинки у глаз и на лбу разгладились, и, потеряв твердость, оно стало тиховосторженным, такие лица бывают у молящихся добрых глупых баб, либо мужиков, грехи которых невелики, а потому молитвы их ласковы и к себе, и к Богу и не требуют вериг и экстаза. Но постепенно ощущение это начало исчезать, и вместе с силами начала возвращаться к нему озабоченность, и бледно-голубые, наивные в те мгновения покоя глаза снова потемнели и приобрели осмысленный блеск. Правда, на Сашеньку он по-прежнему смотрел с нежностью, а вместе с силами в нем снова проснулись желания, он обнял Сашеньку и начал целовать ее так, что оба теряли дыхание и после каждого поцелуя тяжело, глубоко вдыхали и выдыхали.

— Еще, — требовала Сашенька, тело которой также окрепло, налилось и ненасытно просило ласки.

Потом они снова потянулись друг к другу, и снова были сладкие мучения, снова таяли силы, и снова

наступил миг исчезновения, который бы хотелось продлить вечно, но который быстро угас, принесла слабость и покой. Они лежали еще некоторое время, и сразу оба, точно были сейчас одним организмом, ощутили волчий голод.

— Отвернись, — сказала Сашенька, — мне надо одеться и покормить тебя.

Он вдруг рассмеялся.

— Ты чего? — спросила Сашенька.

— Я вспомнил, что не знаю твоего имени, — сказал лейтенант. — Какая чушь... Условность... Бирка... Имя и фамилия даны, чтоб отличать людей чужих, ненужных друг другу... Я чувствую тебя по запаху, как волк волчицу...

— Ты говоришь глупости, — сказала Сашенька, — нам надо немедленно познакомиться... Если Зара узнает, что мы даже не были знакомы, она распустит слухи...

Лейтенанта звали Август.

— Хорошее имя, — сказала Сашенька, — а я тебя Витей звала про себя... Это раньше...

— Когда? — удивленно спросил Август.

— Это не важно, — сказала Сашенька, — я сейчас встану, умоюсь и разогрею тушенку. Тут есть истопница, а, может быть, достану у нее заварку из сушеных цветов, перемешанных с тертой морковкой... Вкуснее настоящей.

— Пусть хоть морковная, — сказал Август, — заварку ты хорошо придумала... Дай этой истопнице джему взамен...

— Это слишком будет жирно, — по-хозяйски сказала Сашенька, — за джем можно достать муки и испечь оладьи... Я знаю где... А заварку она даст за две галеты... Еще благодарна будет...

Сашенька опустила ноги и неожиданно наступила на что-то холодное, вскрикнула.

— Как я испугалась! — держась за сердце, говорила Сашенька. — Я думала — мышь...

Это был по-прежнему лежавший на полу пистолет «ТТ». Лицо Августа потемнело, он схватил пистолет двумя пальцами и ткнул быстро под подушку. Сашенька села с Августом рядом, обняла, и он положил ей голову на плечо.

— Все, — сказал он наконец, — все прошло, — и поцеловал Сашеньку в шею...

Сашенька быстро и умело соорудила завтрак. За две галеты она выменяла у истопницы морковную заварку, а за еще одну галету достала у нее тяжелую чугунную сковородку. У Августа был в рюкзаке кусок зачерствевшего хлеба, Сашенька намочила хлеб в воде, вывалила в яичном порошке и зажарила вместе со свиным жиром. Получились вкусные хрустящие гренки. Сашенька положила Августу четыре гренка и кусок разогретого консервированного мяса с мраморными прожилками, себе же взяла два гренка, ломтик хряща, который она смазала топленным жиром для аромата. Август отдал свой складной нож с вилочкой Сашеньке, а сам ел большим эсэсовским кинжалом фирмы Золинген с затертой на рукояти свастикой.

День был по-весеннему ярким, после метелей и холодов вдруг потеплело, так что сейчас, в январе, повисли на карнизах домов и развалин мартовские сосульки, а в полдень даже начало капать с крыш. На главной улице развалины были во многих местах снесены и ограждены заборами, а обгорелая трехэтажная коробка бывшего универмага почти до самого третьего этажа заслонена большим щитом с производственными показателями по нефти, чугуну, стали и углю, которые будут достигнуты в 1950 году. От

кинотеатра до щита с показателями и обратно прогуливалось местное общество, мелькали шинели, танковые шлемы, франтоватые кубанки. Девушки были в сапогах. Кто победней, носил платки, кто побогаче — сшитые из шинельного сукна шапочки. Пальто у многих также были сшиты из шинельного сукна. Прямо навстречу Сашеньке и Августу шла Ирина, дочь полковника, с сыном генерала Батюни. Ирина отличалась от общей массы трофейной шубкой темно-коричневого цвета. Увидав Ирину, Сашенька спохватилась, глянула на свою телогрейку.

— Август,— сказала Сашенька,— ты извини меня, я сбегаю надену шубку... У меня есть шубка и чулки фильдеперс, я не нищая... Я через пять минут.

Август не успел возразить, как она побежала. Сашенька быстро добралась к своему переулку, но у самого входа ей преградила дорогу похоронная процессия. Хоронили мальчика, сына Шумы. Четверо носатых мужчин несли маленький гробик. Сзади женщины вели под руки мать. Время от времени они отпускали ее, словно так положено было по ритуалу, и мать монотонно, однообразно начинала рвать свое лицо. Вдруг из задних рядов процессии выбежал Хамчик и ударил Сашеньку ногой. Сашенька очень спешила, ей некогда было заводить себя, она на бегу растерла ушибленное бедро. Хамчик, удовлетворенный успехом и радуясь своей безнаказанности и силе, вернулся снова в процессию. Ольга и Вася обедали. Дымилась кастрюля затирухи: вода, постное масло, соль и ржаная мука.

— Тут к тебе материн ухажер приходил,— сказала Ольга,— вот записка.

«Саша,— писал «культурник»,— у нас радость... Я ходил к генералу, моему бывшему начальнику, он звонил куда следует... Мать твою вроде бы переведут назад из области в местное КПЗ. Она очень про тебя волнуется, а так она здоровая. Дядя Федор».

Сашенька скомкала записку, сунула ее в карман телогрейки, потом сбросила телогрейку, платок, старый свитер и снова оделась, как на Новый год, в маркизет, в фильдеперс, в шубку, в пуховый берет и даже подкрасила губы. Сашенька выбежала на улицу и что есть духу побежала назад. Август стоял по-прежнему на старом месте, у входа на бульвар, но как раз в это время мимо него проходила похоронная процессия и из процессии вдруг вышла Зара. Сашенька была в каких-нибудь десять шагах, когда это произошло, но, и не напрягая слуха, Сашенька могла догадаться, о чем Зара говорит. Она рассказывала Августу, как по Сашеньке ползали вши на новогоднем вечере. Лицо у Зары сейчас было злое и горячее, похожее на брата Хамчика, но одновременно в нем были отчаяние и тоска, Зара смотрела Августу прямо в глаза, Сашенька хорошо знала, что это значит, раньше они были подругами и вместе влюблялись. Из процессии вышел великовозрастный племянник, взял Зару за руку и повел назад, видно, больно сжав, потому что Зара сморщилась, однако, повернув голову, она отчаянно, невзирая на боль, продолжала выкрикивать Августу гадости про Сашеньку. Сашенька постояла в сторонке, вспотев от злости и горечи. Даже впервые мелькнула озлобленность и к Августу.

«Ну и пусть,— подумала Сашенька,— пусть он с Зарой... Я буду одна... И он поймет... Когда-нибудь...»

Когда Сашенька подошла к Августу, он посмотрел на нее, как будто ничего не произошло, и это насторожило Сашеньку.

— Где ты так долго? — сказал он.— Я уже соскучился.

«Притворяется»,— решила Сашенька. Однако ей тут же стало стыдно за свою минутную озлобленность, когда рядом был он, в нем было теперь все Сашенькино богатство, весь интерес к себе, только

ради него стоило заботиться о собственной внешности и собственном здоровье. Они свернули в переулок, вошли в здание с большим количеством вывесок, где помещалось, очевидно, много городских учреждений. Снизу помещались учреждения поважнее и почище, виднелись обитые войлоком двери и откуда-то, очевидно, из учрежденческих буфетов, вкусно пахло хлебом и кофеом. Учреждение же, куда имел бумагу Август, помещалось на самом верху, туда надо было добираться по лестнице, верхние пролеты которой были вовсе грязны, щербаты и заплеваны.

— Я с тобой,— шепнула Сашенька,— больше я тебя не оставляю... мне страшно без тебя...

— Глупенькая,— сказал Август и поцеловал ее в губы, хоть в любой момент из полдюжины дверей могли показаться посетители или совслужащие.

В комнате, куда пришли Август и Сашенька, за столом сидела энергичная женщина в кителе со следами орденов и погон.

— Сегодня ночью,— сказала она, читая бумагу,— перевозим несколько братских могил из центральной части города на кладбище... Можем вас присоединить... В войну хоронили где попало, а теперь это часто мешает строительным и хозяйственным нуждам. Сплошь и рядом строительные котлованы в братские могилы упираются... Сколько у вас мест?

— Четыре,— сказал Август.— Вернее три... Бра-тишку уже похоронили.

— Адрес? — спросила женщина.

Август адреса не знал, и тут пригодилась Сашенька.

— Вот и хорошо,— сказала женщина,— это как раз недалеко, заездем по пути... А то с транспортом разрез, сами понимаете... Это «Химаппарат» груженой транспорт дает... Ему расширяться надо, а котлован нового цеха прямо в братскую могилу упирается...

Выйдя из похоронного бюро, Август и Сашенька пошли куда-то вниз по улице, спускающейся под гору к реке, вернее пошел Август, а Сашенька семенила рядом с ним, никак не приноровясь, чтоб шагать в ногу. В поведении Августа, выражении его лица появилась какая-то торопливость, пугавшая Сашеньку. Вдоль реки развалили не было видно, здесь все было здоровым, румяным, свежим: розоватый снег, идущие от проруби женщины с коромыслами, заречные сельские ребята, хохоча бегающие у противоположного берега по льду, веселье собаки...

Это была жизнь простая, ясная, не замученная раздумьями, сочная и вкусная, у которой не было ни прошлого, ни будущего, а только сегодняшний мороз, сегодняшнее солнце и розовый снег на крышах мазанок. Остановившись у самого льда, Август начал жадно вглядываться, но торопливость притом в лице его не исчезла, а еще более усилилась. Природа никогда не успокаивает по-настоящему встревоженной души, и надежды на то бывают тщетны, часто ведут к самообману, ибо глубоко встревоженная душа всегда бывает зоркой, чувственной, умной, даже если человек этот особым умом в обычном состоянии не обладал, душа человеческая, разумное, чувственное начало в нем — не творение бесстрастной природы, а ее антипод, в постоянной борьбе с природой родившийся, и потому в разбухшем больном состоянии борьба эта достигает особой остроты и становится особенно неравной, в такие мгновения исчезают иллюзии и, обратившись по незнанию либо по малодушию к врагу своему, человек получает в ответ особенно беспощадные удары, и розовый снег, и солнце, и голубое небо — все, что силой фантазии, веры и предрассудков, опирающихся на душевную слепоту, превратилось бы в приятное для него и в обычном состоянии жить помогающее, теперь, в минуту особой гамлетовской душевной старости и зоркости, становится, пусть подсознательно для человека, частью всеобщего вра-

ждебного хаоса и мстит жестоко и надругается над страданиями. Не бежать от собственной души к врагу ее, а обратиться к ней, только к ней, как бы ужасно ни было то, что открывается тебе о самом себе,— вот единственный путь к борьбе и исцелению. Однако путь этот в то же время бывает опасен и страшен, как тяжелая операция, которая может спасти, но от которой можно не выжить, особенно если боль глубока и недостаточно понятна. Потому решиться на такое нелегко, и человек, даже поняв сердцем неизбежность того, что материалисты средней руки именуют самокопанием, разумеется, из самых благих намерений отсеять нездоровые индивидуумы и вырастить физически здоровое потомство, даже поняв сердцем неизбежность самокопания, человек старается оттянуть время либо тешит себя иными надеждами, которых, к счастью, немало.

— Пойдем в кино,— сказал вдруг Август,— пойдем сейчас. Где у вас кинотеатр?..

Вскоре, очень быстро, буквально минут через десять, они сидели уже в большом холодном зале с потолком, отделанным крашеной фанерой, с экраном, покрытым серыми пятнами, и неизвестно зачем стоявшим у экрана роялем. Сашенька крепко держала Августа за руку. Он нервничал, потому что сеанс все не начинался. Зал гудел от веселой переключки молодых голосов, визга девочек и топота. Наконец потух свет, возникла надпись: «Фильм взят в качестве трофея», а потом появились цветные иностранные надписи и началась цветная иностранная жизнь, которая поначалу Сашеньку даже увлекла. Август же сидел, опустил голову, глядя на пол под кресло.

— Ты чего? — тревожно спросила Сашенька. — Ну что с тобой, миленький, я ведь рядом...

— Ты смотри,— сказал Август,— я слушаю... Я люблю так иногда — не смотреть, а слушать...

Вдруг исчезло изображение, оборвался звук. Тотчас, точно ожидая этого, весело затопали десятки ног, свет электрических фонариков заметался по стенам, по экрану, по потолку.

— Витек! — словно выстрелил кто-то звонко из заднего ряда над ухом.

— Э-ге-ге...

— Брось лапшой кидаться...

— Боря, не idiotничай...

— Хошь сожрать по мордovorотью...

— Вeня, шапку забрал...

— Э-ге-ге...

Из боковой двери появилась низенькая женщина, уже пожилая, но с большой грудью и накрашенными губами. Она шла неторопливо, чтоб не задуть свечу, которую несла, прикрыв ладонью. Свеча освещала только лицо ее и кидала отблеск на грудь и руки, так что издали она походила на идущую по религиозным надобностям, если бы не ярко окрашенные губы.

— Звонили на электростанцию,— объявила она, останавливаясь у рояля,— свет будет через двадцать минут.— И тут же торопливо ушла.

— Я тебя вилочкой заколю,— снова звонко выстрелило сзади над ухом.

— У-лю-лю-лю...

Кто-то в темноте барабанил на рояле, кто-то бил четку. Грохотали сиденья откидных кресел. Еще несколько раз приходила женщина со свечой объявлять. Веселая возня в темноте продолжалась. Прошло уже не менее часа. Кто-то толкнул Августа в лопатку довольно больно, и во мгле заднего ряда над Августом плечом повисла освещенная фонариком физиономия. В физиономии этой было что-то поросшее, пухлое, розовое, все в ней было курносое, вздернутое, ползущее вверх, и нос, и углы рта, и подбородок, все дрожало мелкой дрожью, готовое взо-

рваться, лопнуть, захохотать, обрызгав слюной, все в ней было «трын-трава», «крой, Ванька, Бога нет». Это была словно маска, возникшая в кошмаре, и, несмотря на веселый нрав и внешнюю невинность, она внушала страх и возбуждала ненависть.

— Передай дальше,— сдерживая веселье,— «чтоб напосля больше не было»,— сказала физиономия и снова толкнула Августа в плечо. При этом глаза ее превратились в щелочки, щеки раздуло, нос еще выше затащило ко лбу, а подбородок — к носу.

Август брезгливо толкнул физиономию от себя.

— Литер наших бьет,— крикнула физиономия моментально и глухо, потому что Август не успел еще отдернуть руку и рот физиономии был прикрыт ладонью.

Тотчас же несколько маленьких и вертких начали пробираться к Августу, так что весь ряд затрещал.

— Пойдем отсюда быстрее,— сказала Сашенька и потащила Августа к выходу.

Они вышли в голубоватые сумерки, зимний день угасал быстро. Кучка маленьких вывалилась следом. Улица была пустынна, лишь несколько фигур маячили вдаль у развалин почтамта. Некий малыш хромал, но мчался довольно быстро, опираясь на металлический шомпол. Сашенька тащила Августа, крепко схватив его за руку. Они почти бежали вдоль каменного забора, которому все не было конца. Несколько маленьких бежали параллельно, пытаясь обогнать и преградить дорогу. Августа поражала та легкость и решительность, с которой они сразу ополчились и соединились против него, точно знали его давно и вели с ним многолетнюю борьбу, поражаемо отсутствием малейших колебаний и единодушие, которое бывает только в тайном религиозном братстве. Будь перед ним рослый грома или даже несколько, все было бы просто, но это были щуплые подростки, и Август чувствовал себя беззащитным. Первый удар шомполом пришелся вдоль правой лопатки. Потом вскрикнула Сашенька, ей попали в ногу из рогатки металлическим шаром от танкового подшипника. Кирпич пронесся у правого виска, пущенный с такой силой, что раскрошился о стену. Август обернулся, встретился взглядом с серыми веселыми глазами хромого и понял, что хромому просто и легко искалечить или даже убить его или Сашеньку, нелепо перечеркнув их судьбы, которые складывались тяжело и долго. Снова вскрикнула позади Сашенька, хромой весело улыбнулся, нечто, похожее на вдохновение, радость творчества, мелькнуло в его глазах, и в то же мгновение спасительная чугунная злба наполнила Августу грудь, он схватил хромого за ворот ватной куртки, легко оторвал от земли, ударил головой о забор и с силой бросил, рассчитав так, чтобы хромой упал не в снег, а на обледеневший твердый склон. Быстро обернувшись, Август ударил нового, какого-то маленького, вертящегося вокруг Сашеньки и, вырвав металлический прут, ударил еще раз куда-то в мягкое... После этого он оглянулся. Вокруг стало свободнее, мелькнуло испуганное лицо Сашеньки. У забора в луже крови лежал хромой подросток. Зубы его были сжаты, он стонал и плакал, силясь подняться, лицо его было серым, с него исчезла веселая беззаботная жестокость, и оно приобрело даже какую-то задумчивость, так показалось Августу. Тяжело дыша, Август, полный стыда, горечи и раскаяния, подошел к подростку, чтобы помочь ему, и в тот момент, когда он пожалел хромого, маленькие, которые, отбежав, скрывались неподалеку в темноте, почувствовали его жалость и поняли, что враг их ослаб. Несколько кирпичей понеслось оттуда, и один попал в голову, сшиб ушанку. Когда Август пришел в себя, Сашенька держала его, прислонив к забору, прикасаясь платком к Августу теплему, мокрому и липкому уху, а малень-

кие уже были далеко, они шли тесной кучкой, неся на руках хромого, потом свернули в переулочек и скрылись среди развалин.

В номере гостиницы Сашенька промыла ссадину на голове Августа чуть повыше уха и перевязала ее бинтом из индивидуального пакета, который отыскался в чемодане, перевязала довольно неумело, но все ж повязка держалась. У Сашеньки сильно болели нога и плечо, по которому ударили шомполом, однако она не стала о себе заботиться и беспокоиться, как бывало раньше, а пошла разогреть чайник.

— Ты все время хлопчешь, как квочка, — сморщившись, сказал Август, — от твоей суеТЫ у меня мелькают в глазах какие-то полосы...

Но Сашенька не обиделась на него, она знала, как ему больно сейчас и тяжело на сердце.

— Отдохни, — сказала Сашенька и села в изголовье у Августа, который лег на кровать, сняв сапоги, — отдохни, мой мальчик... Если б тебя дали мне, когда тебе было три годика...

Она обняла его, и он притих, прикрыв глаза, положив щеку на ее ладонь.

— Ай-лю-лю-лю-лю-лю, — пела Сашенька, покачивая любимого своего. Бабка, папина мать, была у Сашеньки старого казацкого рода. В сундучке ее лежала чеканная серебряная люлька ее отца, Сашенькиного прадеда, перешедшая по наследству Бог знает от какого там кошевого или казацкого сотника. Лежало также монисто из серебряных старинных монет, которое нравилось Сашеньке, и ножны ятагана. Клинок же мать сдала в начале войны в милицию как холодное оружие. Бабку Оксану Сашенька любила. Эта набожная старушка говорила только по-украински, она рассказывала Сашеньке про чертей, домовых да ведьм. Однажды она рассказала Сашеньке, что Сашенькина мать отца Сашенькиного нечестно «причаровала» к себе травой, чистотелом и рассветной землей. Сашеньке тогда было двенадцать лет, и они жили далеко отсюда, в Павлограде, где мать также работала в столовой воинской части.

— Как так причаровала? — не поняла Сашенька.

И бабка объяснила, что мать ее пошла к ворожее, та дала ей зелье, потом Сашенькина мать вышла босиком в поле и собрала рассветной земли, мокрой от первой росы, и все это она подсыпала отцу в суп, после чего он совсем пропал. Сашенька слушала бабку и верила ей, потому что любила ее и жалела своего отца. Умерла бабка три года назад. Вместе с Сашенькой заболела она сыпным тифом, Сашенька выжила, а бабка умерла.

— Ай-лю-лю-лю-лю-лю, — пела Сашенька бабкину песню, потчюя любимого своего, — чужим дитям дулю, а мому хлопчику калачи, чтобы спав вин у ночи...

За окном было совсем уже темно, приближалась опять ночь, и по тому, как дрожали от ветра стекла, как то начинало сыпать в окна мелким ледяным снегом, то вдруг наступала лунная тишина, чувствовалось, что и эта ночь будет странной, полной труднообъяснимых атмосферных явлений и беспокойной.

— Пора, — сказал Август и встал. Ушанка криво сидела на голове, давила повязку, и Сашенька додумалась подложить между подкладкой ушанки и повязкой вату, которая давление амортизировала.

Они вышли на улицу. Ночь была без луны и звезд, которые прочно скрыли напоздние тучи, и без надежды, что в ближайшее время они покажутся, беспокойство и перемены, еще недавно происходившие, казалось, навеки сменились немой глухотой. Весь окружающий мир словно застыл, вдохнув и онемев в ожидании и предчувствии чего-то, не имея сил выдохнуть, ощущая тяжесть в груди. Так думала Сашенька, когда шла она во тьме. Но это длилось все

же недолго и было обманчиво, уже очень скоро тучи исчезли и засветила луна, даже зеленоватые зарницы, как вчера, мелькнули где-то на краю, высветив трубу завода «Химаппарат». Однако и зарницы быстро погасли, и ослепительно яркая, праздничная луна, заставшая врасплох укрытый тьмой мир, всполошившая его, взбудоражившая, осветившая каждую неопрятную щель, заставившая снег беспокойно блистать, однако и яркая луна недолго удержалась, снова закрыли ее тучи, правда, не такие уж плотные, и все пришло в равновесие, ни тьма, ни свет воцарились вокруг, эдакое малокровное марево с бледными тенями от слабо освещенных предметов, тощими звездочками, разбросанными друг от друга по небу на большие расстояния, и едва заметным среди туч зеленоватым огрызком, похожим на заплесневелый ломтик сыра, — единственное, что осталось от богатой сочной луны, еще минуту назад царившей.

Весь двор: двухэтажный дом, где жила Сашенька, и несколько одноэтажных каменных домов, и обгорелые развалины, где ранее жила убитая ныне семья зубного врача, и дальняя покосившаяся лачуга, в которой жила семья убийцы Шумы, и выгребная яма, и стоящий на небольшой возвышенности среди попадающих сугробов клозет, вокруг которого в прогнившую от нечистот землю была закопана семья зубного врача, — все это освещено было сейчас как бы полнокалала, как бывают иногда освещены подвалы.

— Я тут постою, — сказал Август, — перехвачу на улице арестантов, иначе их не вытащишь из теплой кухни... Сегодня надо быстрее кончать, чтобы к трем часам, когда прибудет транспорт, гробы уже были готовы...

Он говорил спокойно, сухо и по-деловому, но это обстоятельство и насторожило Сашеньку более всего.

— Ты как себя чувствуешь? — спросила она.

Она видела, что Август себя чувствует плохо, но спросила, чтоб завязать разговор и в разговоре этом успокоить и его, и себя.

— Пойди переоденься, — вместо ответа сказал Август. — И если арестанты уже пришли и на кухне, передай сержанту, я прошу побыстрее приступить к работе, чтобы успеть к трем часам... Эти наемные работают медленно, за вчера я им оплачу, а более они меня не удовлетворяют.

Сашенька поднялась по лестнице и вошла в дом. В жарко натопленной кухне сидели за столом конвойный, арестант-профессор и угрюмый арестант. Перед ними стояли миски пахучей гречневой каши, залитые молоком, впрочем, порошковым, из американских посылок, так как на столе была цветная коробка порошкового молока, опорожненная наполовину. Раскрасневшаяся жена профессора пекла оладьи. Сашенька посмотрела на нее с неприязнью, сглотнула слюну и сказала:

— Пора приступать к работе...

— Да, — сказала жена профессора, — Вася уже готов...

— Иду, иду, — сказал Вася, выглянув на кухню.

Больная грудь его была плотно завязана платком, а на голову натянута теплая шапка Сашенькиного отца из дорогого мелкого каракуля, которую Ольга разыскала в дальнем конце шкафа и извлекла из нафталина.

— Нет, — жестко сказала Сашенька, — сегодня ты не нужен. — И вдруг шагнула к Васе, мгновение назад она еще не знала, что шагнет, а тут вдруг шагнула и сорвала с него отцовскую шапку так, что завязанные под подбородком тесемки лопнули. Васины глаза удивленно округлились, и он заморгал кротко и испуганно. Тотчас же на шум высочила Ольга, тоже испуганная, и заслонила собой Васю.

— Чего она тут распоряжается, — закричала у Са-

шеньки за спиной жена профессора, — тоже, хозяйка... Не обращайтесь внимания, я договорилась с лейтенантом...

— Да, — сказал Август, он вошел следом за Сашенькой и стоял на пороге, — давайте, сержант, выводите людей.

— Оно и к лучшему, — сказала Ольга, — я и сама думала... Вася грудью слаб... А тушенку я завтра у полковника заработаю... Кухню белить надо.

Однако жена профессора не хотела сдаваться.

— Я хочу поговорить с вами наедине, — сказала она быстрым шепотом и подошла к Августу, — поймите, вы ведь интеллигентный человек... Ночь ветреная, морозная... Он после сырой камеры... Если надо, я все оплачу сама... Мы должны сберечь его... Это будущее нашей литературы... Нашей критики...

— В общем, пора копать могилы, — сказал профессор и, отодвинув миску с гречневой кашей, встал.

Конвойный тоже поднялся, глядя на профессора с презрением и насмешкой, а угрюмый арестант смотрел на профессора со злобой, торопливо заглатывая кашу, давясь и обжигаясь.

— Это вы все наделали, — видя, что планы ее рушатся, закричала в отчаянии жена профессора и, сжав кулачки, подбежала к Сашеньке, — ты... ты ненавидишь меня... Я знаю... Я чувствую... Но ты, ты... Ты ПИЖ... Полевая передвижная жена... У него таких десятки... В каждом городе, в каждой деревне... Они развратились за войну... Научились убивать... И ты надеешься... Дрянь... — Она засмеялась.

С ней сделалась истерика, она как бы разом сорвалась, как бывает с людьми, долго крепящимися, переживающими невзгоды сжав зубы и срывающимися иногда на пустяке... Она выкрикивала сквозь смех и слезы еще много обидных для Сашеньки слов, но Сашенька не стала ей отвечать, она видела, что Август устал, слаб, едва держится на ногах и крики эти мучают его.

Профессор взял жену свою за плечи, а Вася — за ноги, ее понесли и положили на Сашенькин диванчик. Ольга брызнула ей в лицо водой, профессорша еще раз взвизгнула и затихла.

— Заключение на прежнее место отвести, товарищ лейтенант? — спросил конвойный. Губы его дрожали, кривились, и видно было, он хотел бы расхохотаться, но сдерживал себя, соблюдая устав, блюдя дисциплину.

— Да, ведите во двор, — сказал Август, он подошел к Сашеньке и сказал тихо: — Может, какие-либо вещи есть старые, платье или что-нибудь... Матери и сестре...

— Хорошо, — едва слышно сказала Сашенька и пошла переодеваться.

Она надела свитер, рейтузы, суконную юбку и телогрейку. Потом она порылась в шкафу и выбрала для мертвой сестры Августа свой новенький сарафанчик, белый в красных цветочках с перламутровыми пуговичками и разлетайкой. Для мертвой матери же она выбрала платье, правда, уже не новое, устаревшего фасона, с замком «молнией», но довольно еще прочное и приличное. Все это Сашенька сложила в чемодан, закутала поплотней шею шарфом и вышла во двор, по-прежнему тускло освещенный луной сквозь жидкие облака.

11

Когда Сашенька подошла, угрюмый арестант и профессор уже очистили намеченный участок от снега и теперь долбили его ломом поочередно. Лом у профессора вырывался, оставляя на мерзлоте едва заметные царапины, и за него долбили то Август, то

Франя, который, разметив участки и будучи сильно пьян, работал неумело. У Августа же на лице вновь появилась эта пугающая Сашеньку торопливость. Он стоял у края ямы и нетерпеливо ждал, когда покажутся останки матери.

— Пойдите погуляйте, — сказал ему профессор, тяжело дыша от физически тяжелой работы, — мы сами извлечем ее, и вы увидите мать в гробу, а не среди грязи и замерзших нечистот... Это будет честнее с вашей стороны по отношению к своей матери...

— Разговорчики, — крикнул конвойный.

— Пожалуй, это так, — сказал Август и пошел в сторону.

Сашенька взяла его за руку, они вышли на середину мостовой и ушли довольно далеко через улицы, через бульвар, мимо заборов, мимо спящей больницы, прямо к заснеженным огородам, среди которых разбросаны были редкие мазанки. Какая ночь была кругом них, какая мука, онемевшая, неспособная даже стоном облегчить себя, была во всей природе, тусклый свет, льющийся сквозь облака на снег, не способен был ни разгореться ярче, ни потухнуть, ничто не шевелилось, ничто не вздыхало во сне, не шелестело, не лаяло, никаких звуков ни вблизи, ни вдали, ни ясных, ни таинственных, которыми так полны живые ночи. Казалось, вспыхни сейчас пожар, застучи град, послышась человеческие голоса, полные ужаса, зовущие на помощь, все это только рассеяло б страх, помогло б ощутить себя человеком, которому ничто, кроме смерти, грозить не может.

Сашенька твердо держала Августа за руку, и он шел за ней послушно. Воспользовавшись этим, она свернула с тропки, выходящей среди огородов, и пошла к больничному забору, минуя траншею, в которой прошлую ночь ей померещилась убитая кирпичом красавица, Августа сестра.

Трудно сказать, сколько прошло времени, пока Сашенька и Август вернулись во двор, но у дома стояла телега, и возница нетерпеливо поругивался, а сестра и мать все еще не были извлечены из земли. На ломовой телеге было восемь гробов, в два этажа друг на друге. Это были раненые и медсестры, погибшие во время налета в сорок четвертом году на вокзале и закопанные в заводском сквере, который ныне понадобился под котлован литейного цеха «Химпарата».

— Ну вот, — сказал конвойный, — вот, товарищ лейтенант... А он уже уезжать хотел, возница-то...

Далее все было суетливо и не оставляло после себя твердых воспоминаний. Обе ямы уже были раскопаны, и необходимо было только извлечь покойных. Мать ссохлась, походила на мумию, и ее не извлекли, а вырубили из мерзлого грунта, густо облепившего все тело и лицо. Было опасно счищать грунт лопатами, так как тело было непрочно и могло рассыпаться, особенно в суставах. Это напоминало вылепленную из земли скульптуру, лишь седые волосы, росшие на маленькой земляной головке, были мягкие и вызвали человеческое сочувствие. Пробуждал также чувство обрывок бельевой веревки на бугристой, из песка и глины, ноге. Тело подняли осторожно и положили в гроб, отклеив волосы от стены ямы, обрезав веревку, и, разумеется, не стали обрывать в платье, принесенное Сашенькой, а просто укрыли этим платьем с замком «молнией», точно одеялом, и заколотили крышку гроба. Сестра же удивительно сохранилась, что объяснить можно, хотя бы примерно, внутренним строением молодого организма, а также строением грунта и расположением места захоронения. Хотя обе ямы располагались неподалеку, но сестра закопана была в чистую глину, возле забора, где не было нечистот и других продуктов гниения, а также, благодаря кустам и тени, оледеневший снег сохранялся

особенно долго весной, будучи припорошен сверху грязью, он продолжительное время не таял, а стоял, весь просачиваясь в глину и создавал вокруг тела благоприятные условия, охлаждающая его. Потому тело шестнадцатилетней девушки оставалось цветущим и привлекательным, впрочем, отчасти, может, благодаря рассеянному лунному свету. Сестру подняли, положив на шинель, которую Август снял с себя, отнесли в сарай и там обрядили в Сашенькин сарафанчик с разлетайкой и перламутровыми пуговичками.

На лице ее, в сочных пухлых губах и около набухшей девичьей груди все было мягким лишь на вид, так как ткань отвердела и окостенела, особенно на губах и груди видны были мазки нечистот, кала, которые Шума, надругаясь, кидал и лил на трупы, уже после того, как они лежали в выгребной яме.

Жена профессора, давно оправившаяся от истерики и крутившая здесь заботливо вокруг своего мужа, вытерла эти мазки нечистот на девичьем теле снегом. Потом оба гроба отнесли к ломовой телеге.

— Профессор, — сказал Август, — вы останетесь здесь до моего приезда с кладбища... Сержант, вы ждите здесь...

Далее Сашенька запомнила разрытый сквер, солдат с саперными лопатками, длинный обоз, груженный гробами, кладбище, внизу у края кладбища замерзшая река и все то же тусклое, убогое небо: ни тьма, ни свет.

— Что мне делать? — спрашивал Август значительно позднее, стоя на перекрестке улиц Янушпольской и Парижской коммуны и имея над головой своей ярко вспыхнувшую на короткое время луну. — Ужасное убийство и издевательство, но и в смерти и страданиях нет равенства... Те, кто стоял на самой нижней ступени, не имели права даже на рабство... Они не имели права и на издевательство, Шума с кирпичом скорее нарушал идеальный порядок вещей, ибо издевательство есть какое-то взаимоотношение, обещающее будущее... В идеальном случае, который, может быть, понимали несколько начитанных чиновников, знакомых с древнегреческими парадоксами и считавшихся вольнодумцами в гестапо, в идеальном случае еврейский народ должен был тихо и безболезненно умереть в четко отведенных для этого местах, выполнив тем самым свой интернациональный долг перед человечеством во имя всеобщего счастья... Несколько по-своему это понял один владелец небольшого завода по производству смазочных масел под Хажинском... Он добился у оккупационных властей права часть обреченных на смерть еврейских детей переправлять ему... Он помещал их в пансион, в хорошие условия... Детям выдавали молоко, маргарин, мармелад... Потом всем делали прививки, и они умирали во сне на чистых постельках легкой смертью... Из сытых детских тел изготавливались особые высококачественные сорта смазочных масел... На заводском дворе после освобождения обнаружили несколько ям, наполненных одними лишь детскими головками... Владелец считал, что делает хорошее и одновременно полезное дело, так как в противном случае дети не уснули бы спокойно навек, а умерли бы в мучениях и страхе... Это проблема идеального служения человечеству целого народа, от которого не требуется ни изнуряющего труда, ни лишений, а только легкой смерти... Такова точка зрения культурного антисемитизма, считавшего, что гитлеровские зверства усложняют проблему... Мне пришлось читать подобную работу, напечатанную на ротаторе...

— Миленький мой, — говорила Сашенька, лоя руки Августа, носящиеся в воздухе среди хлопьев посыпавшего из туч снега, — миленький мой, тебе надо отдохнуть... У тебя воспалены глаза...

— Отстань от меня, — крикнул Август, — отстань, уйди...

Но Сашенька не ушла, она знала, что он несправедлив потому, что ему плохо...

Потом они сидели в жарко натопленной кухне.

— Профессор, — говорил Август, — дело не в убийствах, как они ни страшны... Это старый грех, при наличии которого человечество научилось продолжать свой род... Когда я увидел своего искалеченного отца и после этого... Я мечтал рвать чужое мясо убийцы... Жилы его... Ночью мне приснилось, что я убиваю его детей... Это было ужасно... Я проснулся в холодном поту, я понял, что не могу жить более... Но здесь было отчаянное сопротивление плоти моей, змеиной мудрости, делающей все маленьким, делающей смешной любую скорбь и ненависть... Я говорю много, профессор, и беспорядочно, но вы знаете, конечно, почему... Зверь в моем сознании просто воет...

— В Библии есть место, — сказал профессор, — помните ли вы... Доколе, Господи, терпеть ты будешь наши жертвы и не порaziшь мучителей... Тут не дословно, но смысл таков... И Господь отвечает: подождите, пока число жертв еще прибавится и станет таково, что наступит тот заранее установленный предел, после которого все жертвы и мучения будут отомщены.

— Вы хотите сказать, — крикнул Август, подавшись вперед, навалившись грудью на стол, — вы хотите сказать, что это было неизбежно и, может, даже необходимо... Вот она, мерзкая змеиная мудрость, которая вползает в висок... Стоит лишь забыться... Вы мерзкий человек с вашей копеечной философией. Вам надо набить морду... Но вы говорите, я все выдержу... Я понять должен, иначе погибну...

— Я хочу сказать, — терпеливо разъяснял профессор, не обратив внимания на грубый выкрик в свой адрес, — я хочу сказать, что предел уже приближается... Возмездие, мечь доступны всем, искупление же — только правым, на чьей стороне истина... Приближается библейская черта... До черты искупление совершалось веками, правоту обиженных можно было порой увидеть лишь через столетие, теперь же, за чертой, пройденной ценой жизни миллионов невинных, возмездие и искупление сольются воедино...

— Этого мало, — сказал Август, — это непонятно... Не этого я от вас ждал... Еще один момент... Те, кто гибли во рвах и горели в крематориях, были далеки от совершенства... Но рано судить жертвы, пока не наказаны палачи... Однако придет время, и жертвы тоже ответят за преступления, совершенные против них...

— Приближается время, — сказал профессор громко, уже скорей себе, чем собеседнику, — идет время, когда человек завоюет у судьбы право владеть справедливостью, то есть устанавливать ее в масштабах своей жизни, так же как он завоевал у богов право владеть огнем... В этом — пусть подспудный, неосознанный ими Прометеев подвиг миллионов жертв, отдавших себя на растерзание, как Прометей отдал терзать свою печень коршуну... Приближается тот библейский предел, за чертой которого либо всеобщая жизнь, либо всеобщая смерть. Вечная же память душам, взявшим на себя страдания, плевки и раннюю смерть, чтоб исчерпать отпущенную человечеству судьбой долю мучений и приблизиться к библейскому пределу так, что он уже виден, во мраке, в ночи... Виден свет... Там будет новое... Может быть, новые мучения... Космические, межпланетные, черт знает какие... Но эти маленькие, кухонные, достойны даже не ненависти и плача, а презрения и смеха, эти останутся за чертой... Наши самые страшные трагедии, по существу, комичны... Шестнадцатилет-

нюю девушку убивают кирпичом по голове, измазывают дерьмом и закапывают у клозета... Ведь это веде- виль... А тюрьмы... Вы никогда не видели, как спят в тюрьмах на цементном полу... Имея астму, каверны в легких и склонность к тромбозу... Нет, колле- га, уж увольте, скорей за библейскую черту... Может, к новым мучениям, еще более страшным, но не столь смешным...

— Всякое убийство ужасно, — говорил Август, — но неотвратимое, запланированное убийство — это уже новое качество... Кровь ребенка, которого нашли и убили... Обязательно должны были убить, и всякий другой исход тут исключался... Такая кровь смывает с народа любые пятна... И делает любой гнев врагов его, пусть даже подкрепленный так называемыми справедливыми идеями, преступным... Было б еще хоть в какой-то степени если не справедливо, то поня- тно, если бы неотвратимому убийству принадлежал всякий, кто объявит себя евреем, как объявляли себя протестантами, например...

— Нашему поколению особенно тяжело, — сказал профессор, — не потому, что тьма стала намного гуще, а потому, что мы увидели свет, настолько приблизи- лись к черте, к концу туннеля, и свет этот пробудил в нас нетерпение... Пока человек был полуживотным, он жил на подлинной земле, под подлинным небом... Но, став мыслящим существом, он вошел в длинный темный туннель, в котором даже небо не настоящее, а выдуманно астрономами... Может, до конца туннеля еще два-три поколения, но свет уже виден... Потому нам особенно тяжело... Впрочем, нет, одно-два поко- ления до конца, не более... А что впереди — трудно сказать... Может, вырвавшись на открытое простран- ство, очутившись не под надуманным, а подлинным небом, и назад, в укрытие, в туннель, к нашим малень- ким распрям, к возможности умереть от руки себе подобного — вот в этом когда-нибудь мы будем усма- тривать счастье.

— После того, что со мной произошло, — сказал Август, — после всего... После этих ям... После моей вылепленной из глины и песка матери... Я не должен был бы говорить с вами. Я борюсь за свою жизнь и потому причиняю себе страдание.

Но между тем все молчали, ибо вся разношерстная публика поняла вдруг, что этим двум сейчас не надо мешать... Впрочем, каждый молчал по-своему. Жена профессора молчала, хоть была обеспокоена недо- вольством имеющего власть над мужем собеседника нелепыми высказываниями мужа. Однако она чув- ствовала, что собеседник нуждается в муже, а значит, еще некоторое время муж будет сидеть на теплой кухне, а не в сырой камере. Сашенька молчала, пото- му как любила Августа и сердцем чувала, что в данное время все идет лучшим образом, и не отвечала на глупые слова арестанта, разговор этот помогает лей- тенанту окрепнуть после увиденного и пережитого. Конвойный — соблюдая дисциплину и, помимо того, сочувствуя лейтенанту: у него, у конвойного, самого сожгли в войну хату с семьей, и, увидав пепелище, он не пошел назад, к станции, чтобы провести там на лавке в одиночестве ночь, а пошел и просидел ночь в шумной компании. Угрюмый же арестант молчал, потому что глотал прямо со сковороды горячие ола- ды, направляясь на два дня вперед, надеясь, что туго набитые в желудок полусырые оладьи не скоро будут переварены, разбавляемые завтра, послезавтра и дня через три тюремным варевом, они создадут продолжительную сытость и приятную отрыжку пе- ченым тестом. Олгы же и Васи вовсе не было на кухне, они лежали в комнате на свежих полотняных простынях, которые Сашенькина мать берегла Са- шеньке в приданое, и даже сквозь плотно притворен- ную дверь слышны были их ласки.

— Я читал исследования по определению таин- ственной цифры, — говорил профессор, — библейского числа жертв, после которого наступит справедли- вость... Работа графоманская, поверхностная, но проблема носится в воздухе... Возможно, это будет названо по-другому... Тут имеется доля фатализма, которая и мне претит... Но обратите внимание: чем более свободным становится человек, чем более раз- вивается наука, чем большее число людей начинает уважать себя, свою собственную личность, свое до- стоинство, тем более возрастает число их жертв... Эти два потока идут навстречу друг другу, чтоб остано- виться на заветной черте... Столкнувшись, эти два потока образуют третий, который отклонится от рус- ла нынешней истории и по некоторым расчетам будет двигаться перпендикулярно ей, по иным же — под еще не установленным углом.

— Я убедился, — сказал Август, — палач и жертва едины только в смерти. В жизни же существует чет- кое разграничение... С момента рождения... Целые семьи, целые нации, народы, государства... Вот в чем главная мерзость... Дышащая, поглощающая пищу, размножающаяся жертва, готовая в любой момент умереть и доживающая до глубокой старости... Жерт- ва-праотец, жертва-производитель, она порождает особей, которые твердо знают, как остры и беспощад- ны клинки у палача, но не знают совершенно, какой у палача хрупкий, легко ломающийся хребет... Как приятно его перебить... Как легко он распадается на отдельные позвонки... И какими не плотоядными, блестящими, а осмысленными и даже умными, пол- ными философского раздумья становятся у палача глаза в те короткие мгновения... Так пусть же теперь умирают палачи, профессор, ибо каждый удар по позвоночнику на короткие предсмертные мгновения превращает их в ясные, добрые души... Ваша библей- ская цифра станет возрастать чрезвычайно и прибли- зится к заветной черте.

— Если вы после армии поступите в Свердловский университет, — сказал профессор, — я дам вам записку к одному человеку... Весьма уважаемому... Он вам поможет... Хотите, я сейчас напишу записку... Толь- ко частным образом... Передадите частным образом.

— Не надо, — тихо сказал Август, — я готовлю себя к другой карьере...

— Жаль, — вздохнул профессор и вдруг пристально посмотрел Августу прямо в глаза, — у таких, как вы... и, может, как я, наряду с легкими должны быть жабры... Когда становится трудно добывать кислород из воздуха, можно было б добывать его из воды... Образ нелепый, поэтический, а не научный... Я ведь перевозчу немного... Даже плохой поэт хоть раз да попадет в точку в отличие от плохого ученого... Есть интересные слова одного забытого сочинителя... В общем-то забытого законно... Половое влечение родственно жестокости... Все рожденное от женщины должно умереть... Пусть они полемичны, неопытны с точки зрения нашей средневропейской морали, но в них есть красота древнегреческого мироощущения, способного любоваться пластикой трагедии, напри- мер, пластикой кровосмешения, так что забываешь о сути и этим побеждаешь страдания...

Профессор говорил бы еще долго, но в это время застучали в кухонное окно, выходящее на лестничную площадку, и чье-то лицо прильнуло к стеклу.

— Это «культурник», — недовольно сказала Са- шенька, — дядя Федор... Чего ему надо?..

Она встала и открыла дверь.

— Записку получила? — тяжело дыша, спросил дядя Федор, видно, он торопился и прыгал по лест- нице через ступеньку, несмотря на хромоту. — Мать же утренним поездом привозят... Давай одевайся...

— Я не могу, — сказала Сашенька, — я приду к ней

завтра... Или, в общем, когда разрешат свидание... В четверг приду...

— Мать сильно огорчится,— почти просил дядя Федор,— сердце у нее пошаливает... Ее беречь надо...

— А у меня болен муж,— твердо и при всех сказала Сашенька,— я не могу его оставить одного...— Она подошла и обняла Августа, прижалась щекой к его колючей, обросшей щетиной щеке.

Дядя Федор некоторое время смотрел растерянно, потом улыбнулся, шагнул и протянул Августу пятерню.

— Очень приятно,— сказал он, широко улыбаясь,— примите поздравления... И Катерина, Сашина мать, будет рада... Оно, конечно, неожиданность... Но в наше-то время... Теперь не советуются, и оно к лучшему... Сердце у Саши не то чтобы грубое, а скорей принципиальное... Отец ее был партийный комиссар, она в него в смысле интересов государства, даже если нарушения исходят от родной крови... Я ее не осуждаю... И Катерине сказал: так оно к лучшему... Ты ошибку совершила в том смысле, что народное добро присвоила, искупить надо... Она поняла... А мы тоже за государственные интересы и за народное добро кровь на фронте лили... Так что ты не сомневайся, Саша, что мать на тебя в обиде,— повернулся он уже к Сашеньке,— она тебя любит сильно и мужа твоего любить будет... А от меня тоже личное поздравление...— Тут он спутался окончательно и притих.

— Это что за поезд? — спросил вдруг Август, отстраняясь от Сашеньки и поднявшись.— Львовский?

— Он,— сказал дядя Федор.

— Тогда мне спешить надо,— заторопился Август,— собраться и с людьми рассчитаться... Вещи в гостинице...

Далее все произошло быстро, лихорадочно, нелепо. Сашенька тоже заторопилась, скорей механически, не думая ни о чем, кроме как о том, чтоб помочь любимому, который так спешил, что не попадал в рукав шинели. Она помнит, как вместе с ним бежала к гостинице, а была ли при этом ночь, или уже рассветало, полнолуние ли бушевало на полную силу, или робкое небесное тело терялось в метели, и какие прочие явления тревожили небо, на это Сашенька не обращала внимания, но, очутившись на перроне, она, словно разом ударившись обо что-то грудью, остановилась и огляделась. Грудь ее действительно болела, как при сильном ушибе, и вокруг нее, и в небе, и на железнодорожных путях была тревога, горели низко, освещая шпалы, огни, пахло углем, а тучи, звезды и месяц, не полный, круглый, однако довольно увесистый,— все это вместе беспрерывно создавало разные причудливые картины, меняясь местами, то исчезая, то появляясь, и в каждой картине были смысл и порядок. Сашенька догадывалась о том, но вследствие кратковременности каждой небесной картины порядок этот охватить нельзя было, и потому все казалось случайным хаосом. Это-то несовершенство зрения и создавало тревогу, усиливающуюся в Сашенькином сердце.

— Почему ты не смотришь на меня,— спросил Август,— ты обижена? Ты презираешь меня?

— Я не хочу, чтоб ты уезжал один,— сказала Сашенька,— я хочу с тобой...

— Я напишу тебе,— сказал Август,— ты приедешь ко мне, как только решится вопрос о моей демобилизации... Я поступлю в университет, и ты тоже будешь учиться...

Вокзал помещался в одном из уцелевших станционных корпусов, где ранее располагался железнодорожный техникум. Оттуда сейчас тянулись пассажиры с узлами и чемоданами, стремясь заранее занять удобную позицию на перроне, готовясь к тяжелой

посадке, так как стоянка поезда была кратковременной. Прежнее здание вокзала, разбитое бомбами во время налета в сорок четвертом году, сейчас оцеплено было колючей проволокой и освещено с вышек прожекторами. Там работали пленные румыны и заключенные. Заключенные уже возились в развалинах, а румын, видно, недавно привели, и у них еще была переключка.

Дядя Федор бегал вдоль перрона, буксуя раненой ногой по скользкому снегу, пытаясь разузнуть, где именно, в голове или хвосте поезда, прицеплен тюремный вагон, а в руках у него был мешочек с гостинцами, которые он надеялся передать Сашенькиной матери. Несколько раз он подбегал к Сашеньке и Августу, чтоб сообщить им новые уточненные сведения по поводу тюремного вагона, но каждый раз, увидав их странные, необъяснимые лица, робел и отходил в сторону.

Налетел ветер, принялся рвать станционные деревья, трепать лесопосадки за путями вдали, развеял, закрутил по небу карусель из туч, звезд и луны, разбросал небесные картины. Происходящий от сгущения воздуха в одних слоях атмосферы и разжижения в других и возникший таким образом внезапно перепад атмосферного давления вспугнул пассажиров раньше времени, так что они еще минут за десять до прихода поезда принялись бегать взад и вперед с узлами и чемоданами, опасно ударяя встречных, особенно если ребром фанерного, окованного жестью чемодана-сундучка. Дядя Федор же начал бегать еще раньше, при относительном покое природы, потому что его ослабленная ранением аорта чувствовала приближение метельной грозы на самых дальних подступах. Впрочем, чувствовали это и некоторые другие, но основная масса заволновалась лишь под непосредственным воздействием метели. А на Сашеньку и Августа метель произвела странное впечатление: Сашенька подошла к Августу вплотную и смотрела на него снизу, зрачки ее поднялись вверх и внутрь, ближе к переносице, как при приближении сна или обморока, или смерти, и в глазах ее было благоговение, соединенное со страхом. Она видела только голову любимого и беспоконные небеса над ней, а он смотрел на нее сверху, точно с этих беспокойных небес.

— Поезд,— закричал дядя Федор.— Мать-то... машет тебе, Сашенька... Ты гляди... Привезли... Здеся она...— Он захлебывался от радости...

— Любовь моя,— сказала Сашенька Августу, не оглядываясь назад, хоть дядя Федор теребил ее, пытаясь обратить внимание на мать, зовущую ее через головы конвойных и рвущуюся к ней.— Любовь моя, навсегда ты...

Дядя Федор, скользя больной ногой, спотыкаясь, подбежал, чтоб глянуть на Сашенькину мать и попытаться передать гостинец, так как арестантов уже сажали в крытый брезентом автофургон, но мать, ухитрившаяся протиснуться в последний ряд и тем самым выгадав минуту-другую, тут же погнала дядю Федора назад к Сашеньке, чтоб дочь подбежала к оцеплению конвойных, показала, как выглядит, и сказала в двух словах, как живет, а если это не удастся, то хоть пусть оглянется.

— Мать просила,— задыхаясь от бега и морщась от боли в раненой ноге, крикнул дядя Федор,— мать зовет... Или хоть оглянься... Скучает она по тебе...

Однако Сашенька вряд ли слышала его, а может, и не видела даже, ибо, как сказал физиолог Чарльз Белл: «Когда чувство поглощает нас целиком, для нас уже не существует внешних впечатлений, мы обращаем глаза вверх, совершая при этом движение, которое не учились и которое не приобретали».

— Всегда только ты,— радостно сказала Сашенька.

— Да,— сказал Август, и лицо его опустилось с небес к Сашеньке на грудь.

Возле вагонов рвали и били друг друга пассажиры, которых короткая стоянка поезда превратила временно в злейших врагов, стараясь протиснуть свои узлы и тела в первую очередь, они лезли, забыв о человеколюбии, так как паровоз уже дал гудок к отправлению, а до следующего поезда были сутки на полу или на вокзальных лавках.

— Я напишу,— крикнул Август уже со ступеньки последнего вагона, уходящего в пространство, освещенное низкими железнодорожными огнями.

Дядя Федор продолжал бегать от Сашеньки, стоящей в дальнем конце платформы, к почтовым пакгаузам, возле которых садились в автофургоны арестанты, он очень хотел поглядеть на Катерину, подбодрить ее, передать гостинец, если удастся, и себя порадовать ею, постояв невдалеке и перекинувшись словом-другим, потому сильно он без нее тосковал, но едва Федор появился у оцепления, как Катерина тут же безжалостно гнала его назад к дочери, ничего не желая слушать и требуя, чтобы он привел дочь с собою.

— Мать же просит,— кричал Федор, весь в испарине, дыша со свистом и начав ощущать также боли в почках, рана там была давняя, еще с сорок первого, хорошо заштопанная в стационарном госпитале, и беспокоила редко, только когда уж очень сильно уставал и волновался.

— Мать ведь волнуется, ну,— кричал Федор,— проводила ведь ты своего... Чего еще... Мать-то увезут... Может, только на ночь тут оставят... Я слышал, в соседний район... Не в область, а в район переводить будут... Ну, посмотри хоть... Ведь мать же она тебе...

Но Сашенька смотрела не назад, где, стоя в урчащем автофургоне, рвалась к ней мать, а на заснеженные пути, где среди низких железнодорожных фонарей потерялся Сашенькин любимый...

Прошло уже минут пять, поезд, очевидно, успел пересечь мост, за мостом начинался долгий подъем, составы всегда шли там медленно, тяжело, огибая город по широкой дуге, и если любимый стоял у окна, то в свете луны вполне можно было видеть его лицо всякому, кто шел теперь по Загребельной улице, подступающей к самой железнодорожной насыпи, с Загребельной же горы, возле церквушки вполне можно было видеть его совсем долго, а если в солнечный день, то и того более, пока еще паровоз обогнет гору и утянет весь состав в туннель возле Райковского леса.

Жизнь на перроне между тем затихала, те, кто не успел втиснуться в вагоны, ушли назад, волоча потяжелевшие узлы и чемоданы, по-прежнему толкаясь и торопясь, чтоб захватить вокзальные лавки, а не лежать сутки на полу.

— Увезли мать-то,— сказал тихо Федор, лицо у него было усталым и болезненным,— гостинец я ей так и не передал, несподручно было... А ей надо бы, по ней видать, ох, как надо питание... Сала здесь кило и сушеные сливы, с ними запросто кипятком пить можно вместо конфет или сахару... А со своим вы как, договорились? К нему ты, что ли, поедешь?

— Мы еще не решили,— задумчиво улыбаясь, сказала Сашенька, потому что ей было приятно говорить о любимом,— он мне напишет... Если его демобилизуют, то мы переедем в какой-нибудь большой город, может быть, в Москву, потому что Августу надо продолжить учебу... Он хочет, чтоб я тоже занималась, но я пока пойду работать, ведь и одеться нужно, и питание, и жилье мне, может, дадут на фабрике... Вот только надо усвоить хорошую квалификацию... Выучиться бы на портниху, на фабрике отра-

ботать, потом втихаря дома... Заработать можно, народ сейчас пообносился.— Сашенька объясняла все это обстоятельно, по-хозяйски, и от слов этих ей становилось хорошо и спокойно.

— Мать поможет,— сказал Федор.— Да и я помогу... Не чужой ведь... Я на «Химаппарат» устраиваюсь... Матери много не дадут — вдова фронтовика, я с генералом толковал... К осени домой вернется... Так что, если, конечно, у вас ребенок родится, тогда потруднее будет... Но ты не робей, живы останемся, не помрем...—Он обнял Сашеньку за плечи, и они пошли от станции по утрамбованной скользкой дороге. И пока шли так вдвоем через весь замерзший город, успели в душе простить друг другу все дурное, как давнее, так и недавнее, и даже подружиться.

Что происходит с людьми, почему они относятся друг к другу так, а не этак, понять все-таки трудно, как бы все это хорошо ни было изучено, примитивно легко объяснимо и твердо усвоено. Всегда имеется маленькое «но» в приязни или неприязни и вообще во всем том бесконечно неясном мире, который именуется человеческими отношениями, в мире, полном быстро текущих химер, цепных реакций, в мире, где в таинственном порядке взаимодействуют органы живые: кровь, лимфа, нервные волокна, семенная жидкость, желчь — с явлениями земного магнетизма, излучениями солнца и лунными фазами. Океан человеческий — самый удивительный, бездонный и непознаваемый. Именно о том, по утверждению некоторых, писал Иов в книге своей, призывая не обольщаться простотой, видимой глазом невооруженным, и призывая никогда не переставать испытывать удивление перед тайнами бытия. А главных тайн бытия три. Самая большая тайна Вселенной — это жизнь. Самая большая тайна жизни — это человек. Самая большая тайна человека — это творчество. И сказана по этому поводу самая большая, самая доступная человеческой душе мудрость: «Взгляни на меня и удивись и положи руку свою на рот свой» /Книга Иова XXI/.

12

В конце сентября Сашенька родила девочку. Сашенькина мать к тому времени давно уже вернулась из заключения, ее присудили к шести месяцам, но сократили срок по беременности. Она родила летом, на три месяца раньше Сашеньки, и тоже девочку. А Ольга родила в марте, и ее дочь уже садилась, ползала и умела больно щипаться. Сашенька с Оксанкой жила в маленькой комнатке, а мать с Федором и Сашенькиной сестрой Верочкой — в столовой, Вася и Ольга же — опять на кухне, но теперь они отгородили себе довольно большой участок, и не ширмой, а кирпичной перегородкой, наняв рабочих, так что вместо просторной кухни образовались комнатка и узкий проход, в котором едва умещалась плита. Наденька, Ольгина дочь, была не по возрасту крупная, проситься она еще не умела и потому от нее всегда пахло кислым, зато она чрезвычайно рано поняла, что живет и крепнет тот, кто ест, и, кто бы ни сидел за стол и что бы ни ели: постную ли затируху из ржаной муки, суп ли из кормового бурака, картошку ли в мундире, одобренную желтоватым, недоброкачественным жиром, вызывающим изжогу, что б ни ели, Наденька с одинаковым восторгом протягивала ручонки к валившему из кастрюли пару, и нельзя было даже сказать, что она попрошайничает, просто она радовалась виду и запаху еды, как иные дети радуются погремушке. Однажды Вася, работавший теперь в столярной мастерской и неплохо зарабатывавший, дал Наденьке лизнуть кусочек сала. Наденька пришла в такой восторг, что Ольга оборачивала кусочек сала чистой, вдвое сложенной тряпочкой, прива-

звала на ниточку, чтоб Наденька не проглотнула, и давала ей сосать, словно пустышку, пока Катерина не увидела и не отругала Ольгу за это.

Ольга с Васей сидели в своей переделанной из кухни комнатухе, большие, добрые, любящие друг друга без слов и объяснений, а одними лишь ласками, и Наденька с кроткими Васиними глазами, пуская из ротика пузырьки, ползала у Ольги на коленях, стучась о выпуклый Ольгин живот, потому что Ольга опять была беременна.

Сашенькиной сестре Верочке шел четвертый месяц, однако и она уже в чем-то повторяла людей, давших ей жизнь. Она любила смеяться, и при этом на щеках ее появлялись крохотные ямочки, как у Катерины, Сашенькиной и Верочкиной матери, когда же делала что-либо плохое, например, сбрасывала со стола чашку или однажды пикинула отцу своему, Федору, прямо в лицо чистой детской струйкой, не желтой, а беловатой, похожей на теплую водичку, не насыщенной еще терпкими мочевыми солями, когда пикинула отцу, то при этом так искренно нахмурила бровки и сморщила лобик, что чувствовалось ее полное раскаяние и не глупая, а совестливая доброта. Федор засмеялся, вытер мокрые губы и сказал:

— Что там она ест... У ней и отходы еще чистые, как слезы.

Сашенька назвала свою дочь в честь покойной бабки Оксаной. Первое время она никого к ней не допускала, сама пеленала, сама купала. Даже матери своей она не разрешала брать Оксану, а когда та все-таки брала, потому что Сашенька не всегда удачно пеленала ребенка, и он плакал, дергал головкой, когда мать все-таки брала, Сашенька испытывала ужасное беспокойство, вертелась вокруг, словно кошка, у которой взяли котенка. Глаза у Оксанки были крошечные, как и пальчики, как ручки, как курносый Сашенькин носик, а зрачки огромные, голубые, заполнявшие все глазное яблоко, совсем взрослые, отцовские, беспокойные, нервные и в то же время любопытные, не смотрящие, а рассматривающие. Сашенька полюбила теперь ночи, когда могла оставаться с Оксанкой вдвоем и их уединению никто не угрожал. Если девочка просыпалась и беспокойно дергала головкой, собираясь заплакать, Сашенька осторожно потряхивала над ней старинным монистом бабки Оксаны из серебряных турецких и польских монет, и внучка убитого кирпичом по затылку зубного врача Леопольда Львовича глядела своими большими, не по-младенчески сильными зрачками на прабабкино монисто, казачий трофей, точно угадывая в нем для себя какой-то скрытый смысл и противоречие и утомленная непосильным еще вниманием.

— Ой-лю-лю-лю-лю,— пела Сашенька,— чужим детям дулю, а Оксаночке калачи, чтоб она спала у ночи...

— Вот папка напишет,— тихо говорила Сашенька,— поедем в Москву... Он будет учиться в университете... А ты вырастешь... Будешь носить маркизетовые блузочки, будешь ходить в фильдеперсовых чулочках... А мама твоя станет старенькой...— Слезы текли у Сашеньки по щекам, но на душе у нее была приятная, сладкая тоска, чем-то напоминающая прошлую, девичью, однако эта тоска была более покойная и смиренная, без дерзости, ненависти и бунта. Особенно если случались теплые осенние ночи с паровозными гудками, с шелестом короткого дождя, далекими зеленоватыми вспышками неизвестного происхождения и огромным, не сентябрьским, а скорее августовским небом, таким живым, таким бриллиантовым, таким бесконечно разнообразным, что просто не верилось, что все это безразлично и слепо к себе и к окружающей жизни.

Однажды Федор сходил в военкомат, куда он еще

ранее по собственной инициативе написал запрос, и, вернувшись, долго крепился, отвечал невпопад, а потом не выдержал и ночью, лежа в постели на полотняных простынях, когда-то предназначавшихся Сашеньке в приданое, однако теперь уже застиранных и вошедших в бытовую обиход с легкой руки Ольги, лежа на этих простынях и обнимая Сашенькину мать, он на ухо сообщил ей, что в военкомате о лейтенанте сказали как-то неопределенно, намеками.

— Кто его знает,— сказал, вздыхая, Федор,— эти ж летчики и в мирное время гробятся, словно мухи...

К счастью, Сашенька разговора этого не слышала, ибо велся он на самых низких тонах, она, правда, слышала, как начала за стеной всхлипывать мать, но мать после заключения всхлипывала довольно часто, стала слезливой необычайно и часто не по серьезному делу, когда слезы приятно травят душу, а так, по пустякам, и Сашенька на то внимания не обратила. Она покачивала Оксанку, время от времени поднимая голову, глядела в ночное окно и думала о своем...

Как-то знойным осенним днем Сашенька гуляла с Оксанкой на бульваре. Была засушливая, голодная осень сорок шестого, наступившая после горячего, неурожайного лета. Температура была такова, какой не помнили и старожилы в это время года, очевидно, связанная с теми атмосферными явлениями, которые весь год трепали природу. Голод усилился необычайно, особенно в удаленных от центра местностях, и в ряде случаев даже превысил голод военного времени, силы же, порождаемые надеждами на близкий разгром врага и счастливую мирную жизнь, ныне иссякали, сопротивляемость организмов понижалась, и смертность возросла чрезвычайно. Умирали инвалиды войны, организмы которых на фронте были расстреляны по частям, умирали хронические больные, кровотечения, язвы которых, туберкулезные и прочие процессы были временно подавлены сильными эмоциями, однако теперь, после пяти лет передышки, болезни эти обострялись и брали реванш, умирали дети, живые организмы их лишены были необходимых витаминов, а кости, лишенные фосфора, хрупки, как у стариков, умирали вдовы, надорвавшие силы неженским трудом и женской тоской, ну, и как во все времена, умирали старики, их жалели менее других, разве что самые близкие люди, ибо в их смерти было хоть какое-то приличие и естественность.

Мышцы, поднимающие плечи, анатомы иногда называют «мышцами терпения». У многих людей мышцы эти бывают развиты чрезвычайно, однако в отличие от мифологических атлантов, держащих на плечах небо, у людей мышцы эти требуют питания свежей, насыщенной кровью, полной переработанных витаминов, белков, жиров и углеводов, добываемых из пищи, нервные волокна этих мышц также обладают запасом прочности значительным, но не беспредельным. И наступает момент, при котором «мышцы терпения» отказывают, плечи опадают, позвоночник сгибается, сердце начинает работать с перебоями. Такого человека узнать бывает трудно, и потому, когда на бульваре Сашеньку догнали трое — двое мужчин и женщина, и один из мужчин Сашеньку окликнул, Сашенька посмотрела на него удивленно. А между тем это был профессор Павел Данилович, бывший арестант, освобожденный благодаря ходатайству одной московской знаменитости, благодаря служебной честности дежурного, ныне покойного, убитого весной бандитами в Райковском лесу, а также благодаря душевности полковника, начальника местных органов, которому покойный дежурный представил ходатайство. Вследствие этих трех факторов и был теперь на свободе Павел Данилович. Однако, судя по внешнему виду,

Павел Данилович и жена его пребывали в последней стадии нищеты, распродав все вещи и ценности во время заключения. Павел Данилович был неухожен, вшив, небрит и почему-то на костылях, правая нога его являла собой распухшую колоду, запаянную в серый несвежий гипс. Жена его вытянулась как-то в длину и уж не посмела бы сейчас кокетничать с покойным дежурным, ибо каждая женщина знает себе цену, а цена ее ныне была самая низкая в мышиного цвета пыльном суконном платье, отнимавшем последние силы на такой жаре, и с грудью, которая не торчала, как прежде, твердо и остро, а провисала, словно пустые продуктовые мешочки. Жалкий вид этот дополнялся тощей авоськой, из которой, однако, торчал пучок зеленого лука, стебли его увяли и согнулись, головки были не по-весеннему тоненькими, упругими, а по-осеннему разбухли и стали рыхлыми.

Вот как быстро оказывают влияние внешние события, питание и внутренняя интимная жизнь на женскую наружность. Сопровождал обнищавших супругов юноша с тощей шеей и воспаленными глазами. Впавшая, измученная болезнями с раннего детства грудь юноши могла вызвать к себе отвращение, даже ненависть, а возможно, и вызывала это у ряда физически здоровых землепашцев с круглой грудью, раздутой воздухом полей и лесов, да мышцами, приобретенными сельскохозяйственным трудом и естественным отбором. Поэтому, наверное, чувствовалось, что жена профессора, несмотря на свой нынешний вид, по инстинкту плохо относится к юноше и терпит его лишь как очередную прихоть мужа, ибо происходила она из потомственных землепашцев, где все мужчины были двухметрового роста и ударом кулака проламывали доску. И имя у юноши было какое-то странное, полуженское — Люсик.

— Люсик, — явно обрадованный встречей, закричал Павел Данилович, — помнишь, я говорил тебе о студенте... Мы познакомились с ним при странных, трагических обстоятельствах... Весьма интересное лицо... Да... Весьма интересные высказывания у него о проблеме библейского числа... О тайне библейского предела... Это его жена... Я вас искал, — обернулся он к Сашеньке, — зайти в дом было неудобно, но я надеялся на встречу...

— Тише, — сердито сказала Сашенька, — вы разбудите ребенка...

— Прошу извинения, — смутившись, почти шепотом сказал Павел Данилович. — Это его сын?

— Это дочь, — совсем уже сердито сказала Сашенька, отодвигаясь и прикрывая собой Оксанку, точно боясь, что подобные грязные, неприятные люди сделают дочери что-либо дурное.

— Я хотел бы с вами поговорить, — сказал профессор.

— Мне некогда, — нетерпеливо ответила Сашенька, — мне скоро надо кормить ребенка... И вообще, зачем эти разговоры...

— Это касается вашего мужа, — сказал профессор.

— Вы что-либо знаете? — вскрикнула уже Сашенька, и сердце ее тяжело забилося.

— Не здесь, — сказал профессор. — Мы живем недалеко... Пойдемте, это ненадолго...

Жил профессор действительно недалеко. Комната была довольно просторной, солнечной, однако почти пустой и чрезвычайно запущенной. Стоял очень неплохой красного дерева стол с резными ногами, висело настенное яйцеобразное зеркало, и стояли две железные койки, неряшливо застланные. А на полу — штабеля книг. Единственное, в чем чувствовался порядок, — это в книгах, штабеля располагались аккуратно и в шахматном порядке, и под них была подстелена клеенка, явно содранная со стола.

— Хотите чаю? — спросил профессор. — Люсик, согрей чай...

Люсик, который сторонился Сашеньки и явно боялся ее, а когда случайно встречался взглядом, то краснел, Люсик взял чайник и вышел.

— Ваш муж оставил мне свой блокнот, — сказал профессор, — свои записки. Вернее, они хранились до недавнего времени у моей жены... Но, вернувшись, я ознакомился... Любопытно... Весьма любопытно... Но многое непонятно... Нет ли у вас чего-либо еще?... Возможно, это прольет свет...

— Нет, — растерянно сказала Сашенька, — я ничего не знаю. Он мне не говорил... Мы не успели... И про этот блокнот я впервые...

— Любопытный блокнот, милый блокнот, — поглаживая коленкоровый переплет и радуясь, словно ребенок игрушке, говорил профессор Павел Данилович, — у Люсика совершенно независимо... В его работе... Кое-что подобное... Вернее — дополняет друг друга... Это и то...

— Люсик твой сумасшедший, — сердито крикнула жена, — он кибернетик... А в каждом справочнике написано, каждому ребенку известно, что кибернетика — это буржуазная лженаука...

— Ну кто тебе сказал, что он кибернетик, — миролюбиво сказал профессор, не давая себя спровоцировать на ссору, — он, кошечка, не кибернетик, а с совершенно реальных позиций диалектического материализма пытается использовать векторную алгебру как инструмент анализа исторических закономерностей... Математический анализ количества и направления событий в истории.

— Это все Люсик, — чуть не плача, крикнула жена, обращаясь к Сашеньке и неожиданно ища у нее поддержки, — он кибернетик, я это точно чувствую... Меня не обманешь... И этому седому человеку не стыдно возиться с ним... С этим сумасшедшим... А может быть, хитрым пройдохой... Не стыдно... Известный ученый, надежда нашей литературоведческой науки, переводчик Лорки, Байрона... Я пожертвовала ему всем... Я была обеспечена, у меня был муж-ответчик... Он любил меня, он готов был на все ради меня... Но я поверила ему. — Она протянула руку в сторону Павла Даниловича, который сидел сморщившись, точно съел что-нибудь кислое, так как боялся, что скандал и слезы жены надолго и это помешает ему сосредоточиться, а между тем что-то новое, рвущееся давно наружу, но до сих пор неуловимое, шевелилось теперь в его мозгу.

— Я поверила ему, — заливаясь слезами, кричала жена, — я считала своим долгом спасти его для России, для науки, для будущего... А он связался с чуждым нам кибернетиком, которому попросту физически не понять ни духа нашего народа, ни его стремлений...

Она замолкла, потому что Люсик принес кипящий чайник.

— Хорошо бы вина, — сказал профессор, — такие дни, как сегодня, надо отмечать вином... Сегодня ведь не просто день, — Павел Данилович обернулся к Сашеньке, — оборвалась длинная цепь размышлений и расчетов... Получен результат... Разумеется, еще черновой результат... Да, результат как пропасть... В этом издержки всякого открытия, всякого достижения... Далее пути нет. Подождите, говорит Господь в Библии жертвам, пока число ваше станет таково, что терпимость моя к палачам иссякнет... Да, я не помню сейчас точно библейской редакции... Это число будет достигнуто в 1979 году... Именно об этом числе и об этой дате говорится в Библии... Дате, с которой начнется новая история...

— Я не могу с вами согласиться, — сказал Люсик, ставя чайник на металлическую подставку, — хоть

работали мы вместе. Вывод этот чересчур поспешен, а результат случаен... Правда, он строен и заманчив своей определенностью, но я не сомневаюсь, что вы допустили элементарные математические просчеты... Такое бывает даже с великими математиками...

— Это Юркевич,— крикнул Павел Данилович сердито.— Я уверен, что ты опять общался с этим выжившим из ума старикашкой...

— Зигмунд Антонович научил меня любить математику,— сказал Люсик.

— Но он антисемит,— крикнул Павел Данилович,— как ты можешь общаться с этой личностью... Позор, позор...

— Эх, Павел Данилыч,— сказал Люсик и сел, задумчиво опершись подбородком на руку,— существуют местности возле железных рудников, где даже домохозяйки болеют силикозом... Туберкулезная палочка Коха проникает в организм независимо от человека, и в определенных местностях процесс этот идет во всяком... Иногда незаметно для него самого... Надо оздоровить не человека, а местность... Я думал над этим много... И в здоровой местности будут рождаться здоровые дети, которым не будет угрожать опасность заразиться... Потому чеху, французу, англичанину, бельгийцу, датчанину, например, я руки не подаю, если замечу в нем хоть малейшие признаки антисемитизма... Другая местность, другой климат, другой с него спрос... А с поляком, например, я вполне могу дружить при наличии в нем этих «палочек Коха» и даже относиться к нему с любовью, если, конечно, он не преступает определенной грани...

— Тяжелый ты человек, Люсик,— сказал Павел Данилович,— ужасный человек, но жаль, что ты не был знаком со студентом... Жаль, на этом свете вы уже с ним, пожалуй, не встретитесь...

— Он жив,— задыхнувшись, крикнула Сашенька, так что Оксанка проснулась и заплакала,— вы врете, врете... Вы сами сумасшедший...

— Да,— растерянно сказал профессор,— я, собственно, вообразил себе... Вы не волнуйтесь... У меня воображение, сны... Мне приснилось, например, что я умру в сорок восьмом году... Седьмого марта... Даже дата... И причем в тюремном лазарете... Собственно, сон этот достаточно оптимистичен... Два с половиной года жизни впереди...

— Вас не надо было выпускать из тюрьмы,— крикнула Сашенька, по лицу ее текли слезы, и Оксанка тоже не могла успокоиться.

Профессор и жена его шептались, а Люсик стоял у зеркала лицом к стене, и уши его и шея были красны от смущения и растерянности.

— Я ухожу,— сказала Сашенька, сердце Сашеньки болело и ныло от причиненного в этом доме страдания, растревожившего душу, ибо она и без того ночи напролет думала о своем любимом, тосковала по нему, мечтала о его неумелых поцелуях и хотела показать ему дочь. И сейчас после слов профессора она впервые за время разлуки вдруг подумала, что любимый ее мог умереть, и вспомнила, как он лежал в ту страшную ночь, согнув свою железную руку и прижав ее к виску. Всего этого Сашенька простить не могла этим людям.

— Я ухожу,— сказала со злобой Сашенька.— Вы все тут враги народа... Вы антисоветские слова тут говорили... Думаете, я дуручка, не понимаю... Мой отец погиб за родину... А вы тут... Сволочи вы... Вот у вас ползают вши. Вши у вас ползают по подушке,— она сказала это с особым удовольствием, потому что видела, как покраснела жена профессора...

Вдоль подушки, пересекая ее по диагонали, действительно ползла серая платяная вошь, и Сашеньке стало легче, хоть сердце болело по-прежнему, она толкнула ногой дверь, выскочила на лестничную пло-

щадку и немного задержалась, чтоб послушать, как жена профессора кричала.

— Это твой Люсик,— кричала профессорша,— я скажу ему в глаза... Он грязный, от него запах... У нас никогда не было паразитов. Он чешется за столом... Пусть не ходит к нам... Или я, или он...— Профессорша истерически зарыдала, а Сашенька сошла по лестнице и вышла на улицу.

Сашенька не успела дойти к концу переулочка, как ее нагнала профессорша. Профессорша была в мужском пиджаке, наброшенном поверх халата, и в домашних, отороченных мехом туфлях, очень красивых, единственной вещи, которая сохранила свой респектабельный вид, напоминая о прежней обеспеченной жизни.

— Учтите, все его высказывания, записи, бумаги, я их уничтожу... Он заблуждается, но он не враг народа... Он путаник... А у меня трое братьев погибли в эту войну и отец в гражданскую... Вот так... А если вы поставите в известность органы в извращенном свете... Да... То и ваш будет привлечен... Там имеются его записи... Думаете, я буду молчать... Вот так...— Она повернулась и рысью потрусила к себе, а Сашенька пошла дальше.

На душе у Сашеньки было грустно и беспокойно, но Оксанка начала как-то странно шевелить бровками, морщить носик, а затем чихнула и совсем по-взрослому вздохнула, так что Сашенька рассмеялась и прижала сладко пахнущее личико дочери к своему лицу.

В доме у них был веселый ералаш: купали девочек. Поскольку жили теперь здесь три семьи и это создавало тесноту на клочке, оставшемся от кухни, Катерина, Сашенькина мать, предложила купать детей всех вместе, в один день, чтоб не загромождать беспрерывно плитку. Еще по дороге Сашенька заметила, что в угловом трехэтажном доме окна яркие, электрические. Значит, электричество горело и у них, поскольку была одна с этим домом линия. И действительно, электричество горело, а керосиновые лампы и копилки стояли погашенные и ненужные, смешные. Всякий раз, когда один-два дня в неделю давали электрический свет, настроение у Сашеньки поднималось, хоть, казалось бы, такая мелочь, но тем не менее все делалось иным и верилось, что скоро станет совсем хорошо жить, придет письмо от Августа, который не мог ранее писать по военным соображениям, а что будет дальше, Сашенька никогда не позволяла себе думать, потому что дальше могло стать уж так хорошо, что от радости начало б болеть сердце, полились бы слезы и туго сжало бы виски. Потому Сашенька думала всегда только до письма, а далее просто радовалась и была ласковая со всеми, старалась угодить то ли матери, то ли Ольге, то ли Федору и даже Васе, который по-прежнему хворал грудью, но положение его вроде бы улучшалось и днем кашлял он реже, так как пил отвар, рекомендованный певчей.

Сейчас в освещенной электричеством квартире царили покой, веселье и мир. Наденька и Верочка, уже выкупанные, закутанные в мохнатые полотенца, сидели рядом на диване розовые, теплые, вкусно пахнущие, чрезвычайно ныне похожие друг на друга, более, чем на родителей своих.

— Раздевай скорей Оксанку,— сказала мать.— Электричество дали вдруг, мы по такому поводу решили день купания на сегодня перенести...

Выкупанная, распаренная Оксанка тоже порозовела и стала чем-то похожа на Наденьку и Верочку, словно на сестер своих.

Устроили общий ужин. Федор открыл хранившуюся еще с зимнего изобилия банку свиной тушенки, мать напекла ржанных блинов, а Ольга поставила на стол железную миску с твердыми варениками, черствыми пампушками и маковыми коржами разных форм и сортов. Хоть Вася и неплохо зарабатывал, но

надо было и одеться, и обуться, и Наденьку покормить, а Ольга не могла теперь ходить поденно белить и мыть полы из-за беременности, потому она каждое воскресенье ходила на церковную паперть, и ей подавали неплохо, поскольку брала она с собой Наденьку и была с животом, готовясь снова рожать. Все это смягчало сердца, особенно женщин-крестьянок, и потому из подаяний Ольга могла себе позволить даже некоторый запас, часть которого сейчас выставила на общий стол. Когда все уже уселись за стол, Федор вдруг беспокойно поерзал, пошептался с Катериной, вскочил, ушел, но очень быстро вернулся с бутылкой мутной самогонки, очевидно, ходил он недалеко, во Франину комнатушку под лестницей. Все выпили, даже Сашенька пригубила слегка, и стало совсем весело, хотелось целоваться и плакать. Мать действительно обняла ее, поцеловала и сказала вдруг:

— Прости меня, Сашенька, прости, доченька, что так тебе на этом свете неласково бывает...

Легкий шум сделался за столом, но все три девочки, распаренные и успокоенные купаньем, спали рядышком на диване, не слыша того шума, набираясь сил для будущей утомительной жизни.

— Ладно, — сказал Федор, — плакать в такую минуту — последнее дело... Я вот историю рассказать хочу... Во время бомбежки однажды ночью я простоял за каким-то укрытием, а когда рассвело, то убедился, что укрывался от осколков за оплетенной диким виноградом деревянной решеткой... Но я не знал этого ночью и был спокоен и, может, спасся благодаря тому, что не бегал по открытой местности искать укрытия... — Он на какое-то мгновение сморщил лоб, может, желая сделать из этой невпопад рассказанной истории какие-то выводы, однако ничего добавить не смог, а только рассмеялся. Вася же и Ольга прикорнули плечо к плечу, добрые, ширококостые, похожие на брата и сестру, и не упускали возможности ласкать друг друга даже за общим столом.

Между тем вечер был превосходный, перепада давления, красных облаков, в которых садится тяжелое солнце, и прочих неприятных признаков не наблюдалось, в природе все было мягко, лирично, на полутонах, ни усиливающегося в верхних слоях атмосферы магнетизма, влияющего на кровеносные сосуды, ни разных сильных звуков, от которых может произойти замирание нездорового сердца. Но тем не менее полчас назад профессор Павел Данилович внезапно умер. И нельзя сказать, что он как-то особенно был расстроен ссорой и разговорами, наоборот, после того, как ушла Сашенька, ссора быстро иссякла, и все сели пить чай с сухариками по коммерческой цене. За чаем же у Павла Даниловича была привычка, правда, дурная и вредная для здоровья, брать книгу и читать, прилебявая. На сей раз это был Спиноза — мыслитель, в котором материализм разбавлен примесью «теологической крови». Книга эта была сильно зачитана, истрепана, и на полях ее Павел Данилович писал своим прыгающим, труднодоступным почерком.

«Познание есть форма борьбы за биологическую устойчивость человеческого вида, — писал Павел Данилович, — форма, заменяющая собой миллионы лет эволюционного отбора. В эволюционном отборе, необходимом для существования вида, участвует масса, то есть устойчива масса и мимолетен индивид. Познание есть закрепление устойчивости индивида, отсюда независимая от нее биологическая ненависть обезличенной массы к индивиду, поскольку функции массы понижаются. Причем особую ненависть вызывает не познание внешнее, научное, видимое глазу, от которого можно защищаться неграмотностью либо безразличием, а познание простых нравственных истин, познание внутреннее, неподвижное, вернее, малопод-

вижное, невидимое глазу, в котором изменения измеряются не годами, веками, тысячелетиями, а цивилизациями, и от которого нет защиты. Мы отрицаем, — пишет Спиноза, — что Бог мог не делать того, что Он делает: то есть речь у Спинозы идет о предопределении, Бог также не волен в своих действиях и подчинен строгим закономерностям... Это крайне важное определение заключается в совершенстве Бога. Все вещи, произведенные им, так совершенны, что совершеннее они не могут быть им произведены. Все необходимо и предопределено, иначе он был бы изменчив, что было бы большим несовершенством... Никому не известны все причины вещей, чтоб судить о них, есть ли в природе действительно беспорядок».

Далее на полях прыгающим почерком Павла Даниловича: «Вопрос вопросов — случаен ли мир, случайна ли жизнь, случайны ли события, или все закономерно, а следовательно, предопределено. Мне думается, что закономерное всегда объемлет случайное, образуя как бы систему. Внутри системы действуют свои несовершенные случайные законы, но вся система в целом совершенна и движение ее предопределено, то есть высшие законы подчиняют всю систему в целом, но не подчиняют ее отдельные части. И такова схема для всего, способного к движению... Внутри системы движение случайно, снаружи все в целом строго закономерно и движется в предопределенном направлении. Однако предопределенное направление это в свою очередь случайно, с точки зрения другой, более крупной системы, включающей в себя множество подобных систем, движущихся в разных, случайных направлениях, а вся эта объемлющая система в целом движется закономерно и предопределенно и не может изменить своего движения, которое так же случайно с точки зрения еще более крупной системы. И так до бесконечности. Этому же закону подчинены и судьбы человеческие, и события, с ними связанные, как самые масштабные, так и самые повседневные. Движения предопределены для каждого, но случайны с точки зрения более крупной системы. Однако мыслящая живая система отличается тем, что она способна расширять сферу случайного, силой воображения отодвигать тесные тюремные рамки совершенства и закономерности, наслаждаться неизвестностью, прихотью, желанием, забывать о предопределении, ощущать счастье, тоску, ненависть, честь, стыд, величие, как бы смешны они ни были с точки зрения более крупной системы... Отсюда определение Спинозы: «Честь и стыд не только бесполезны, но и губительны, они основаны на самолюбии и заблуждении, что человек является причиной всех вещей и потому заслуживает похвал или порицания» — верно лишь с точки зрения более высшей системы для всего цикла развития человечества в целом, но неверно для внутренних этапов этого цикла. Всемирный хаос — это смешение случайного с закономерным, и вопрос: что именно венчает, что конечно в несметной цепи систем, именуемых вселенной, и это, по-видимому, никогда не будет доступно конечному мозгу. Мучиться над определением подлинного смысла человеческой жизни нелепо, ибо, чтоб понять это, надо перестать быть человеком, выйти за пределы системы, потерять себя. Для того, кто сумел бы это сделать, стать нечеловеком, вопрос этот перестает иметь значение, становится мелким, смешным, ненужным. Слабость и случайность — драгоценные качества всего живого, и человек будет вопреки крайне необходимому разуму и познанию, делающему человеческую жизнь более прочной и более безличной, человек будет держаться за эту возможность, ощущать себя и быть единственным, отличающимся от всего и от себе подобных. Может, наш надуманный маленький земной смысл жизни в том и состоит. Биологиче-

ски естественный отбор миллионы лет стремится к прочности, простоте, объединению и закономерности, и, возможно, он совпадает с подлинным не земным, но известным человеку смыслом жизни, а надуманный, маленький человеческий смысл стремится к анархии, к неконтактности, к бунту, к непохожести, дабы сохранить вкус к жизни и не утратить аппетита к жизни через маленькое, смешное личное страдание и успокоение после маленького страдания, которое, словно завеса, защищает человека от большого, неземного ужаса, заставляет человека увязнуть в маленьком своем страдании и дойти до края пропасти лишь к концу жизни. Горе тому, кто раньше времени постиг неземную мудрость и сумел подняться над своим страданием и посмеяться над ним. Земное страдание — словно спасительная повязка на глазах, скрывающая от человека его короткий миг и следующее за ним великое НИЧТО».

Прочитав эти строки, Павел Данилович поднял голову и увидел Люсика, который мочил в чае сухарик. Он привстал, хотел что-то сказать, но вдруг расхохотался. Это не была истерика, это был здоровый, полнокровный смех человека, понявшего причину своих неудач и радующегося новой жизни, которая в связи с этим должна была прийти к нему. Правда, смеялся Павел Данилович недолго, ибо внезапно упал и потерял сознание. Поскольку закупорка (тромбоз) мозговых сосудов уже случалась с Павлом Даниловичем, профессорша, хоть и испугалась, но не растерялась. Вместе с Люсиком она быстро раздела больного, стараясь не потревожить запаянную в гипс ногу, и положила в постель, как необходимо в таких случаях, с приподнятой головой, просунув под голову три подушки. Люсик же побежал на почту звонить в «скорую помощь». «Скорая» прибыла не сразу, но врач сказал профессорше, что это дела не меняет, так как у мужа ее не простой тромбоз, а острое кровоизлияние, иными словами, мозговой удар, и он давно уже мертв. После этого врач уехал, а профессорша вытянула из-под головы покойного две лишние подушки, и профессор принял естественную позу, тихую, с не заломленной шеей, а с шеей, плавно вытянутой, и с опущенной низко, замолчавшей теперь навек головой.

«Можно ли осязать рукой эту сущность, заключенную в голове под черепом, — писал немецкий философ Гердер, — само божество, говорю я, покрыло ее лесом, эмблемой священных рощ, где некогда совершались мистерии. Религиозный трепет охватывает меня при мысли об этой тенистой горе, таящей в себе молнии, каждая из которых, вынырнув из хаоса, в состоянии осветить, украсить или опустошить весь мир».

И вот теперь седая гора профессора неподвижно покоилась на подушке, храня в остывающих недрах последние свои открытия, не закрепленные на бумаге прыгающим почерком, а сверкнувшие, словно молнии, и погубившие кровеносные сосуды. Лишь на губах профессора была жизнь, изломанные в сарказме, они насмехались над мистикой, идеализмом и вещами снами, предсказывавшими профессору еще два года жизни, до марта сорок восьмого, и смерть в тюремном лазарете.

Горе профессорши было так велико, что она не кричала, не плакала и вообще совершала мало движений, у нее, как говорят иногда люди, не понимающие физиологических процессов, окаменело сердце.

Если телесная боль не чрезмерна либо вовсе отсутствует, а душевная велика, то это ведет к унынию. В ожидании страдания человек испытывает тревогу. Если же нет надежды, то тревога эта переходит в отчаяние. И действительно, кровообращение профессорши замедлилось, лицо побледнело, мышцы стали

вялыми, веки опустились, голова свесилась на сваленную грудь, губы, щеки и нижняя челюсть провисли от собственной тяжести, глаза стали тусклыми и часто увлажнялись слезами, брови приняли наклонное положение, углы рта оттянулись книзу.

Профессорша сидела на стуле у головы Павла Даниловича, а Люсик сидел у ног покойного, и лицо у него сейчас было такое же, как и у нелюбящей его профессорши. Правда, поскольку организм Люсика был более молодым и менее опытным, он время от времени стремился к активному самовыражению, проявлялось это в таких глубоких вздохах, что вызывали они спазмы дыхательных мышц и жесткий клубок ворочался в горле, глаза его и крылья носа судорожно дергались, и складки на лбу ползли вверх, и это изламывало брови, как всегда бывает при глубоком правдивом страдании. Недаром анатомы иногда называют комплекс этих мышц «мышцами горя».

Так просидели Люсик и профессорша при свете свечи всю ночь, завесив зеркало простыней и погасив электричество, неожиданно вспыхнувшее, даже испугавшее их первоначально. Так же вдвоем они скупой, лишь по необходимости общаясь между собой, проводили Павла Даниловича на тряской горкомхозовской телеге в последний путь. При этом случилось некоторое замешательство, профессорша настояла, чтоб, перед тем как положить мужа в гроб, с его больной ноги сняли гипс. Но это уже происходило к вечеру следующего дня. А пока продолжалась ночь редкой красоты, она волновала тех, кто был свободен сердцем, полнолунная, звездная, безветренная, сладкая для ласк, пригодная для зачатия крупных тяжелых младенцев.

Сашенька впервые за многие месяцы спокойно заснула в эту ночь рядом со спящей, розовой от купанья Оксанкой, и ей впервые спокойно и ясно снился любимый. У них все было хорошо и все было, как тогда: сладкие мучения, блаженное истязание, от которого приятно таяли силы, из груди исторгались радостные стоны, и, наконец, пришло исчезновение, слияние, хмельной вызов судьбе, разделившей их на две разные жизни. А потом пришли покой, усталость и глубокий крепкий сон. Наступила вторая половина ночи, и все живое вокруг также начало погружаться в безудержный сон, а те, кто был угнетен душой, спали сидя, с открытыми глазами, потеряв себя до первых утренних звуков. Ночь же все хорошела, и настал момент, когда красота ее начала внушать ужас. Несметные рои звезд шевелились, самые яркие из них разгорались нестерпимо ярко, а те, что скрыты были в космической тьме, стали постепенно проступать, обозначаться, и не было им числа. Луна же обрела яростно слепящий вид, непохожий на еженощный.

Ужас отличается от страха тем, что в нем особенно большую роль играет поэтическое воображение. Поэтому ужас и родствен красоте. Именно такая красавица ночь описана библейским Иовом в своей Книге Четвертой: «Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, обьял меня ужас и трепет и потряс кости мои и дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он стоял, но я не распознал вида его — только облик был перед моими глазами, тихое веяние, и я слышу голос: Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли творца своего?»

Но все живое спало в ту ночь, и видение это, лишенное человеческих глаз, бесполезно и бесследно растаяло к рассвету. Лишь несчастный Иов, самый зоркий среди людей, бодрствовал в такую же ночь две тысячи лет назад. Впрочем, крупный специалист в области геотектоники, немецкий ученый Штилле утверждал, что период длительного тектонического покоя нашей планеты подходит к концу, и не отрицал опасность раздробления земной коры, которая случи-

лась и в конце геологического периода докембрия. В связи с этим появились попытки, правда, робкие и ныне забытые, объяснять этой геотектонической гипотезой до смешного нелепую и кровавую историю человечества. Известна, например, попытка, причем не философа, не геофизика, а писателя-неудачника, еврея, принявшего лютеранство и умершего двадцати пяти лет от роду. Метания, мучения, войны, неустойчивость, торжество невежества, кровь невинных жертв, стоны слабых, вызывающие в ответ лишь сладострастный смех палачей, — все это он пытается объяснить неясным и непрым, правда, отражением, которое ощущает живое, не отдавая себе отчета, отражением тех гибельных тектонических процессов, которые, по Штилле, грозят взломать земную кору. Подобные крайние формы, разумеется, учитывать не следует либо, при чрезвычайном стремлении быть объективным и всеобъемлющим, к ним следует подходить с большой осторожностью. Вместе с тем надо принять во внимание, что многие авторитеты-материалисты с уважением относятся к работам Штилле и считают: если освободить их от катастрофической шелухи, то в идеях, там заложенных, много справедливого. Действительно, конец докембрия, в котором происходили массовые катастрофы, извержения, горообразования, создания новых материков, испарения океанов, горячие дожди лавы и магмы, губящие все живое, и неогеновое четвертичное время, в которое живет современный человек, представляют собой важнейшие революционные эпохи в развитии нашей планеты.

Комару, родившемуся в июле, не опасны снежные выюги и морозы декабря этого же года, также не опасны и человеку катастрофы геотектоника Штилле, хоть они, возможно, произойдут в наш четвертичный период. На основании математического закона подобия систем, в котором закономерное объемлет случайное, жизнь естественным путем угаснет задолго до того, как окружающие условия перестанут быть пригодными для нее. Тем не менее, в отличие от комара, человек разумом и воображением своим подспудно ощущает дыхание этих катастроф, волнуется, суетится, пугается несуществующей для него опасности. Может, для того, чтобы убить сидящий в крови апокалиптический страх перед неопасной для человека гибелью планеты, человек нелепо стремится к смерти искусственной. Психологами установлено, что многие из самоубийц панически боялись будущей неотвратимой смерти и потому убивали себя, чтобы убить страх.

— Ой-лю-лю-лю-лю-лю,— тихо шептала Сашенька, потому что Оксанка, отвалившись от материнского бока, тревожно заворковала.— Ой-лю-лю-лю-лю-лю, чужим людям дули, а Оксаночке калачи, чтоб она спала у ночи...

Начинался наивный, простенький человеческий расцвет, кончалась мучительно мудрая, распинающая душу Божья ночь.

Поэзия



Константин
ВАНШЕНКИН

Поэт

В этом мальчике седом
Слиты прочно, как в опоке,
Весь немислимый содом,
Ложь и кровь большой эпохи.

Смелость поздняя видна,
Рядом страх бывлых посадок
И неясная вина,
Чей осадок нынче сладок.

Бормочи свои слова!
Не ловлю тебя на слове.
Выдуманная судьба
На действительной основе.

Французская картина

Женская грудь из расстегнутой блузки.
Это, пожалуй, не слишком по-русски.
Это скорее Париж, Монпарнас.
Кто эта женщина — право, неясно,
Что, поднимая глаза от пасьянса,
С легкой смущенностью смотрит на нас.

В группе со мной молодой академик,
И, разумеется, тоже без денег.
Мы на прогулки расходуем пыл.
Снится Изварино, крыша из drankи.
Я говорю: если были бы франки,
Только бы эту картину купил.

☆☆☆

Словно кому обещаны,
Сильные, как женшень,
О молодые женщины —
Взглядов мужских мишень.

Я иногда замедленно
Взор на них наведу.
Очень они заметные,
Больно уж на виду.

Смелые и смущенные —
Тожe ты их пойми,—
Несколько защищенные
Маленькими детьми.

Подлецы

Вот говорят: подлец. Легко ли быть им!
Но мы поражены в конце концов
Той странной откровенностью, что видим
У профессиональных подлецов.

Помрут — кто от инфаркта, кто от рака,
Отвалятся — кто позже, кто скорей.
Но как они заботятся, однако,
О скверной репутации своей!

☆☆☆

Как у станции узловой,
В равномерных вечерних бликах,
Плавно ход замедляя свой,
Жизнь постукивает на стыках.

Пресловутое время «пик»
Управляется с этой зоной,
Не решив еще: нас — в тупик
Или все-таки на зеленый?

Солнечная активность

Над нашим Солнцем выброс
В сто тысяч километров высотой,
Как будто кто-то выпрыс
Там половик, весь темно-золотой.

Простой протуберанец,
Сводящий лишь доверчивых с ума,
Но, об него поранясь,
Поморщилась Вселенная сама.

Явившийся спонтанно,
Он, затихая, медленно померк.
От этого фонтана
По всей системе множество помех.

Разумному противясь,
Сложившиеся правила круша,
Внезапная активность
Не всякий раз бывает хороша.

Порог

Милый, здравствуй! Минул срок.
Пережили мы разлуку.
Только вот через порог
Не протягивай мне руку.

Здесь уместен долгий взгляд,
Полный радости и муки.
Отступи сперва назад,
Чтоб сомкнулись наши руки.

Ты прошел сквозь те места,
Где халатов белых стайки.
И остались неспроста
Шрамы страшные да спайки.

Видно, Бог тебе помог
Не сойти во тьму сырую.
Ты теперь через порог
Бойся даже поцелуя.

Короткая память

Грядущего залог —
На память узелок
Средь луга или зала
Опять не завязала.

Пусть это далеко,
Но, право, как легко
Недавние обиды
С готовностью забыты.

Ах, память коротка,
Стремится без платка —

Как женщина по лужам
За уходящим мужем.

☆☆☆

Туман истока.
Росистый луг.
Судьба жестока
И может вдруг

Кого попало
Взять в оборот.
Хрущев. Опала.
И — огород.

По паутинкам
Ступает он.
А ведь ботинком
Стучал в ООН.

Подумай, млея,
Да ты, милоч,
Из мавзолея
Кого волок?

Какие грузы!
Но тверд — хоть режь.
От кукурузы
Спешил в Манеж.

Схватить воочью
И враз, и врозь.
Искусства клочья
Летели вкось.

Тех лет окрошка.
Хлебни разок.
Рубил окошко?
Смотрел в глазок?

Царевой службой
Охвачен всей.
И был послушный
Свой Алексей.

А нынче осень.
Магнитофон.
Неужто восемь?
Выходит он.

Все тихо, гладко
Дождливым днем.
И плащ-палатка
С утра на нем.

Некрасов — Фету

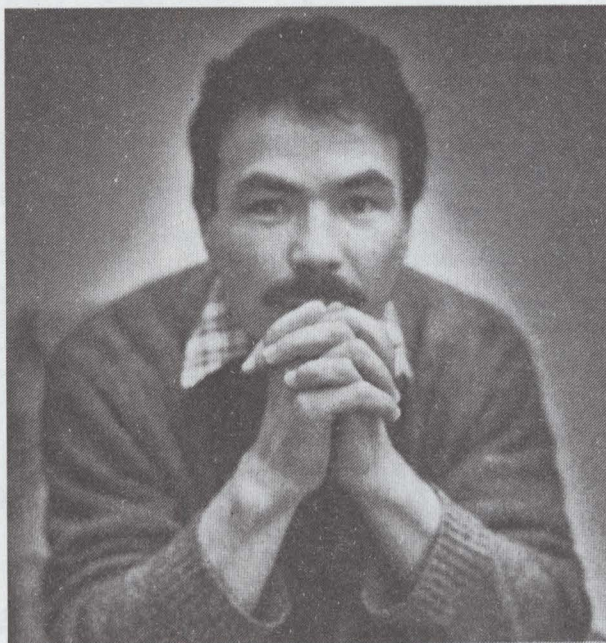
Качается веточка.
Некрасов до свету:
«Милейший мой Фетушка», —
Так пишет он Фету.

О чем? О Тургеневе,
Окончившем повесть, —
Почти как о гении,
Но это не новость.

О горничных встреченных,
Что свойственно барам.
А сверху помечено:
Ораниенбаум.

И упоминаемы
Различные страны,
Авдотья Панаева
И личные планы.

Нет лишнего следышка
В посланье... И все же
«Милейший мой Фетушка»
Иного дороже.



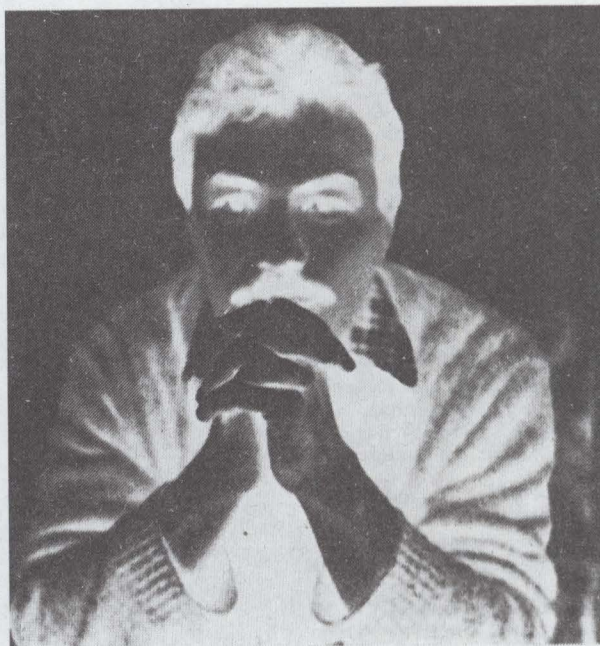
ДО РЕСТОРАНОВ ПАРИЖА — ЛЯГУШКИ ПОЮТ О ЛЮБВИ НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ

Рискованный русский текст

У человечества в крови зуд — давать названия предметам и явлениям. Так и хочется разложить все по полочкам, навечно утвердить место для каждой вещи. Это относится и к литературе, где всяк жанр знает свой шесток. Басня есть басня, твердят нам с незапамятных времен, а роман есть роман, и посему их «в одну телегу впрячь не можно». Но литература — это живое дерево, и невозможно предсказать, куда в следующий момент потянутся его ветви, — конечно, в направлении к небу, но всякий раз по-иному, не повторяя движения соседних ветвей. Новая рубрика «Вне жанра» представляет те «ветви» новой литературы, которым не дано (да и не хочется давать) твердого определения. Одно можно сказать об этих произведениях — они заряжены энергией поиска, энергией преодоления стереотипов. Открывает новую рубрику молодой писатель из Ташкента Рифат Гумеров. Ему 32 года, он автор (точнее, соавтор) двух детей и отец двух поэтических сборников. Нелепо было бы скрывать, что дебют Гумерова-поэта состоялся в «Юности», — мы этого и не скрываем.

Александр ЛАВРИН

ОМАР РИФАТ БЕК МАНСУР
АЛЬ ФАРГОНИ
и
РАМО ТАРИФ
БАСУРМАН АЛЬ ИНОГРАФ



Раскованный русский текст повествует о чудных злоключениях человека по кличке R, познавшего муку рождения, радость становления, 12 умножить на 13 женщин и девушек, драку за жизнь, химеру художественного творчества, кейф нифига неделания, изнуряющий труд на грешной земле, божественную издевку от уха до уха, размышление ума... и прочие интригующие вещи, заканчивающиеся (к всеобщей радости) бурным катарсисом!

Любимая литера

...Увы, твой вид невыносим!
Гёте «Фауст». Ч. I, сц. I

У R любимая буква — Я.
Отсюда — самый любимый слог — РЯ.
Любимейшее слово с этим слогом — РЯХА.
А маленький шедевр с этим словом звучит так...
вот как он звучит:
(не размахивая руками,

Иду, горяч и молод,
И РЯХА кирпичом.
И нипочем мне холод,
И все мне нипочем!

Сноска: РЯХА 1. харя, морда, мордочка, лик, личность, физиомордия, рожица, лицо... 2. своеобразие... Напр. С лица воды не пить. Свообразие его лица — своеобразно. Сноска кончилась.

Журнальный вариант.

Рисунок Георгия Мuryшкина

Да, таков наш герой в своих собственных глазах. Ничего не поделаешь. Потому что — что же ты поделаешь? Субъект не свободен от субъективизма: у него не три головы, с которыми можно было бы организовать маленькую ООН — и прийти к компромиссному решению.

Компромисс по-английски

А плодов не хвалят сразу,
Не отдавши сперва.

Гёте «Фауст». Ч. II, акт I

На столешнице круглого стола как бы стоит, как бы лежит яблоко. Американское. Как игрушка. Видно по нему: наливной макинтош. Белый свет падает из окна. Маленькая прозрачная тень. На столе. От макинтоша. R откусывает от яблока. Изголодался. На работе. Ему кажется, что он откусывает зад богини Изиды, красующейся в музее «Метрополитен». Богиня без макинтоша. (Презирает макинтош.) Ему так кажется, потому что яблоко макинтош и зад Изиды без макинтоша — одинаково секс эпильны...

Сноска: «Компромисс по-английски» составлен с помощью компьютера «Макинтош». Как видим, у машины совершенно нечеловеческое понятие о литературе. Сноска кончилась.

Человечность

Смотреть ни в даль, ни в прошлое
не надо,
Лишь в настоящем счастье и отрада.

Гёте «Фауст». Ч. II, акт 4

R лежит во ржи, шелестящей, русоволосой, с золотым — старого золота — отливом. Пронзительно летают стрижи и ласточки: фьють! фьють! Цыкает неизвестный кузнец. Льяной ветер льнет. Перистые растекаются по высокому небу облака.

R лежит во ржи. Справа и слева Валечка Зябликова и Шурочка Горобец, стоя на коленках, вплетают в черные усы R синие синие синие васильки. Васильки — зубчатые. Валечка и Шурочка — нежные.

R лежит во ржи, щурится, в голове — пишущая машинка. R пишет в голове на пишущей машинке то, что есть, без лжи и лицемерия, в четырех экземплярах:

Во ржи мы с Шурочкой лежали,
Во ржи мы с Валечкой лежали
И разводили шуры-муры,
И разводили трали-вали...

И далеко окрест, в деревушках и редакциях, слышится из русоволосой ржи загадочный треск.

Клептомания

Богатства сколько! Как во сне!
С чего начать? Что стибрить мне?

Гёте «Фауст». Ч. II, акт 4

И сюда R внес клепту.

Ведь R — вор, ворюга, уголовный рецидивист.

Нет, он не крадет алюминиевые вилки зубами врозь, не является, крутя пистолетом, в BANK, нихть! Он ворует свою виту (жизнь)!

— Украду-ка я у себя десять минут! — воровато щурится R.

— Съем десять штук самсы! — И ест, ворует.

— А что если уворовать два часа: почитать про язык лягушек? — И читает, уголовник!

— А теперь ограблю-ка я себя на вечер! — Бесстрашно надевает пальто R и, подняв воротник, уходит бродить в вечер...

— Я воровал дни, — сознается R на суде, — рассказывая по телефонам и тет-на-тет мысли; воровал недели, едя еду, пия питье и спя сновидениями; воровал месяцы, злясь зубом, смеясь ртом и работая мускулатурой; воровал годы — миг за мгновением проживая единственную жизнь... Мне тридцать лет, господа заседатели, а наворовал я на три тысячи! — скажет R на суде.

Зазеркалье

Здесь сразу видят каждого насквозь.

Гёте «Фауст». Ч. I, сц. 21

У R — ритуал: R не может равнодушно пройти мимо парикмахерской — это с детства, — слово «парикмахерская» всегда поражает своей жуликоватой загадочностью... А внутри парикмахерской сногшибательно пахнет гостиницей-притоном из голливудского фильма с Мэрилин Монро в главной роли...

R — не может пройти. R — входит. R бросает на вешалку пальто. Садится в кресло. Перед креслом — зеркало. R смотрит в зеркало масляными глазами Зигмунда Фрейда...

Через три секунды в зеркале появляется в ковбойских штанах блондинка Мэрилин, несет девственную простыню.

— Что прикажете?

— Как всегда! — скалитесь R.

— Сначала помоемся, — резонно улыбается блондинка Мэрилин, откручивает белую и черную фишки и сует голову R в головомойник.

Мэрилин гладит голову R гладким светящимся мылом, как утюгом. Мэрилин завертывает мытую голову R в вафельное полотенце, как завертывают головы для свадьбы со Смертью-Через-Повешение. Мэрилин сдергивает полотенце, как сдергивают саван с ново-явленных статуй. R крутит ушами, откидывается на кожаный подлопатник. Мэрилин чешет мокрые кудри R глубоким гребешком. Мэрилин раскладывает туда-сюда пряди. Мэрилин стрижет воздух...

R в белой простыне сидит перед зеркалом, как квазимышкетер, как лжепатриций, как фокус-привидение.

— Достаточно, — говорит блондинка Мэрилин, пуская в лицо лицедея струю из мельчайших брызг, похожую на кинофильмный луч.

R послушно встает, отряхивается, роется в узком кармане и протягивает диве 3 рубля. R направляется к двери, над которой горит зеленым огнем волнующее слово «ВЫХОД». R выходит. На чистое пространство. И уменьшается в удаляющейся перспективе

На том конце перспективы ему попадает на глаза витрина: «Мужской зал». R не может пройти мимо. Это с детства. «Мужской зал» всегда поражает своей жуликоватой загадочностью. R с ходу высаживает стриженной головой витрину. На зазвеневшем асфальте появляется головоломка: жук, лаз, смой. R садится перед зеркалом в кресло. Из верхнего угла зеркала, потирая ручки, глядит в замасленном скюртуке Фрейд... Появляется шатенка Мэрилин на высоких тоненьких шпильках, очень похожих на ножки чертиков Босха.

— Как всегда?

— Я очень спешу, — говорит R, озабоченно глядя на часы. — Сделай мне полубокс с челочкой!

..... Р уходит Р несется в такси
..... мелькают деревья агитация
«питки» «хлеб» «рожденного нет»
«кмахерская» визг тормозов!

— Видишь челочку? — говорит взвинченный Р пиковой брнетке Мэрилин на платформах из Кирико.

Из нижнего угла зеркала высовывается лоснящаяся физиономия Зигмунда с бутербродом (булка с маслом) в руке

Вечер, переходящий в ночь. В рыжем включенном парике, с елочной дождинкой в букле, Р входит в пальто нараспашку в привокзальную парикмахерскую.

— Видите этот парик? — надсадно спрашивает Р сквозь зубы.

Из зеркала в ночном колпаке а-ля Вольтер и ночной рубашке высовывается сонный психоаналитик Фрейд. На продолговатом лице его написано зубной пастой нескрываемое удивление...

Взвыв

Вместить старайтесь то, что отродясь
В мозг человеческий не входит...

Там же

Р — кошмарно деловой человек. До всего ему есть дело.

И до Фрейда, поселившегося в парикмахерских, и до Шуручки, навеки оставшейся во ржи, и до Велимира Хлебникова с корзинкой на голове, полной творений, и до Наполеона, с деревянным ружьем завоевывающего мир, и до Натали Саррот, говорящей, что есть в этом мире Натали Саррот из-под Иванова;

и даже до Беккета, который 20 лет служил секретарем у Джойса и так ловко спародировал его, что стал вторым Шекспиром, а Джойс так и остался Джойсом, а не Гомером;

а также до болезненного индивидуализма Пруста, воинственного снобизма Жида и до вычурного эстетства Валери, который темен, как Вергилий;

и до «Смерти героя» изд-ва «Детская литература», где, оказывается, один из эпизодических героев — до неузнаваемости окарикатуренный Паунд, а другой — пасквилеобразный Элиот;

и до Дюрренматта, воровавшего ходы у Набокова; и до Набокова, воровавшего школьником язык у Бунина и сказавшего фразу про случайную обезьянку истины, затерянную в мире;

и до Бунина;

и до Фета, сказавшего: «Какая грусть!»;

...и до майонеза, который лежит по магазинам за 51 копейку, потому что одной копейки никогда ни у кого нет;

и до пуловеров в заграничной упаковке, крепко схваченной золотой печатью, потому что в упаковке не заграничный пуловер, а моток рыболовной лески;

и до ресторанов Парижа, где пробуют лягушек на язык, которые отпели свои песни;

и до маленьких людей, которых можно делать от нечего делать или, наоборот, когда уже ничего не поделаешь;

и до людей нормального роста, которые давно прошли этап людей и искусства;

и до газет и журналов, где исповедываются пойманные бюрократы и делятся впечатлениями бывшие заключенные;

и до телевизора, в котором пляшут секс-звезды и мудрствуют яйцеголовые ученые, смакуя свободу говорить о том, чего они не знают по вине Леонида Ильича Брежнева;

и до аятоллы Хомейни, который пообещал персам 5 миллионов, а инородцам всего 1 миллион (несправед-

ливость!) за умерщвление поэта Рушди, написавшего на свою голову бестселлер;

и до бестселлеров других незадачливых беллетристов;

и до понюшки табаку...

И вот, когда у Р все эти дела начали расти, разветвляться, прорасти почками и перепутываться между собой, — он начал разрываться на маленькие кусочки!

Куски

...И, видишь, я рога и хвост, и ногти
скинул.

Там же

— Ухо, — говорит Р. — Ухо! Беги в Союз писателей, свернись кульком, там в тебя насыплют железные опилки. А ты, нога, марш в Госкомиздат, постучи там о стол, скоро ли выйдет писанина, и покажи гвоздики-зубы. А другая — пусть сверкнет пяткой в аспирантуре, получит аспирантское удостоверение, что ученье — свет; купит изюмный пирожок, хлорку, утку и презервативов на неделю. А ты, рука, иди, как человек, домой: вскопай грядку под морковь, погладь жену по волосам, погрози каучуковым омарчикам, нажми кнопку на телевизоре, подстриги ногти, сделай уют — пока другая рука, переминаясь (тоже как человек), стоит в очереди за коньячным портвейном, тормозит такси, мчится на край света к чудной прелестнице, чтобы выпить с ней стоя за вечную любовь. А ты, язык, набирай ловко номера служебных телефонов и неси околесицу. А один глаз — пусть видит, но как будто ничего не видит, а другой — пусть не видит, но на самом деле видит все!

Конфуз

Эге! Ты — человека подражатель?

Там же

А в это время — пошел нос за табаком; отпустил его Р: послать было некого. Нос, само собой, возгордился от такой милости: ответственное поручение, облечен властью от значительного лица!

Входит он в магазин, стучит по прилавку монетой.

— «Стюардессу», — говорит, — дайте, — говорит, — мне «Стюардессу»! — А сам говорит в нос, как француз, и откидывает корпус.

— Эй, — говорит продавщица в кружевном переднике, — кто ты такой? Тебе есть шестнадцать лет?

Нос смутился: что такое шестнадцать лет? есть ли ему шестнадцать лет? как отвечать, чтобы дали «Стюардессу»?

— А вы что, мадемуазель, — спросил он наугад, — имеете на этот счет сомнения?

— Да что-то по морде твоей не видно, с какого ты года.

Нос еще больше смутился: неужели у меня есть морда? а если есть, то почему не видно, с какого года?

— Разве я не на свои года выгляжу? — спросил он.

Продавщица пригляделась... На той стороне барьера стоял, выгнувшись, совершенно голый и бесполой нос! «Инопланетянин!» — озарило ее.

— А вот, знаете, — обрадовалась она инопланетянину, — я всегда в вас верила, что есть такие люди, которые такие, понимаете, такие вот, как вы...

— Ну-у уж... — застеснялся нос.

— Да-да! Они такие самые человечные, как божества, как уменьшие дети, — такая прелесть!



— Да полно вам...
 — И они все знают, как что сказать, и как по-русски, и такие простые...
 — Спасибо...
 — А вы неужто курите? — спохватилась она.
 — Ну-у... Переволнуешься если или стресс — захочется покурить.
 — А что, много опасностей?
 — Всего много, живем на нервах.
 — Марс остывает?
 — И с холодом боремся, и с голодом, и за бессмертие.
 — За бессмертие?! — закрыла она ладонью рот. — Неужто ты бессмертен?!
 — Как бы это сказать... — сморщился сапогом нос. — Бессмертен, но не до конца.
 — Не до конца?! — словно от боли, сморщилась продавщица.
 — Чего-то такого не хватает, понимаете... какой-то такой веры...
 — Веры?!
 — Вот мне сказали, что я бессмертен, а я — не совсем в это верю.
 — Почему же? — спросила шепотом продавщица «Стюардессы».
 — Я атеист... — ответил шепотом нос.
 — Господи Боже мой... — пошевелила губами продавщица и замолчала.

Говорить было не о чем. Воцарилась жутковатая пустота. Магазин, мерцающий консервными банками, стал похож на космос, несущийся с дикой скоростью неиз-

вестно куда. Кто-то пошевелил усиками из-под блюдечка для мелочи.

— Ради Христа, — сказал чужим голосом нос, — дайте «Стюардессу»...

...— Принес? — спросил R, нервничая. — Что такой невеселый?

— R, — сказал, хлюпая соплей, нос. — Мы с тобой антихристы?

— При чем здесь антихристы? — сказал R сурово, — когда мы с тобой магометане?

И они закурили по «стюардессинке».

Пастораль

И где же вы, сосцы природы, — вы,
 Дарующие жизнь струею благодатной?..

Там же

Ухо отпросилось у R в отпуск. На два дня. Порыбачить рыбу.

— Езжай, — сказал R. — Проветрись.

А ухо с детства было страшным рыболовом — дока на рыбу: в крючочках и червячках разбиралось, как Лютер в Библии. И в ночь с пятницы на субботу предстало оно, вооруженное до зубов, перед лицом озера.

Рыжая вечерняя зорька уж купала в нем свои загорелые груди. Целовались с комарами толстогубые карасики. Тихим ужасом циркулировала щука. Начинали тосковать без «Спокойной ночи, малыши»

беспризорные малявки. Ухо бросило им по прянику, разбило палатку, раскурило костерок, подвесило над ним закопченную кастрюльку с озерной водой, в которую проник овальный листик ряски, — и забросило уду с наживкой в образе извивающегося, как чертенок, червяка.

Пошло клевать. Кто понаглей стал проситься в ухо без очереди, а, напросившись, — мгновенно засопровтивлялся. Ухо наловило на ухо, извлекло из рюкзака бутылку российской водки и отпраздновало рождение ночи... Вся она — с лягушками и комарами, с луной и метеорами — в твоём распоряжении!.. Основные события — начнутся с утра...

Утро пришло теплое и туманное. Это белая корова озера поила парным молоком луга... Ухо, с похмелья и очарованное бессонницей ночного костра, готовилось задумчиво к поимке большой рыбы. Блестящий спиннинг, выгнутая блесна с острым якорьком рыбьей смерти под куриными перьями, быстрая катушка с километровым запасом лесы — готовы к бою. Ухо раскрутило спиннинг над головой и забросило плеснувшую блесну далеко в туман.

Кто-то тотчас схватил блесну и мощно потащил на другой край озера. Ухо ахнуло — и стало выматывать добычу хитрыми рыбацкими приемами. А добыча тоже — опытное существо: то даст леске слабинку, то — потянет и потянет! «Видно, большая села тварь!» — здравомысленно решило ухо и поклялось Нобелевской премией по литературе бороться до конца.

Но чудовищная рыбина тоже, видимо, поклялась этой же самой премией — и не исключено, что совпал к тому же и год!

Долго боролись противники: вся остальная озерная мелочь давно уже наигралась и наелась, и пошла рыть норы на дно и плести гнезда из водорослей. Гладь поостыла, солнце, взгромоздясь на утес, выстрелило из оранжевой пушки, закуковала птица — и непроницаемый туман поднялся над озером, как занавес...

Ухо, три часа предчувствовавшее премию, задрожало от злобы и ненависти... На том берегу, манипулируя блестящим спиннингом с ловкой катушкой, ходило туда-сюда другое (левое!) ухо R, возбужденное, как у волка.

— Эй! — крикнуло надсадно правобережное ухо. — Ты кого там ловишь, негодяй!

— Так вот это кто! — закричало, как зарезанное, левобережное ухо и забило спиннингом по земле.

Крючки расцепились. Ухи в ярости смотали удочки — и пошли бить в ухо друг друга. Набили до крови — и явились в обнимку в понедельник.

Други

Дрянная песня, тьфу, политикой звучит!

Там же

R придумал, как и ему внести свою лепту в кампанию под условным названием «Реабилитация личности». У него давно уже был припасен в чемодане цикл стихотворений про Колыму: 44 стихотворения с рисунками на полях: виселицы с веревочками (срисованные у Пушкина), небритые круглые морды в полосатых (позаимствованных в военных фильмах про немецкие лагеря) костюмчиках, решетчатое окно с чохоточной птичкой, финкорезы, аляповатые крысы с носами Микки Маусов... R сунул тишки в шляпу, купил билет и вылетел в исторические места.

«Из колымского белого ада...» — пело радио на

борту самолета. — «А я простой советский заключенный...» — И т. д.

И R, используя связи, добился свидания с этими простыми советскими заключенными: Юзом Алешковским, Юрием Домбровским, Львом Разгоном, Николаем Заболоцким.

— Самогон притырил? — спросил, как брянский волк, Алешковский.

R выставил на дощатый стол бутылку кровавого самогона — на свекле!

— Ха! — выматерился Заболоцкий. — Хотя раз наклюкаемся вволю! А «Тройку» с золотым на конце ободком притянул?

R высypал из рукава дюжину пачек «Тройки».

— Клевый ты мужик! — выматерился Разгон. — Шмонали?

— Меня бесполезно шмонать, — сказал R и, сняв шляпу, вытряхнул из нее свои 44 стихотворения.

— Что это такое? — выматерились все хором.

— Стихи про сталинские лагеря, — с достоинством сообщил R.

— На самокрутки? — выматерился хор.

— На чтение, — сказал R.

— Ты это брось в дольняк! — выматерился Разгон. — Мы не в салоне у Дягилева!

— Мы не у Дягилева! — подтвердил хор, мотая головами.

— Я сам почитаю, — сказал R.

— Не надо, простудишься, — выматерился Алешковский. — Вот разве что ты нам потихонечку споешь.

— Потихонечку! — выматерился хор.

Разлили поровну, по нитке.

— За песни! — сказал Заболоцкий.

— За песни!

Выпили хором, рука к руке, как в балете.

— Начинай!

R запел; Алешковский, Разгон, Домбровский и Заболоцкий аккуратно отбивали такт руками по коленкам:

Ах, девочка — осенний хрупкий лист!

Кто дрожь твою мне лучше передаст:

Угрюмый угреватый онанист?

Иль волосатый старый педераст???

Конечно, я — не тот и не другой...

.....
.....
.....

На миг прослезилась.

— Ты вот что, — мягко сказал Домбровский. — Не засоряй и не насилуй свое воображение. Все равно лучше того, что мы здесь видели, не придумаешь.

— Если ты даже что-нибудь придумаешь, — еще мягче сказал Заболоцкий, — то тема-то все равно вторичная: Данте Алигьери ее поднял и исчерпал, сукин сын!

— Ну, так уж и исчерпал! — надул губы Разгон. — Современность — она дает другую окраску!

— Окраска — что! — усмехнулся Заболоцкий. — Ты мне тему подай! А современность — это как свекольный самогон: выпил — и кончилось! — И он захрустел огурчиком.

Французская легкость

Ты судишь, как француз, слегка!

Там же

— Нет! Жить и писать надо легко! — говорит R. — По-французски!

Легко сказать. Но — ах! — как невыносимо трудно жить и писать легко! Ладно — писать (ведь рано или

поздно всякий писака станет виртуозом своего пера), но жить...

...R родился в судорогах и слезах.

R с первого класса дрался на жизнь, на смерть и на кошелек.

R 44 раза тонул грудью на дно в смутах и морях разного ранга.

R пропадал пропадом, не помня дней недели и чисел месяца.

R голодал, грызя смоченный в слезе сухарик хлеба.

R томился по долгу жизни в обществе дураков, кретинов, графоманов, шизофреников и гомосексуалистов.

R сжигал синим огнем свои внутренности, нарабатывая талант за письменным столом и мускулы в секции бокса.

R просыпался среди ночи, убегая от мертвецов.

R матерился среди бела дня, выбрасывая в окно пишущие машинки, стулья, графоманов и лесбийствующих девушек.

R обкуривался болгарскими сигаретами до посинения ног.

R пил после сухого вина сырую микробную воду.

R страдал от редакторского гнета и от свободы без публичных домов.

R болел ветрянкой, зубной болью, лягушкой и искривлением идеалов.

R бродил по темным страшным улицам с разбитой головой и пронзенным сердцем.

R никогда не был на индонезийских островах ни в каком качестве!

R чуть не загрыз рыжий камышовый кот, выпрыгнувший как-то из камышей.

R 30 лет читал русско-советскую литературу, которой, как оказалось, грош цена.

R читал зарубежную литературу, которой цена два цента.

R читал древнюю литературу, после которой, оказывается, невозможно не только жить и писать легко, а вообще — жить и писать.

R говорит: «Надо легко...» Он сегодня начитался комиксов по-французски, вот и говорит... А сам-то чувствует, что жжет свечку с двух концов, что пишет на честном слове, что болел ветрянкой, поросенком, жабой, лягушкой, искривлением линии жизни и что его чуть было не загрыз рыжий камышовый кот, выпрыгнувший из камышей!

Ax!

На этот раз, насколько разумею,
Тебе могилу роют — не траншею.

Там же

Ах, пишущая машинка! Ах, жизнь! Ах, художники вечера Века, балансирующие по веревочкам тысячи — измов! Ах, несносные эклектики, исчадия антилитературы! Увы вам, универсалы и сверхчеловеки, супермены и монотропы пестрых, как лоскутное одеяло, кровей! Увы, увы... Лысый и близорукий бог Случай свирепствует в ваших вскруженных головах!

Так сегодня, в конце лютой зимы змеиноного года, в 12 часов пополудни, в кожаном плаще с ремешком, подернутый свежей сединой, с руками, купанными в парной мякоти женского зверя, классик душистого реализма Ленья Шорохов — вошел, крадчивый, как переднеазиатский тигр, в кабинет к R.

— Бросай все это! — сказал он задушевно. — По-едем издавать городскую газету в городе Гангрене. Если возьмешь ответственного секретаря, будет тебе 180 рэ и квартира. Понимаешь?

— Квартира? — загорелся R. — 180 рэ.

— Плюс свободное время. Служба — два раза в неделю! Понимаешь?

— Понимаю ли я? — сказал R. — Надо подумать.

— Подумай, старина, конечно, подумай! — сказал многоопытный Ленья и отошел в угол, скрестил на груди руки.

R задумался.

R был похож слегка на начинающего Фауста.

Ленья, прости Господи наших «Лягушек», был — бесом.

...R думал, что хорошо в расцвете лет было бы иметь свою квартиру и 180 рэ: в своей квартире и с таким богатством можно было бы устроить такой жизнь-изм!

красотки с ногами, как сугробы;
броуновское движение алкоголиков и любителей откровенной словесности гангреной газет;
пиво — шумной рекой из ресторана, который под ногтем;

настольная лампа с нескончаемым вдохновением;
немытая холостяцкая кастрюля, возбуждающая злой аппетит;

небритое одиночество воскресенья, открывающее заоконную сферу буддизма с лотосом облака на небесах;

наркотики толстых романов с золотыми именами Вальтера Скотта, Достоевского, Рифата Гумерова, Пруста, Селина, Сережи Спирихина, после которых всю ночь показывают носы действительности вертлявые кошмары;

сигареты бессонных дум и взъерошенные волосы об оставленном королевстве большой серьезной литературы;

захлебывающиеся письма детям и жене;
считание минут до отхода автобуса в тот мир, где нас нет;

постмодернистская тоска возвращения на круги, напоминающая иронию Элиота, созерцающего Экклезиаста;

смех сквозь зубы при встречах с бывшими любовницами и сослуживцами;

ветер и запустение в подрастающих садах восточного сюрреализма...

и т. д.

и т. д.

и т. д.

и т. д.

— Я подумаю... — сказал R.

— Три дня! — сказал бес. — Жизнь-изм — это тебе не хухры-мухры: во ржи мы с Шурочкой лежали, во ржи мы с Валечкой лежали... Это тебе — с Валечкой мы лежали на кухне, с Шурочкой — в большой комнате, с Верочкой — в маленькой, а с Гюльсары — на балконе и в кладовке! Так-то, бродяга-бодяга!

Гамлетизм

Научит кто? Куда идти?

Там же

— Гамлет, Гамлет, что мне делать? Как быть мне, Гамлет? Середина, совсем уже середина жизни, а у меня нет своего угла, нет свободы и нет одиночества, в которых я бы мог сосредоточиться и подумывать, помечтать и, может быть, написать книгу жизни... О, Гамлет, я давно уже забыл, что такое поток сознания, что такое внутренний монолог о самом главном, продолжающийся неделю, что такое безвременье лени, бесконечная магия сплетающихся в километры слов и разноликая очередь образов, рифм и ритмов, движущаяся по листам в гулкий музей

мировой славы; что такое непрерываемое безумие свободной воли, уводящее разум в джунгли неведомого, к обнаженным дикарям новой красоты и сокровенного смысла... я забыл, как пахнут деревья и какого цвета василек; я не помню, в какой именно день — в солнечный или в свинцовый — родила меня мама, в каком платье ловила головастика моя первая любовь, и я даже не знаю, о Гамлет, в какой стороне неба искать свое созвездие...

Ничего на это не отвечает Гамлет: ни в переводе Лозинского, ни в — Щепкиной-Куперник, ни в оригинале... Он стоит, покачиваясь, на карнизе полунебоскреба, как призрак-отец, — и грозно «зырит своими мраморными очами», как Возрождение.

Один против всех

И вот стоишь один, страшаешься всего.

Там же

— Ты одинок и одиноким будешь в жизни: и против всех и против самого себя! — сказал R себе в самый мозг.

О да!

Он был один против беса и против акульей пасти пишущей машинки, один против стакана коньяка и против ливня из космоса, один — перед Мамоном, Аполлоном, Аллахом и христианским Богом, который еще и трехлиц; один — перед железными танками основных Законов и преходящих Закончиков; один — перед картинами мрачноватого Кокошки и бесноватого Дали; один — перед идеалом и перед смертью от курения, перед маяющим туннелем метро с бесонным червячком поезда, перед пятью демонической наружности злодеями, уводящими в неизвестность с трудом заработанную девушку, и перед девушкой, разметающейся, как авангардистка, на шерстяном полу; перед вороной черной оперенья, которой глубоко наплевать на самые лучшие стихотворения R; перед слепой красотой природы и перед мафией писательской Сети и Союза торговцев; перед разрушенной розеткой, полной молниеносного электричества, перед эпилепсией критика, перед эрудицией академика, перед публичным домом славы, в котором (в этом нет сомнений) притаился сифилис профанации; перед уличным клоуном, который волен смахнуть на черную голову R ведро с негашеной известью; перед широкой степью, полной революционных коней и свиста холодных сабель; перед Маяковским, который сам одинок, как патрон в пустоте барабана; перед высокосным летом, пропитанным странной тоской; перед осенью, полной желтых листьев, и перед желтыми книгами, полными про желтые листья; и перед Казанским вокзалом, полным казанских людей; и перед витринами в неоне; перед форточкой; перед храмом зимнего леса и даже перед Аллой Пугачевой, с вжикающим звуком снимающей сафьяновые сапожки, и перед «Опусом магнусом» («Великим трудом») оборотня Бобрикова!

Один, один, черт возьми, перед жизнью, творчеством и чертовщиной!

Ужин при свечах

Что тут дают?

Там же

— Значит, ужин при свечах? — спросил повар Мяо. — Именины сердца? Задушевный возраст? Роко-

вой момент? Апофеоз поварского искусства? Сухарики с пивом?

— Свечей не надо, — сказал R. — Я не покойник.

— Ой-ля-ля! — сказал повар Мяо. — Хорошенькое начало! Тебе чего хочется? Запутался в жизни?

— Запутался.

— Ах, да! — сказал повар Мяо. — Ведь вы откуда, — он показал на дверь, — с улицы. Уличная личность. Понятно. Кстати, что там: зима? весна? людей все больше? животных меньше?

— Да... — махнул рукой R. — Ходят люди по асфальту, ногами, одетые в одежду, одежду шьют нитками, нитки прядут на фабриках, из хлопка, хлопок — побит, стихийное бедствие, всеобщий траур, Арал — вышит с похмелья, заводы — с кирпичными трубами, на трубах — лесенки, чтоб смотреть в трубу, оттуда — дым неопределенного цвета: серо-буро-малиновый. Небо то серое, то голубое до глупости. Трын-трава все время зеленая, растет на дворе, на дворе — дрова, на дровах — трава, лошади едят эту траву, едят сено, собака спит на сене, собака — умрет, ее зароят, из лошадей сделают мясо: буженину, конину; мясо сжуют мясоеды, макароны — макароноеды; макароноеды работают на фабриках, мыльных заводах, воруют мясо, мылятся мылом...

— Какой кошмар! — взялся за голову повар Мяо, изображая кошмар.

— И вот ходишь ногами в ботинках, в одежде пальто, с паспортом личности, по земляной земле и притворяешься, что земля — не земляная, трава — не травяная, а лошади не жуют овес и сено, как скоты.

— У тебя раздвоение личности! — ткнул толстым пальцем повар Мяо в грудь R. — Говори то, что видишь, — и нет проблем!

— Реализм стареет, — сказал R. — То, что лошади едят сено и солому, известно всем.

— А ты видишь то, что неизвестно.

— Легко сказать, да трудно увидеть.

— Как так? Да вон смотри, видишь, лошадь в телефонной будке, прикладывает трубку к сердцу, дышит... Видишь?

— Точно! Лошадь, к сердцу...

— Вот и говори.

— А если никто не поверит? Ведь — лошадь, в будке...

— Отчего же? Лошадь, в будке, обыкновенное дело: приспичило животному позвонить...

— Хорошо, поверят, но что это даст?

— Кому?

— Людям.

— В каком смысле?

— Ну, что они с этого будут иметь?

— Совершенно ничего!

— А тогда зачем это говорить?

— Мне кажется, — почему-то обиделся повар Мяо, — что литература не есть поваренная книга жизни. Если же она поваренная книга... то тогда я отказываюсь что-либо понимать!

— При чем здесь поваренная книга? — сказал R. — Литература — это книга лекарств: микстуры, рвотные, яды, наркотики, антигриппины, трихополы, оксолиновые мази...

— Ну уж, извините, — сказал повар Мяо. — Зачем мне оксолиновая мазь из слов? Я лучше пойду и куплю за 21 копейку настоящую.

— Я это к примеру говорю, — сказал R. — Оксолиновая литература уходит; сейчас происходит разделение на рвотную и наркотическую...

— В таком случае мне больше нравится ядовитая литература, — перебил повар Мяо. — Чтобы прочитывать — и умереть на месте!

— Ну, зачем же истреблять читателя... Где гума-

низм? Шокировать — нужно, но не до такой степени. Литература призвана деформировать человека, изменять его психику в более...

— ...лучшую сторону! — закатил повар Мяо глаза.

— Я бы сказал: в более интересную.

— Тогда я не понимаю, — сказал повар Мяо, подняв руки к небу, — чем не интересна моя лошадь в будке?

— Потому что она не лечит от всех болезней! — сказал R.

— Искусство совершенно бесполезно для тех, кто его не делает! — шмякнул кулаком о стол повар Мяо. — А ты не успел запутаться в жизни, как уже принялся запутываться в литературе!

— Для того и живу! — грохнул о стол кулаком R.

— Значит, сухарики с пивом? — сказал наконец повар Мяо, поправив колпак. — И без свечей?

— Почему же без свечей? — сказал R, поправляя манжету. — Когда ужин-то при свечах!

Коррекура

Мгновенье радости почую лишь душой —
Вмиг жизни критика его мне разрушает
И образы, лелеянные мной,
Гримасою ужасной искажает...

Там же

— Какую, однако, абракадабру пишет молодежь! — как-то сказали R в Отделе корректуры художественных произведений. — Рифм нет, строчки все разорванные, восклицательных знаков — не дожدهшься; и какая-то чепуха в словах: «Растворимая рыба!» Этак мы тут станем писать, правда, девочки? (Смех.) Вот недавно один грамотей такую галиматью придумал, про этих... про лягушей... (Заливистый смех.) Значит, одна лягушка родилась с усиками весом в 16 кгз, откусила завернутое в макинтош яблоко — и все ей нипочем. Врывается она на танке ТТ-34 в BANK: сопротивление бесполезно, я Ом... (Смех.) Своровала три тысячи не то бликов, не то бзиков... поехала в парикмахерскую... (Дружный смех.) Сделайте, говорит, мне завивку, чтоб я была как Елена Прекрасная... (Продолжительный смех.) А то меня Серый Волк не любит!.. (Кто-то прыснул.) Тут приходит психопат в ночной рубашке, увидел такое кощунство — разорвал зеленую на маленькие кусочки. Кусочки оказались живучими — бегают туда-сюда, как бобрики, рыбу на пряники удят, стихи пишут про эти, как их, девочки... про огурцы! (Страшный заливистый смех с топотом ног.) В общем, все заканчивается выходом в космос, в котором летает кирпич!.. (Пик хохота.) Вот скажи, R, что за такие литераторы пошли?

— Уверяю вас, — сказал тяжело R. — Это нормальные литераторы... А про лягушку — это я сам написал. (Визг!) Так что, здесь действительно нет ничего сложного: распиши ручку — и пиши. Кстати, могу научить писать заодно и драмы, это еще проще, чем все остальное: слева вы пишете, кто говорит, а справа — что говорит. Вот и все!

(Кто-то упал на пол и стал кататься, барабанив ладонями по паркету...)

Космос

Мой страшный поиск дивный плод мне дал:
Весь мир мне был ничтожен, непонятен...
О красоты роскошный идеал!

Там же

Кто хоть раз побывал в космосе, тот уже будет другим человеком на всю оставшуюся жизнь. R побывал там в расцвете сил знойным летом високосного

года. Стояли на Земле дубы в пыльных орденах листьев, проезжал под ними чокнутый трамвай, полный потных землян, одинокая дворничиха, опершись на метлу, кусала копейный пирожок.

R шел, смотря в землю, зачем-то, куда-то.

И вдруг он услышал легкие звуки. Это была мелодия. Мелодия по асфальту, из Вивальди! R оторвал взгляд от земли, округлил свои узкие глаза...

Перед ним стояло на черных каблучках видение.

R сразу понял, что оно мимолетное.

— Это ты? — сказал R.

— Это я!

— Вот мы и встретились, — сказал R. — Два гения.

— С каких это пор ты стал гением? — рассмеялась она прежезмучно. — Ведь ты всегда писал плохие стихи про морду кирпичом.

— Я до сих пор пишу про свою морду, — сказал R.

— И, поверь мне, что она теперь вовсе не кирпичом.

— Что-то незаметно, — прищурила она звезды.

— Это на первый взгляд — незаметно, но ты приглядишься ко мне подольше, и чтоб я умер, если обманываю!

— Хорошо, — сказала она. — У меня есть один день, чтобы на тебя посмотреть.

Они ходили по земле весь день, весь день стояло солнце, шумели дубы, полные людей трамваи чокались на перекрестках, милиционеры бегали, как спортсмены, вор выглядывал из-за угла, худой очкарик читал XXIV главу «Пантагрюэля», дворничиха, с пирожком в зубах, возила метлой по шее костюмированному бюсту, заслужившему бессмертие...

R рассказывал английские анекдоты про зеленую лошадь джентльмена, кормил гения красоты с серебряной посуды черными маслинами, лазил по пожарной лестнице на крышу доставать луну и — достал: среди бела дня, кривобокую и маленькую, как древняя монета...

Она не спускала с него глаз.

— Я хочу тебя, — сказал R, когда день ушел.

— Ты шутишь? — улыбнулась она.

— Я шутил, когда писал, что морда кирпичом, что голос мой скрипуч, как стул Ильфаметрова, что я на медном лбу несу свою звезду и что желудок мой — могила (для зверей). С тех пор, как я тебя захотел, я только тем и занимаюсь, что шучу все эти шуточки, потому что по сравнению с этим желанием не может быть ничего серьезного: все — смех, а буквы — смешнейшее из выдумок. Мне надоело быть клоуном пера, все эти катания в «пахнущих опилками» опилках и жонглирование «могучими» словами — ничто по сравнению с ночью с самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел.

— И ты никогда не будешь шутить свои шуточки, если перепишешь со мной?

— Никогда!

И наступила космическая ночь. Луна висела над головой со шнурком выключателя. Гений чистой красоты выводил человека в космос — прочь от Земли: от орденоносных дубов и чокнутых трамваев, от милицеских и воров, от мусора за воротником железных бессмертных, от серебряной посуды, от безнадежного юмора зеленых лошадей английских джентльменов...

Утро

Опять ты, жизнь, живой струей льешься.

Там же

Утро в окне — тихое и холодное. Лирики в нем нет; есть грустная сказка с реалистическим воробьем на ветке. Воробей пришел на ветку, чтобы напомнить

о жизни, думает R. Нет, твоя жизнь мне пока ни к чему! R берет рогатку и стреляет кусочком хлеба в воробья. Воробей, испугавшись, улетает: в суету, на воровские и бойцовские дела...

Теперь все чисто. Пусть это утро повисит в раме, думает R, а я на него полюбуюсь, грустя.

Чистый лист

Сейчас начнут
Последнее, седьмое, представление...

Там же

R вернулся из космоса другим человеком — человеком-космонавтом. Он очнулся перед пишущей машинкой с чистым листом на каретке (маленькой карете), которая возит слова туда и сюда.

Искушение было сильным — и R посадил на лист свое имя:

Омар Рифат Бек Мансур Аль Фаргони.
Что будет дальше — он не знал: ведь он покаялся больше — никогда! Никогда — по-старому... И он начал возить свое имя туда и сюда по-новому:

Ш шаг вперед —
А два шага назад...
Г шаг влево —
шаг вправо —
П считается побегом.
И стреляем без предупреждения!
К квадрат черн —
круг бел —
Ш шаг ал —
А считается шагалом...
Г кто делает второй шаг
П раньше первого
И (секретаря?)...
К — секрет...
ша!
Ш ми
А грень-набекрень
Г ша
о — ша — лев! —
П ша — стать!
И лев — прав
К всегда пока лев
всегда пока прав...
Ш шах-шах
И шаль жаль — ша — рада
К ша — лава! ай лав ю — ай гав-гав ю!
э — ю — я... я — ша как-кашка...
П кошка писущая, как писатель — собака лает: «кафт-гафт!»
И «сов.пис», йес-йес... ай сов ю! ай пис ю...
К «от вздоха печали разбились все ночи любви...»

Космос, подумал R, есть Гармония. Космонавт — это гармонизатор. Если по-русски — гармонист. Я — Гармонист! — понял R.

R выставил оконное стекло, принес пилу, перепилил раму, на которой, как оказалось, было выпарапано гвоздиком почерком R «мама мыла раму», вытащил из рамы картину «Утро в окне тихое и холодное», за картиной открылось Ничто: мрачная пустота с подвывающим ветром... И, пуская в эту ужасающую пустоту облака пара, R запел, растягивая широко Бог знает как очутившуюся в его руках гармонию:

Сиамские кошки поют о любви на своем языке...
И каракумский верблюд поет о любви на своем языке...
И бухарский ишак поет о любви на своем языке...
И летучие мыши поют о любви на своем языке,
Хоть для сереньких мышек — летучая мышь — тот же ангел, —
Но серые мышки поют о любви на своем языке...
До ресторанов Парижа — лягушки поют о любви на своем языке...

«До и после полуночи» — видеодивы и видеодевы — на видеоклипах в видеогипсовых видеоклипах (это одежда на них!) — в полуголеньком виде поют о любви на своем и чужом языке...

Я же люблю тебя на всех языках — которые были, которые есть и которые будут, — арабское имя РИФАТ дал мне отец мой — татарин — люблю тебя именем, что на арабском — скромное слово: ВЕЛИЧИЕ...

Фамилия мне — ГУМЕР — она же ОМАР и УМАР или УМР —

что по-арабски значит: ПАЛОМНИК и ЖИЗНЬ — люблю тебя ЖИЗНЬЮ своей, я — твой ПАЛОМНИК, а ты мне — МАДИНА и МЕККА (дед мой ходил туда трижды!)... Фамилия мне ГУМЕР — а по-русски звучит как ГУМЕРОВ —

потому что я родом из древних-древнейших ШУМЕРОВ —

поэтому я люблю, продолжаю любить! тебя на шумерском, на древнетюркском, татарском, арабском и на французском — который я изучал с четвертого класса, правда, всего по восьмой...

Люблю тебя на английском, т.к. люблю Элиота и Паунда Эзру и читаю газету «Москоу ньюс» — правда, на русском...

Люблю тебя на казахском, потому что родился в казахской пустыне, и Олжас Сулейменов мне сам подарил свою книгу...

Люблю тебя на узбекском, потому что живу в Фергане и в Ташкенте, даже на русском люблю — потому что пишу я на русском,

люблю я тебя на башкирском, т.к. по пятой графе я — башкир...

Ты тоже любила меня, но совсем в другом городе... В нашей советской стране существует «СОЮЗПЕЧАТЬ» — и я получаю кучу газет и журналов:

я живу в «Октябре», на «Неве», в «Новом мире» и «Дружбой народов», уважаю я «Труд», интересен мне мой «Собеседник», я всегда почитаю «Советский спорт» в перекурах — хотя времени нет на зарядку...

Я не «Наш современник» — я твой современник, я живу не в «Москве», а в Ташкенте — каждый день с «Огоньком» я бегу на работу и со «Знаменем» в правой руке — в магазин, на базар и в аптеку...

Почтальонша-старушка в шагреновой сумке каждый месяц приносит мне «Юность» — а я люблю тебя, «Звезда» моих очей — «Биробиджанер штерн» — «Звезда Востока»...

Это «Сельская правда», поверь мне, моя луноликая...

А мужчина-цветок цветет о любви на своем языке... А женщина — тоже (не тот же!) — цветок цветет о любви на своем языке...

Но где же летает наша пчела?

Она — бечорашка * — сидит на моем левом плече — где ноги твоей правой больше не будет...

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Конец? Нелепое слово!

Чему конец? Что, собственно, случилось?..

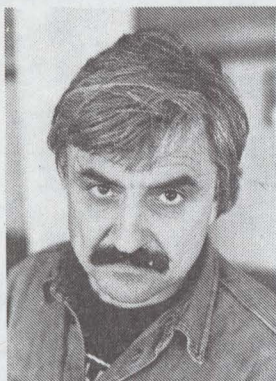
Там же**

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

г. Ташкент

* Бечора — бедняга (узб.).

** Автор приводит слова Гете по памяти. Поэтому все претензии по поводу правильности цитат следует предъявлять непосредственно Гете. — Прим. автора.



Александр
ТКАЧЕНКО

БЛУЖДАЮЩАЯ БОЛЬ

Поэма

1
Человек с человеком сцепился.
Конский топот стихает в опилках.
Это бред. Это клоун под маскою плачет.
Это бунт всех, кто был водовозною клячей,
кто потом от костей до костей
схвачен был и во льды слюдяные закован.
Чуть движенье — порез... Приходилось краснеть поневоле.
И пошел он к себе мимо кафельных круч,
по асфальту из пыли, по гудронному полю,
небо — нефтяные разводы, новостройки — руины
и на свалках грызутся собак разномастные своры.
Человек с человеком сцепился. Богом оба — любимы...

2
Бросаюсь на провода.
Колючая проволока чувств.
Кариозные зубы — города...
Не знаю от чего, но лечусь.
Но не мучьте отрывки природы своими нелепыми фразами...
Мы уже глотнули свободы, а она —
со слезоточивыми газами.

3
Задвигалось проклятье долгих дум,
и все здесь сплетено, и все отмерено,
кто вел людей на смерть, кто из-под дула,
подснежники еще расскажут севера...
На глубину лопаты боль земная,
копни повсюду — вскрикнет человек,
поскольку ипостась нам не дана иная,
чем нервами сплетенный наспех век.
Кто попытался разорвать разумное согласие
меж небом и землей, меж полем и зерном,
тот оказался сам с собою, с пугающе властью —
начать благим,
а кончить неподвластным злом.

4
Я слушаю возвращение Ростроповича.
Свобода здесь и свобода там
не имеют никакого значения —
музыка ближе всего к смерти...
Виолончельные смычки «боингов» извлекают из планеты
хрипы убиенных Цезарей,
хрустение средневековых костров,
молк течения Стикса...
Но Орфей возвращается в Ад. Миллионы Орфеев в каждом
и одна Эвридика на всех,
поэтому нет пограничной колючей проволоки для смычка —
он и на ней сыграет свое возвращение...
Две руки Ростроповича взмывают над двумя странами,

Публикуется в сокращенном варианте.

как бы крестя их, благословляя,
одну смотрящую на другую — другую больше в себя...

5

Памяти А. Д. Сахарова

Снег играет на виске мокро-синий.
Гроб гуляет по Москве, по России.
Постоит он в Лужниках, постоит в ФИАНе,
Поплывет он на руках в снежном фимиаме.
Гроб гуляет по стране. Век — мгновенье
мысли, совести и не — повиненья!
Вот за ним и большинство, съезд на улицах не убывает,
как ты хрупко, божество, — здесь тебя не убивают.
Все давно себе простили, тайно рады — сбит со слова,
партократы здесь не в силах и бояться, как живого.
Будто снова встал он, чтоб поднять других с коленей.
Мысль гуляет по кварталам,
а кварталы — в оцепеньи.

6

Любовь моя — свобода жить, любя,
по самым безысходным тюрьмам,
по птицам взглядами завистника лупя,
идти во власть текущим трюмам.
Любовь моя — ты гибель по углам,
где дохнут паутины, зреют взрывы,
свобода — ты связала по ногам
дарующим свободы, их порывы...
Любовь, свободна ты и ненавидеть,
и потому любить свободна,
так в каждом крупном механизме винтик
играет роль победно-безысходно!
Любовь моя, я ставлю на свободу,
свобода — ставлю на любовь,
и облакам даю, их призрачному сходу
свободно возвестить блуждающую боль!

7

Между востоком и западом, между югом и севером,
запад и восток, север и юг,
дайте взглянуть на человека —
и сразу видно, какие поля сдавливали его,
напрягали его весь опорно-двигательный аппарат,
всю костно-мышечную систему...
Между пятками и затылком, между носом и коленями,
затылок и пятки, нос и колени,
ибо другого не существует
ни на западе, ни на востоке,
ни на юге, ни на севере...
Все бродит на свете — молекулы, облака, материки,
почему человек должен быть иным?
Когда-то в нем забродила кровь,
и до сих пор она бродит вместе с ним
по всем острожьям Земли...

Однажды в сонном сабвее Нью-Йорка я понял это —
эфиоп играл на флейте мелодию,
тайно вывезенную со своей родины,
но ее открыто никто не слушал
или открыто слушали все,
ибо между отверстиями и пальцами,
между сердцем и прохожими —
только пальцы и отверстия, только прохожие и сердце.

8

В воздухе пахнет безумием, стрелки дрожат на часах,
в воздухе пахнет Везувием —
пепел птицы стоит в небесах...
Колокол в землю зарыт, в облака,
в каждой руке по канату,
сжата до крови в пожаты рука,
как разжимать, если надо?
Только что полуударили в медь
словом, дыханием. И, отступая вспять,
в воздух взлетает тюремная клеть,
Боже, опять... Боже, опять виденье!
Полуударили в колокол,
тушью залито, сиреневой тенью,
пахнет несыгранным порохом.
Только бы пахло, не более, только бы пахло Везувием,
прошлым, немим, обезболенным
и без
безумия...

февраль, 1990 г.



Анна
САЕД-ШАХ

☆☆☆

В. Коротичу

Чтоб долго не возиться с подлецами,
их зарывали у почетных стен...

Как вдруг от ветра резких перемен
зашевелились храмы под лесами.

И что ни день, то новая душа
над чистыми листьями воскресала...

А мы все шли, смелея и спеша,
к «Союзпечати» от универсама.

Товарищ, верь! На новом рубеже
к нам подойдут и с нами разберутся.

Но это всё мы видели уже! —
нам только бы успеть не оглянуться.

Возвращение

Париж. Вокзал. Часы. Свисток.
Вагон, купе, пустое место, —
и мчится поезд на восток,
осталось пять часов до Бреста.

Не иностранка и никто,
а просто так, одна из многих,
я кланяюсь Отчизне в ноги,
запачкав шведское пальто.

Но что же делать мне, когда
настанет горькая минута:
а вдруг не спросят: «Ты откуда?»,
а скажут: «Вы, мадам, куда?»

☆☆☆

Вот мы и вместе с тобою живем.
Вот и добились, прорвались, дружище!
Вот мы и рядом жуем
всякую пищу.

Яркий огонь, теплая кровь —
вот и жилище.
Наша любовь! Ах, наша любовь —
праздник для нищих.

☆☆☆

И я давно жила б в раю,
когда бы я умела
всю нежность выплеснуть свою,
не потревожив тела.

И кто придумал наградить
меня такою тенью,
чтоб не взлетать, а восходить
от страха — до рожденья.



Юрий
МИХАЙЛИК

☆☆☆

Как лайнер, покинувший воды
тропического тепла,
поэзия вышла из моды
и в трудные годы вошла.
На грани кораблекрушенья
с бедовой ледовой строки
обрушились все украшения,
осыпались все пустяки.

☆☆☆

Над берегом морским осенний день сломался,
но несколько часов он был еще хорош
в той дымке голубой из старого романа,
где лжи ни капли нет и правды ни на грош.
Известны все дела, да спутаны причины,
отчетливы следы, да смутны голоса.
И в дымке голубой почти неразличима
меж небом и водой прямая полоса.
Пока еще тепло — сиди, гляди и грейся,
не радуйся сейчас, не жалуйся потом
на берегу морском под одиноким рельсом,
черт знает для чего вколоченным в бетон.
Вот ветер облака старательно листает,
откинет, прочитав, погонит за моря...
Что в дымке голубой колеблется и тает?
Вгляжусь когда-нибудь, а это жизнь моя.

☆☆☆

Возвращаются ветры на круги своя.
Возвращаются волки к порогу жилья.
И по волчьим следам — все скорей да скорей! —
возвращаются белые тьмы декабрей.
И ожог на щеках, и ледок на усах...
Рвет кору на деревьях в окрестных лесах
притаенный, притундровый лютый озноб.
На морозе мороз, на сугробе сугроб.
Только ветер гудит на кругу за стеной.
От поленьев березовых стук костяной.

☆☆☆

По синему небу летят облака,
как будто бы пену уносит река,
как будто бы чудо прорвало запруды,
и ветром оттуда несет облака.
Обломками льдины, обрывками снов,
стусившимся дымом погасших костров
по синему небу, по спелому лету
летят облака по следам облаков.
Клубящейся памятью, рваной стеной,
последней любовью и поздней виной
уже по нездешним неспешным законам
летят и летят облака надо мной.
Вот это отдельное — с черной каймой
родилось, наверное, прошлой зимой.
Зачем мы с тобою его отпустили
по синему небу лететь над землей?

Борис ХАНДРОС

СМЕРТНЫЕ ЛИСТЫ

I. Выслушайте, товарищ Сталин

«Добрый день, уважаемый секретарь ВКП(б) товарищ Сталин.

Пишу письмо с Украины — с глухого закутка села. Возьмите военную карту и найдите село на речке Ятрань, называется Полонистое, на Уманьщине, Бабанского района (теперь Головановского района Кировоградской области. — Б. Х.).

Вот такое выслушайте, товарищ Сталин.

Село насчитывает 317 дворов. Коллективизация выполнена на 100 процентов. А что тут, думаете, — Советская власть? Нет, не советская, а чисто буржуйский строй...

Вспомните крепостное право: 6 дней работа панам, а 7-й — воскресенье, в которое нельзя работать, потому что праздник. Так и на селе каждый день работают в артели. Возле дома — ничего, кроме построек, и налог за то, что работаешь в колхозе; обобществлено все, еще и хлебозаготовку дай.

Не иди в колхоз по хлеб, а сам сдай пудов 45 с трех десятин поля; ну, пай в кооперацию, 28 рублей аванса и строительство тоже на 15 рублей сдай из дома, а потом за три года ни копейки денег.

Такая вот жизнь.

Село выполнило план на 65 процентов. Колхоз вывез весь хлеб до фунта. Теперь кони ни в зуб: лишь пшеничная сечка и кропят мясом.

Нет ни зернышка. Свиной было 500 голов. Подошли с голода 184: едят жом и сечку.

Есть только 60 голов, из них на мясо идет 46 голов, а на все село остается на 1932 год 14 голов. Вот Вам распределение скота, ибо район свекло-животноводческий, и предвидится, что на протяжении двух месяцев погибнет весь скот, и начинают умирать с голода.

Люди пухнут. Люди говорят: «Хлеба, хлеба...»

Не думайте, уважаемый руководитель, что не работали люди ударно, однако недород, который никто в счет не берет.

В прошлом году урожай был средний, и то еле выжило население, и план был 38 тысяч пудов, а сейчас — 57 тысяч пудов.

Теперь буксир над буксиром — бригада 86 человек ходит три месяца, ничего не делают, изо дня в день ходят под каждую хату.

С начала кампании раз по 60 каждую хату перелопатили. Забрали до фунта все огородное в колхозе, у колхозников на душу два пуда картошки, а все до фунта — в заготовку.

Никаких запасов на весенний сев семян, ни фунта какой бы то ни было культуры: ни картофеля, ни гороха, ни

гречки, ни проса. Ни ячменя, ни овса, ни сои. Все до фунта — и свеклу, капусту квашеную забрали и забирают кур. И сдают крестьяне, ибо нечем кормить, идет забой кролей. Такое вот, товарищ Сталин.

Трудодень обошелся 37 копеек, пара сапог — 36 рублей, пара ботинок — 26—22, костюм — 80 рублей, в прошлом году — 25.

Понимаете, еще и пачка папирос — 35 копеек раскурочных.

Вот так, тов. Сталин, сто дней на одну пару сапог. Уравниловка.

Довела власть Советов, руководят «рабочие и крестьяне» (помещики и буржуа), потому что рабочий не станет высасывать последнюю кровь из сердца, потому что он понимает голод и холод.

Фунта соломы не дают, в хатах холод, раскулачивают бедняков, колхозников выбрасывают из колхоза за то, что хлеб не сдают. Зажим, не дают крестьянину говорить на собраниях, сажают в бунт. «Мы тюрьмы не строим, а рушим», а в нашем районе уже 9 кулацких хат новых. Три дома построили новых — и сажают, судят ни за что. Что захотели активисты, то и сделают, а масса ни при чем. Сельсовет избрали, а ни одного члена избранного, все новые и новые, чужие люди.

Масса населения настроена против Соввласти. Нет никакой культработы. Одна хлебозаготовка, и все.

Рабочим, которые работали когда-то в колхозе, а теперь ушли в промышленность, их детям и женам нет покоя. Паек, который привозят, забирают. Голод...

Вечером нельзя выйти на улицу, бьют камнями, сдирают сапоги, у кого есть. Население босое, голое, голодное.

Дети не посещают школу, тоже босые, голые, голодные. Горячие завтраки были только раз в месяц и разве что чай без сахара.

В селе ни керосина светить, ни мыла, а о жирах и вспоминать нечего. Нет подсолнуха, ни фунта из 40 га не осталось: все — в заготовку. Так о том, чего нет, и не говори. Не ищи нигде купить хлеба — назовут оппортунистами. Вот такое-то на селе, хоть и суди, — говори, что оппортунист. Нет, я советский.

Сам каждый день по хлеб хожу.

Ответ персонально по адресу: Бабанский р(айон), УССР, Полонистое. Комсомолец, секретарь ячейки. Член бюро РКМ Пастушенко».

Это письмо из 1932 года хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов Государственного управления (ЦГАОР) УССР (ф. 1, оп. 8, сохр. 117) — Фонд приемной председателя ВУЦИКа. Подпись заверена печаткой — «С оригиналом верно: Председатель Бабанского РК (рабочего контроля) и КРКИ (комиссии рабоче-крестьянской инспекции), Г. Максименко».

Написанное в январе 1932 г. и отправленное в Москву, письмо Пастушенко попадает в... секретный отдел ЦК ВКП(б).

Судьбу его решает «референт-докладчик» В. Селицкий.

С его «сопроводителькой» «полученное на имя товарища Сталина» заявление Пастушенко пересылается «для рассмотрения» в ВУЦИК.

27.II.1932 года с грифом «Срочно» письмо из приемной председателя ВУЦИКа отсылается в Бабанский райисполком.

И... попадает на стол уже знакомого нам Максименко с резолюцией районного начальства: «Прошу срочно провести проверку и дать ответ с выводами. 6.II.32 г.».

«В ВУЦИК

Сообщаем:

Автор письма тов. Сталину за подписью «Член бюро РКМ Пастушенко» не обнаружен. Таким образом, письмо анонимное» (?!).

И Максименко — тот самый («Председатель Бабанского РК и КРКИ») сам заверял («с оригиналом верно») и Пастушенко прожигают в Полонистом, а письмо — ...анонимное.

«По сути стану Полонистого.

План хлебозаготовки в селе выполнен на 59,7 процента (на I.II.32 года). Сдача с засеянного гектара — 3,06 центнера. Колхозами (в селе три колхоза) план выполнен на 63 процента, что составляет сдачу с гектара — 3,44 центнера... Из обуви за это время было завезено более 100 пар. Есть в лавке и сейчас сапоги и ботинки, в том числе и детские.

Таким образом, утверждение автора письма, что дети разуты и раздеты, потому что в школу не ходят, неверно. (Воистину: в огороде бузина, а в Киеве — дядька. Что с того, что в лавке лежат сапоги и ботинки, если денег кот наплакал?)

У Пастушенко дети — «босые, голые», потому что тяжелый труд колхозника обесценен, оплата — чисто символическая: и трудодень обошелся 37 копеек, пара сапог — 36 рублей... сто дней — вот она, колхозная арифметика! — за одну пару сапог». Максименко, однако, вдаваясь в бюрократическую казуистику, по-своему «опровергает» то, что, следуя здравому смыслу, опровержению, казалось бы, не подлежит. — Б. Х.). Есть случаи, когда дети посещают школу нерегулярно, но мы это относим за счет оргтруда персонала.

...Труддисциплина в колхозах и особенно бывшего им. Сталина (нынче за постыдную работу колхоза имя снято и дано название «Черепаша») — чрезвычайно плохая. Отношение к коню вредительское. В колхозе им. Яковлева дела немногим лучше, но и там не все в порядке.

Состояние с лошадьми такое (за 1931—32 гг. погибло 92 головы) потому, что плохой досмотр, а затем кормление жомом и мелясой содействовали заболеванию на глисты, что теперь уже выявлено и приняты меры по сохранению животных.

Кормление жомом прекращено. Кроме того, периодически дается соль. Что же касается досмотра за лошадьми, то и по сей день большая текучесть конюхов, из-за чего нет надлежащего досмотра.

Проведена чистка колхоза от кулацкого и рваческого элемента; эта работа продолжается и по сей день.

Среди колхозных масс проводится массовая воспитательная работа.

Состояние на селе среди колхозников неудовлетворительное. Господствует потребительская тенденция. Подготовка к весенней кампании проходит неудовлетворительно.

Есть данные, что в селе кулачный и антисоветский элемент проводит усиленную подрывную работу. Село постепенно укрепляется лучшими работниками.

Председатель райКК — РКИ Максименко.
13 марта 1932 года».

Село Полонистое. Встреча в конторе совхозного отделения.

Присутствуют Кострига Давид Иванович, 1906 года рождения, колхозник; Люльченко Аркадий Семенович, 1910 года рождения, колхозник, участник финской и Великой Отечественной; Свид Василий Саввович, 1914 года рождения, учитель-пенсионер, тоже ветеран ВОВ; Годованчик Леонид Трофимович, 1926 года рождения, учитель, пенсионер.

Василий Свид:

— В письме все правда. Готов подписаться под каждым словом.

Аркадий Люльченко:

— Все так и было. Потому и голод, что забирали все под метлу. Вспоминается такой случай. У Шкиндера Семена жена где-то наменяла пять килограммов муки. Высыпала из мешочка, расстелила тоненько на печке, накрыла рядном. Еще и детишек посадила сверху, один другого меньше. И что вы думаете? Пришли, согнали детей с печи и забрали всю муку. Последнюю надежду. Вот так и создавали голод. А до коллективизации не помню, чтобы голодали в нашем селе. В каждом подворье куры, утки, по семь-восемь овец. Ну и, как водится, кабанчик, и не один. Корова, если не у каждого хозяина, то через одного. До двухсот коров в Полонистом было.

Сколько умерло в голодовку? Мы тут прикидывали: не меньше четырехсот...

Большинство, хоть и с оговорками, склоняется к выводу: наиболее вероятный автор — Максим Маркиянович Пастушенко. В те годы секретарь сельсовета, один из первых комсомольцев. Активист. Принимал участие в коллективизации, но и тогда, насколько это было возможно, действовал по совести. За это его уважали, да и теперь добром вспоминают люди: Он умер в 1952 году.

А Максименко?.. Не такой уж он однозначный, каким может показаться. Ведь взял на себя ответственность заверить такое письмо. Но, когда оно, пройдя по бюрократическому кругу, вновь возвращается к нему, он, видно, сам вступает в хорошо знакомую ему игру, спасая таким образом и себя, и Пастушенко.

II. «Летучая эскадрилья»

Письмо Сталину из Полонистого — капля в огромном потоке писем, заявлений, жалоб, стекавшихся в самый канун голода 1932—1933 годов из сельской глубинки в приемную председателя ВУЦИКа, «всеукраинского старосты» Г. И. Петровского.

Написанные, как правило, от руки: то карандашом, то чернилами, аккуратно подшитые, они хранятся в папке со следующим заглавием:

«Дело о рассмотрении заявлений отдельных граждан с жалобами на нарушения революционной законности органами власти на местах.

Начато: 15 января 1932 г.

Закончено: 16 декабря 1932 г.».

Харьков. Центральный исполнительный комитет.
14.III.1932.

Председателю нашего Украинского народного хозяйства сообщая следующее:

Гр-н Петровский Григорий Иванович, покорнейшей нашей просьбой к Вам, как Вы наш народный хозяин и защитник нашего народного Хозяйства от капиталистических врагов».

Дальше в письме рассказывается о действиях буксирной бригады по хлебозаготовкам.

«...як бандити нападають на шляхах, так і комсомольці в полі. Виводять по одному із заборів і б'ють.

Это чистая банда, это жить невозможно.

Подпись: селькор».

Жалобы на буксирные бригады, действовавшие на Украине повсеместно, встречаются, к слову, во многих письмах, прошениях.

Некоторые из них во время переписки обрастали, словно снежный ком, объяснительными записками, протоколами следствий и сами превращались в «дела».

Так появилось дело о «Летучей эскадрилье».

15/I—1932 г. Винницкая обл. Гайсинскому участковому прокурору.

К ВУЦИК обратился Литвинюк Т. С., который сообщает об искривлении директив правительства и партии в селе Пчельная Теплицкого р-на. Он говорит — для сбора хлеба по доведенным планам в селе выделены бригады, которые издеваются над крестьянами, главное — над бедняками. Собранное имущество (! — Б. Х.) нигде не фиксируется. Так же отобрано имущество у его сестры.

Посылая указанное заявление, Приемная Председателя ВУЦИКа просит проверить жалобу гр. Литвинюка и результаты проверок переслать в ВУЦИК для доклада Григорию Ивановичу Петровскому до 25/I—32 г.

Завидатель приемной Председателя ВУЦИКа Баранов.

Завканц. Мамлина».

«Участковый прокурор Гайсинского р-на.

О нарушениях Директив правительства и партии в селе Пчельная (Бджильня) Теплицкого р-на.

Сообщаю, что по этому делу проводится следствие с 15/I—1932 г.

Уже допрошен целый ряд лиц, и пока что материалы предварительного следствия свидетельствуют, что в селе Пчельная Теплицкого района бригады по хлебозаготовкам допустили целый ряд грубых извращений директив Правительства и партии во время проведения этой важной политико-хозяйственной кампании, которые заключаются в следующем.

Бригада по хлебозаготовке состояла почти из 400 человек, которую тов. Алексюк (уполномоченный РПК, он же председатель райколхозсоюза) назвал «Отряд «Летуча эскадрилья».

В селе было организовано несколько штабов, из них один главный штаб, начальником которого был Алексюк, по показам (показаниям. — Б. Х.) секретаря партячейки — Федоряка Ефима и председателя сельсовета — Судака Кондрата, село было переведено на военное положение, члены бригады по 2 человека были размещены по крестьянам, которые не выполнили хлебозаготовку, и положено было на этих крестьян содержать и кормить тех членов бригады до того времени, пока они не выполнят хлебозаготовку; в селе проводились поголовные обыски у всех без исключения колхозников, бедняков и середняков; для питания бригады забирались у крестьян без всякого учета овцы, куры, мед и др. продукты, по неполным данным бригадой забрано и зарезано 34 барана, 8 пудов меда, курей ловили у крестьян без всякого учета (ну чем не оккупанты образца 1941—1944 годов?! — Б. Х.).

Сосонский совет

сельский

КНИГА ЗАПИСІВ
АКТИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ
до 1933-го рік
ПРО СМЕРТЬ
№ 12/12/12 № 53 до № 49
перший

на 18 ар.

Я змієний контракт
Бартко Архип, схова
взя хліб в землі, і м
його здати Раг-дег
аві.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОМУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ
ВУЦВК
СЕКРЕТАРИАТ ПРЕЗИДИ
21 ФЕВ 1932
ЖОНО
1932 г.
сылается полученное на имя т. Сталина заявление
на рассмотрение
следующем распоряжении правяща сообщить заявитель
Секретариату т. Сталина.

Референт-докладчик



Лично тов. Сталину
Жанова

от рад. 2. оgedы ул.
Порова 143 кв. 13 Бартко
Корнак Архиповича

Прошу рассмотреть и принять во внимание уезд.
имеет сына малюке брацисевои района уезд.
Бартко Архип Л. до революции был бедняк. Владелец
земли Коштыных и Антанико Коштыных в то время
его 35 п. всех Коштыных и других бедняков отдало государству 22 п.
на ссисека 9 п. из них осталось Куштыно 7 п.
из 4 человек Отец 60 л. мать 58 л. сестра 40 л. брат 20 л.
мать на это местная власть отдала им в пользование
землю на это местная власть не и получила в пользование
землю. Отец и остальные бедняки. Отец хотел забрать
землю забрать и остальные бедняки. Отец и остальные бедняки
на некому дать так они его называли и напивали
Коси и Архиповичи товарищи на удив и напивали
шукую такую. Я змієний контрактант Бартко Архип
в свой хліб. Взявши и некому его здати рад держави
он предлагал и другие жиды. Отец предлагал
на т. Сталина и другие жиды. Отец предлагал
таку цену. Пролетарии.



Смертные листы Украины 1930-х.

Одна из тысячи жалоб —
«Лично товарищу Сталину».

Сельские активисты Могилевско-Подольского района
Винницкой области 1932 г.

Крестьянка, пережившая голод,
у памятника в Сосонке.

За невыполнение того или другого распоряжения начальников штаба, колхозников штрафовали на 50, а то и 100 процентов трудовой, крестьян, независимо от их социального положения (среди сотен жалоб, просьб в адрес председателя ВУЦИКа я не встретил ни одной от лица репрессированного, раскулаченного, сосланного — по той простой причине, что заявления деклассифицированных элементов никем и нигде не принимались, не рассматривались: попав в «кулацкий» список, человек как бы автоматически оказывался вне даже той куцей революционной законности, которая в той или иной степени еще наблюдалась. Словом, дело о «Летучей эскадрилье» и могло-то появиться лишь потому, что пострадавшие от дикого, ничем не обузданного произвола все до одного по своему социальному положению — середняки и бедняки. — Б. Х.) вызывали в штабы (семь кутков — семь штабов. — Б. Х.), с которыми обращались грубо, наносили разные оскорбления и физические издевательства, например, Красноперый Гилько, 67 лет, середняк, объясняет, что его вызвали в штаб и когда он явился — над ним начали издеваться, дергали его за бороду, а потом спичками ее поджигали... У штаба было много людей, а штаб был охраняем посыльными — «выконавцами» — которые никого не выпускали из хаты, а также из хаты во двор; гр. Губаль Александра, беднячка, свидетельствует, что, несмотря на то, что она выполнила все, что от нее требовалось по хлебозаготовкам, к ней явилась бригада в лице Верхмиллера, Ткачука Кирилла и забрала у нее весь хлеб, а когда она стала добиваться, чтобы ей все возвратили, ее начали крыть матом, угрожали разорвать хату, кроме этого, над нею издевались, поднимали на ней платье при тут же сидящих детях, а однажды вызвали ее в штаб и там угрожали разорвать хату, облить ее керосином, поджечь и вывезти за село, кроме этого, несмотря на то, что она была беременна, ее толкали в грудь».

К «Сообщению» участкового прокурора Горного приложения копии допросов многочисленных свидетелей.

Свидетельствует Стойко Онуфрий Моисеевич, 57 лет, немущий, малограмотный, женат, хлебопашец-единоличник:

«Возложенный на меня план хлебозаготовки я выполнил полностью и с превышением и несмотря на это, меня вызвали в штаб 2-й сотни, поскольку я житель 2-й сотни, откуда послали в штаб 3-й сотни, где был старший бригадир штаба Семенюк и Ткачук Федот, за хлеб у меня не спрашивали совершенно ничего, мне предложили подписаться на 40 рублей поэтики (заем. — Б. Х.), от чего я не отказался, но сказал, что денег у меня сейчас нет, а выплачу я тогда, когда получу деньги за сданный хлеб...

Семенюк взял меня за бороду и потянул ее, сказал: «Хорошая борода, нужно ее осмалить». После чего подошел ко мне Ткачук, который и толкнул меня под бок и заставил меня лезть под кровать со словами: «Лезь, собака, под кровать, куркульская твоя морда». Все это сопровождалось отчаяннейшей матерщиной. Под кровать я не полез потому, что там было так низко, что не пролез бы и ребенок. За мной приходили старший бригадир Далекий Мефодий и Хрущ Феодил, забрали у меня следующее: прилагается список. Больше по делу показать не могу ничего. Записано верно, мне прочитано, в чем и расписываюсь».

Список реквизируемого у Стойко:

«1. Часы-будильник. 2. Шлеи портяні з постронками. 3. Дві парі нашілників, реміні з цепками. 4. Один ремінь з постронка. 5. Відро. 6. Долото. 7. Кружало толстой проволоки. 8. Дви кадушки з пашнею. 9. Дви посуду з керосином — стеклянка і жестянка. 10. Одна скатерка. 11. Один ніж для колив свиней. 12. Бабка для клепки кос. 13. Три фури дров. 14. Дві фури сіна. 15. 3-е курей».

Все вышеперечисленные вещи забраны у меня бригадами Далеким Мефодием и Филатом Хрущом. Кроме того все зерно, мука, пшеница, крупа выкачаны до фунта. План выполнен и перевыполнен, но зато я и дети голодают».

А вот как развлекались в штабах.

Свидетельствует Белокоп Петр Иванович, 40 лет, бедняк (земли 3 десятины, хата, клуня, сарай, 2 овцы), малограмотный, женат — 7 членов семьи:

«Было созвано общее собрание всего села, как выполнявших, так и не выполнявших хлебозаготовку. Всех тех, которые выполнили свое задание, оставили в помещении, а всех тех, которые не выполнили, выгнали на двор на мороз и после вызывали в штаб по одному человеку. Нас с Юхремом Мельником двоих звали в штаб, поставили рядом и заставили друг друга спрашивать: «Ты выполнил хлебозаго-

товку или нет?», «А ты почему не выполнил?» Мы с Мельником Юхремом один на вопрос другого отвечали, почему мы не выполнили хлебозаготовку, а Комиссия смеялась. После того нас заставили сесть на стулья, потом встать. Мы встали, отвечаем на вопрос бригадира Верхмиллера, а тем временем принимают стулья, после чего говорят нам садиться, и так, как стулья приняли, то мы падаем на землю. Я таким образом упал два раза. Заставляли нас крутиться, чтобы на нас смотрела вся публика, что мы не выполнили хлебозаготовку».

Особый интерес представляют пространные показания секретаря партийной ячейки села Пчельная Федоренко Евфима Прохоровича (31 год, уроженец соседнего села Холодовка, бедняк, член колхоза, образование — низшее, украинец, женат, хлебопашец, член ВКП(б) с 1924 г. (ленинский призыв) и председателя сельсовета Судака Кондрата Семенича (28 лет, бедняк — одна хата, член колхоза, образование — низшее, украинец, женат, член ВКП(б) с 1930 года).

Их свидетельства (не жертв, а активных исполнителей, вожakov, бригадиров «Летучей эскадрильи») бесценны для историка, исследователя.

Показания Е. Федоренко:

«Ранее я работал Уполномоченным Райисполкома по хлебозаготовке в селе Степановка, потом был переброшен в село Пчельная. 9-го Октября в село приехал Уполномоченный тов. Алексюк, который сразу же потребовал, кроме бригад из жителей села Пчельная, еще и студентов Зоотехникума с Комаровки, из местечка Теплика, а в село приехало к нам человек 50. Первое его мероприятие было — это организация главного штаба, при котором был отряд человек 50—60, которым и руководил сам Алексюк. Отряд этот он называл «Моя летучая Эскадрилья». Отряд этот всегда ходил по селу в строю под командой Алексюка с песней. Сам Алексюк впереди отряда верхом на лошади. Предлагал мне несколько раз принять команду, т. е. быть командиром. Сразу же на пленуме Сельсовета, а позже на парткомсомольской раде Алексюк провел предложение обезличить кулака, т. е. по его соображениям — 6%; возражений на это предложение не было никаких, и предложение его было принято и проведено в жизнь. Обезличка проходила следующим образом: у всех 6 процентов забирали весь хлеб, крупу, необмолоченные снопы, забирали также мясо, сало и шкуры, эта обезличка продолжалась дней 5—6... все организации, как Партиячку, Сельсовет, Правление колхоза и комсомол, возглавлял сам Главный штаб в лице его руководителя Алексюка. Все собрания, совещания этих организаций открывал и проводил сам Алексюк, причем вносил исключительно только свои предложения, не давая никому их обсуждать, а также и вообще выступать. Каждый штаб должен был забрать у 40% селян, невзирая на их соц. положение, весь имеющийся у них хлеб и крупу, оставшая от 2 до 5 пудов на семью. После организации этих штабов возник вопрос — где кормить людей, работающих в этих штабах, их было человек 70—80, тогда Алексюк поместил по два человека на квартирах исключительно к селянам «Червоной Долины», которые не выполнили план хлебозаготовки, на полное иждивение. Алексюк говорил, что штабы должны сами себе находить харчи: овец, бычков, сало. Бригады забирали, кроме вышеуказанного, еще кур, мед, крупу, капусту, огурцы и так далее. Алексюк собрал собрание колхозников колхоза «Новое життя», где вынес следующее решение: забрать под метелку весь хлеб у колхозников, не подписавшихся на заем. По остальным колхозам забрали хлеб и исключили из колхоза без штрафа человек 30—35. Как-то раз во время разговора с ним я высказывал свои опасения в отношении его извращений, тогда он мне ответил: «Ерунда, бояться нечего — никаких волюнок и восстаний быть не может, у нас на сегодняшний день 70% колхозников»...

Показания «свидетеля» Судака К. С.:

«Председателем Сельсовета я заступил работать 14-го октября 1931 года. Уполномоченным Райисполкома по хлебозаготовке в то время был Алексюк, который заставил меня принять на себя бригаду, таким образом, я работал, как старший бригадир, не имея совершенно никакого отношения к Сельсовету... Все члены бригад питались исключительно теми продуктами, которые забирали у крестьян, а забирали овец, бычков, масло, яйца, мед и т. д.; на овец и бычков давали расписку, на остальные же продукты совершенно не давали ничего, а потому учесть, у кого сколько было забрано, совершенно не было никакой возможности... Алексюк написал мне распоряжение о том, чтобы организо-

вать повальный обыск по селу: искать нужно было хлеб, но идти с обыском под видом поиска буряка, что нами было и проделано. Всего организовано было человек 200, обыскано было все село, хлеба взято всего пудов 100».

Итак, ядро «Летучей эскадрильи» — человек 50—60 пришло — студенты-комсомольцы зоотехникума и молодые рабочие, мастера из районного местечка Теплик — они-то осуществляют в селе Пчельная диктатуру пролетариата; но преимущественно руками самих же крестьян, как правило, бедных и наиведнейших — деревенских пролетариев.

Пчельная предстает перед нами этакой малой моделью Большой государственной диктатуры пролетариата с его классовыми подходами, идеей экспроприации экспроприаторов, с неизбежным перерастанием диктатуры класса в диктатуру личности, вождя, вожака и т. д. в Москве — Сталин; в Пчельной — уполномоченный Алексюк: не случайно он называет свой отряд «Моя летучая эскадрилья».

Алексюк чувствует себя в Пчельной царьком-самодержцем, упраздняет советскую власть (председатель сельсовета по его приказу становится старшим бригадиром), переводит село на военное положение, устанавливает свои законы, точнее — беззаконие и произвол. Но разве не в том же духе «революционной законности» действовали уже в масштабах республик, целых регионов «чрезвычайные комиссии по хлебозаготовкам», возглавляемые Молотовым (на Украине), Кагановичем и другими «верными соратниками» великого вождя?

Ну а действия местных крестьян во главе с К. Судаком, мобилизованных или добровольно вступивших в «Летучую эскадрилью»? Что превращает их в оккупантов-карателей в родном селе?

Чем больше знакомишься с делами «Летучей эскадрильи», с показаниями жертв и их палачей, всех участников разгравшейся в Пчельной драме, тем больше ощущаешь себя в странном и страшном мире платоновского «Чевенгура».

И разве одна была такая Пчельная...

«Всеукраинскому старосте тов. Петровскому Г. И.

25.II.1932 г.

Заявление

Уважаемый тов! Я часто вспоминаю, как Вы в 1919 г. в августе мес. при отступлении от Деникина на ст. Ромодан рассказывали красноармейцам о значении Соввласти и капитала. Среди нас были добровольцы, мобилизованные, были и кулаки. Я долго буду помнить Ваши слова. Вы стояли перед вагонами — эшеленом, что вез нас в Саратов, Вы смотрели на поля и говорили: мы бьемся за расширение наделов для бедноты, а Деникин для буржуа, он вешает рабочих. Я и мои товарищи оставили дома, старых отцов и матерей да малых братьев и сестер, а кое-кто и маленьких детей, сели в вагоны и поехали в Россию. Запомнил я Ваши слова!

Воевали, многие погибли, мы победили. Возвратились домой. Занялись хозяйством. Перестройка с/хозяйства. Мы пошли в колхоз. А теперь что? Я не могу вам, верному защитнику трудящихся, описать все те события, что у нас в селе. Я лишь прошу обратить внимание на наше село и помочь, а чем помочь — это хлебом. Мы в колхозе работали, с осени дали хлеб, а теперь не дают.

Уравняли всех, кто выработал трудовни, и кто нет. Хлеба нет в артели. Люди разбегаются кто куда. Что мы едим? Едим в основном картошку, каштаны. Кое у кого есть хлеб, но немного — еще у верхушки села. ...Я не могу, не знаю, как вас просить, чтобы обеспечили хлебом. Может, вы думаете, что это пишет кулак? Нет, это пишет колхозник.

Если вы не в состоянии послать из Харькова, ВУЦИКа человека для обследования, то это будет ошибкой с вашей стороны, колхоз может потерпеть убытки, невыход на работу во время посевной кампании.

Наш колхоз «Красный партизан», село Березовая Лука Гадяцкого района.

Простите, тов. Петровский, за беспокойство, однако искренне прошу обратить внимание.

Проситель: Г. Шиян.

Адрес: ст. Венеславовка Гадяцкого р-на, с. Березовая Лука».

И это письмо тоже осталось без ответа.

Может, страшные факты, о которых сообщали крестьяне, — редкие исключения, к тому же ограниченные лишь 1932 годом?

Увы, нет.

Как видно из архивных документов, «подвиги» буксирных

бригад: массовые обыски колхозников и единоличников — не прекращались и в разгаре голода — зимой и весной 1933 года.

Во время этих обысков широко практикуется как метод «наказания» надевание на шею и грудь тех, что «провинились», позорящих подписей, плакатов. Доски со словами: здесь живет злостный контрактант — несдатчик хлеба, прибивались к воротам крестьянских дворов.

Забирать «черную доску» на ночь в дом строго запрещалось. Хозяин обязан был всю ночь стеречь ее. Как правило, от тех, кто прибывал.

Вот что пишет в своей жалобе «лично тов. Сталину» рабочий, «бывший комсостава» Бартко Корней Архипович об издевательствах над его отцом («до революции был бедняк... в настоящее время колхозник и инвалид... село Мачуха Братславского района УССР»)...

«Зная о том, что хлеба нет, пришли, последнее зерно забрали, и осталось двадцать фунтов гороху, которые хотели забрать. Отец не хотел дать, так они его назвали злостным неплательщиком и арестовали, посадили на четыре дня и написали записку такую: «Я злостный контрактант Бартко Архип. Свой хлеб держал в яме и не хочу его сдать советскому государству».

Эту бумагу прицепили к голове и водили по селу, грубо обращались и называли разными бранными словами».

Нередко председатели сельсоветов самолично открывали «дома заключения», разные «темные», где держали тех, кто не сдал хлеб или оказывался недостаточно, по мнению местного царька, послушным.

В селах Брицьке и Приборовке крестьян во время хлебозаготовок, как указано в документе под названием «О нарушениях революционной законности, издевательствах над крестьянами в селах Липовецкого района», принятом 5 марта 1933 года секретариатом Винницкого обкома КП(б)У, арестовывали, раздевали и сажали раздетых, без обуви в холодный подвал, заставляли плясать с тяжелой ношей на плечах, бить друг друга, «маршировать» по селу, разбирали дома.

Какой же была реакция на поток пронзительных писем, заявлений, жалоб?

Восторжествовала вроде бы справедливость в Пчельне: под суд, правда, отделавшись легкими наказаниями, попали шестеро (из 400) «героев» «Летучей эскадрильи» (среди них почему-то не оказалось главного организатора и вдохновителя — уполномоченного РКП Алексюка).

Не остались безнаказанными действия нарушителей «революционной законности» и в Липовецком районе.

Бюро Винницкого обкома (не прокурор дает санкцию, а обком!) постановило: «Судебным следственным органам арестовывать виновных и немедленно судить. Поручить областной партийной комиссии исключить из партии, как врагов, всех виновных в издевательствах над крестьянами».

Многого ли, однако, стоили эти грозные постановления в условиях, когда из центра все время шли указания: давай хлеб, хлеб любой ценой?

Местные руководящие органы то и дело старались — это видно и из писем — «не замечать», а прокурор в ожидании указаний и до их появления тоже «не замечал» нарушений законности, если план по хлебозаготовкам выполнялся.

И, главное, ни в приемной Председателя ВУЦИКа, ни в партийных органах не делалось никаких политических выводов. А если и делались, то в рамках сталинских указаний. Так, в приведенном выше постановлении подчеркивалось: обком считает, что в селах Липовецкого района «классовый враг» (не уполномоченные, не буксирные бригады. — Б. Х.) организовал эти издевательства над крестьянами для того, чтобы вызвать их возмущение против мероприятий партии и правительства».

III. Смертные листы

(Сосонка свидетельствует)

Сколько людей погибло от голода на Украине? Называют разные цифры — от 3,5 до 7, даже до 10 миллионов человек.

Все это «на глазок», приблизительно. На Украине полным ходом идет сбор материалов для «Белой книги о жертвах голода».

Но и в ней вряд ли будут названы точные цифры, не будет и поименного списка. Ведь жертвы 1933 года были по крайней мере убиты дважды... сначала организованным голодом (газета «Правда» 16 сентября 1988 года справедливо назвала

массовый голод тридцатых годов («самым страшным преступлением Сталина и его окружения»), затем — не менее преступным — забвением: в годы войны на всей оккупированной врагом территории были повсеместно уничтожены (кем? Вряд ли оккупационные власти были заинтересованы в исчезновении таких документов) главные свидетели: «Книги записей актов гражданского состояния» за 1933 и другие годы.

Ни имен, ни могил, ни статистики смерти, ни малейшего следа в советской печати.

Перечитывать, цитировать наши газеты времен коллективизации, голода мучительно больно и стыдно. В 1932—1933 годах — ни строчки о голоде, унесшем миллионы жизней.

О голоде, охватившем Нижегородскую губернию в 1891—1892 годах, писали все газеты, журналы того времени, стучась в сердца, взывая о милосердии, благотворительности, помощи.

Не молчала печать и в 1921-м, когда голодом оказалось охвачено все Поволжье.

Остается только гадать, сколько людей удалось бы спасти в 1932—1933 годах, будь хоть какая-то гласность в печати. К сожалению, ничего этого не было и в помине. Ничего, кроме плотной, душающей завесы умолчания. Молчали газеты. Молчали писатели.

Но разве умалчивание — не соучастие в преступлении?

Голод 1933 года замалчивался не год, не два — более полувека.

На Западе — десятки, сотни книг о трагедии 1933-го, у нас — за одно упоминание голода, за любую попытку приподнять над ним завесу истории, писатели до недавнего времени объявлялись клеветниками, агентами международного империализма, лишались возможности печататься.

Но ни война, ни позорное замалчивание голода со стороны «вождей», прессы, ни более поздние попытки замолчать, скрыть, в крайнем случае — уменьшить масштабы трагедии не могли уничтожить все следы, окончательно загнать правду под асфальт забвения.

В Государственном архиве Винницкой области каким-то чудом сохранились, насколько мне известно, чуть ли не единственные на всю республику «смертные листы» Сосонского сельского Совета Винницкого района Винницкой области — несколько тетрадей «Книги записей актов гражданского состояния на 1933 г. на смерть».

Записи с 7.IV. по 6.VI.1933 года.

«Головня Иван Тодоров, возраст 2 года, ремесло — хлеборобство, состояние по занятиям — одиночник, причина смерти — воспаление легких».

«Захаревская Анна Васильевна — возраст 7 лет, причина смерти — неизвестная, заним. хлеборобством».

«Шташко Анна Даниловна, 7 апреля, возраст — 1 год. Причина смерти — неизвестная».

В первую очередь умирают от постоянного недоедания дети. Однако на протяжении всего апреля слово «голод» все еще избегается.

Но вот новые записи мая 1933-го. Даем их в оригинале:

«9 травня. Шташко Данило Мартинович, вік 42 р., укр., Член артілі, причина смерті — від голоду».

«14 травня. 1933 р., Романенко Яків Левков, вік 52 р., укр., член артілі. Помер від голоду».

«11 червня. Романенко Тодоска Микитівна, вік — 6 років, нац. — українка. Хто утримав — батько, ремесло — хлібороб, стан за заняттям — одноосібник, причина смерті: встановлено с/р та міліцією, що батько зарівав і з'їв».

«12 червня. Порхун Василь Павлович, вік — 13 років, укр., причина смерті — невідома».

«Романенко Ганна Микитівна, — вік — 3 роки, причина смерті — зарівав батько для їжі».

«Захаревич Григорій Тимков, вік 7 років, причина смерті: зарівано людодом».

Теперь я знаю: записи в «Книге актов гражданского состояния», начиная с 9 мая 1933 года, не просто дань пунктуальности, а гражданский подвиг сосонского летописца.

В сентябре сего года на состоявшемся в Киеве Международном симпозиуме «Голодомор-33» я познакомился с моим земляком профессором Винницкого педагогического института, доктором исторических наук Шульгой И. Г.

Вот что рассказал Илья Гаврилович:

— В Винницком партархиве среди других документов мною обнаружен протокол заседания Брацлавского бюро райкома (апрель 1933 г.).

На заседании стоял вопрос о «продовольственных трудно-

стях». Отмечалось, что люди пухнут, умирают дома, на огородах, в поле, есть уже случаи людоедства.

10-м пунктом записано: отдельные секретари сельских Советов в книгах ЗАГСа прямо пишут: «Умер с голода». Откуда это им известно? Предлагается райисполкомам разъяснить сельским Советам, как как объяснять и записывать причину смерти.

...Надо полагать, отметим мы от себя, что подобные указания гласно или негласно делались и в других районах. И секретари сельских советов, как это было и в Сосонке до 9 мая, следовали этим советам. Отсюда и записи: «Причина смерти неизвестна», от «сухот» (туберкулеза) и т. д. Так было до тех пор, пока не проснулась окончательно тревожная совесть.

На 17 мая 1933 года, по данным, пришедшим в обком КП(б)У, в области охвачено «продовольственными трудностями», точнее, голодом, 38 районов, сотни сел с общим количеством 26 895 крестьянских хозяйств, а всего 121 тысяча человек. И это по официальным данным, явно заниженным, не столько умышленно, хотя и это имело место, сколько потому, что значительная часть умерших осталась просто без учета...

Из письма секретаря Брацлавского райкома партии Лящука от 22 апреля 1933 года в областной комитет КП(б)У (партархив Винницкого обкома КП(б)У):

«Сейчас надо открыто сказать, что голодание имеет место в большинстве сел нашего района, а в отдельных селах смертность от голодания набрала массовый характер, особенно в таких селах: Скрицкое, Семенки, Зеньковцы, Самчинцы, Сильницы, Грабовцы, Волчок, Марксово, Вишковцы, Остапковцы, Юрковцы и др. Есть случаи, когда колхозник выходит в поле на работу, там ложится и умирает».

Пик смерти, однако, падает на июнь—июль, когда умирают вдвое, второе больше людей — не столько непосредственно от голода (уже колосились хлеба), сколько от заворота кишок, дизентерии и т. д.

40, 100, 121 тысяча...

Все эти страшные цифры из винницких архивов безлики.

В «Сосонских листах» конкретные фамилии, имена.

В те самые дни, когда секретарь Сосонского сельсовета бестрепетной рукой заносил в очередную «Книгу смерти» все новые и новые фамилии, в Винницу из Харькова приехал высокий гость — член Политбюро ЦК КП(б)У, заместитель председателя ВЦИК СССР Г. И. Петровский.

Приезду предшествовала его телеграмма в Могилев-Подольский на имя редактора районной газеты «Прикордонна зірка» («Пограничная звезда») — такого содержания:

«Очень прошу коммуны, артели и совхозы им. Петровского выслать мне финансово-производственные планы на 1933 г. (каков севооборот, как организованы бригады, в каком состоянии тягло (лошади) и т. д.».

Какая трогательная забота «Всеукраинского старосты» о волах, лошадях артелей и совхозов им. Петровского. И ни слова о голоде, о людях.

Приезд Г. И. Петровского в Винницу широко освещает и областная «Більшовицька правда».

Как сообщает газета (1933, 14 апреля), Григорий Иванович побывал не только в областном центре, но посетил также отдельные районы, знакомясь с состоянием советского строительства и проверяя советские организации; как проводят они в жизнь решения партии и правительства, борются за осуществление плана первого года второй пятилетки.

Во всех районах, которые посетил Петровский, он дал конкретные указания и наставления районным организациям, дабы в дальнейшем улучшить их работу.

«Вчера, — говорится дальше в корреспонденции, — при участии Григория Ивановича состоялось совещание в облисполкоме, которое рассматривало вопрос о состоянии советского строительства — в области, о севе и о развитии коммунального хозяйства».

И снова ни слова о голоде.

Как же Сосонка? Что же, он тоже ничего и не увидел, не услышал?

Надеюсь, вы уже догадываетесь: в корреспонденции речь идет лишь о внешней, официальной части визита.

13 апреля 1933 года в Виннице происходит еще одно важное совещание. На этот раз — бюро Винницкого обкома КП(б)У, в работе которого Петровский тоже принимает участие.

На заседании положение в области было охарактеризовано как катастрофическое. Отмечалось, что с каждым днем оно

ухудшается. Голодают десятки тысяч людей, растет смертность. Бюро райкома приняло решение срочно информировать ЦК о необходимости срочной помощи. «Вместе с тем просить (?) Петровского в свою очередь проинформировать ЦК с учетом того, что он лично видел во время поездки в районы области».

Информация об этом совещании тоже была опубликована в областной партийной газете всего лишь... 56 лет спустя («Вінницька правда», 10 марта 1989 г.).

В этом же номере «Вінницької правди» приводится письмо первого секретаря Винницкого обкома В. И. Чернявского первому секретарю ЦК КП(б)У С. В. Косиору — документ, на мой взгляд, настолько красноречивый, говорящий сам за себя, что его хочется привести полностью.

«Строго конфиденциально.

Станислав Викентьевич!

Григорий Иванович Петровский прислал мне письмо, в котором рекомендует по всем вопросам трудного продовольственного положения области, и, в частности, по вопросам проведения кампании по свекле поехать в Москву.

Когда я был в Харькове (тогда — столица Украины. — Б. Х.), говорил с тобой по этому вопросу, ты мне рекомендовал этого не делать. Чувствую, что из-за нашей скромности, с которой мы подходим к развязыванию вопроса помощи пострадавшим в продовольственном отношении (тут пока еще все выдержано в духе той «обтекаемой» лжeterminологии, к которой обычно прибегали партаппаратчики, когда речь заходила о голоде. — Б. Х.) районам области, нам значительно труднее добиться тех необходимых условий, которые дали б нам возможность с меньшими последствиями преодолеть то трудное положение, которое сложилось в ряде районов области.

После нашей последней информации положение в области значительно ухудшилось. Оно особенно углубляется тем неправильным представлением, которое есть в Харькове о будто бы благополучном положении области...

...Мы почти брошены на произвол судьбы. Разрешенная колхозам торговля хлебом только чуть-чуть ослабила остроту положения... В области пострадавших в продовольственном отношении районов теперь насчитывается 37. Трудное продовольственное положение охватило до 300 лет и около 50 000 человек (месяц спустя — уже 121 000 человек — и это по официальным, явно заниженным данным. — Б. Х.). В последнее время увеличилось число смертей и не прекращаются факты людоедства и трупоедства. В некоторых наиболее пораженных голодом селах ежедневно до 10 случаев смерти. В этих селах большое количество хат заколоченных, а в большинстве хат селяне лежат пластом и ни к какому труду по своему физическому состоянию не пригодны. В таких районах, как Немировский, есть отдельные хутора, где одиночники все лежат...

В свеклосовхозах области за последнее время участились случаи смертей среди завербованных рабочих в этих совхозах.

Так, в Калиновском районе в совхозе за один день умерло 12 человек. Поражена значительная часть колхозов, однако в подавляющей массе голод охватил единоличников, особенно центральных и южно-восточных районов нашей области — Винница, Козятин, Жмеринка — за последнее время участились случаи смертей на вокзалах...

К тому же следует учитывать взрыв эпидемий в области и ограниченные наши ресурсы в борьбе с ними.

Все это вызывает у нас большую тревогу».

В. И. Чернявский заканчивает свое письмо к С. В. Косиору так: «Прошу вопрос о продовольственном положении нашей области срочно решить и предоставить необходимую помощь в тех минимальных размерах, о которых я пишу».

Пусть в личном, под грифом «строго конфиденциально» письмо — суровая правда сказана.

И при всем том: «ты мне рекомендовал этого (то есть поехать в Москву, доложить обо всем Сталину. — Б. Х.) не делать»; непростительная, граничащая с преступлением против народа «скромность», странная для революционеров, политических деятелей такого ранга; страх перед центром, перед вышестоящим руководителем, когда шла речь о жизни и смерти тысяч и тысяч людей.

Неизвестно, пришел ли ответ С. В. Косиора; зато хорошо известно: почти никакой помощи Винницкая область не получила.

С. В. Косиор вряд ли мог чем-то реально помочь. Сталин по-прежнему упрямо игнорировал потребности голодающей Украины.

Работая над историческими изысканиями в Политическом архиве МИД ФРГ в Бонне, М. Рейман («Агент в Политбюро». К истории советской политики в 1932—1933 годах», «Страна и мир», 1985, 8—9, Мюнхен) натолкнулся на информацию, которая поступала в МИД по каналам немецкой разведки.

Особое внимание автора привлекла папка, числящаяся в архиве под названием «Информации Стойко».

«Информации Стойко» — сокращенное изложение заседаний и документов Политбюро за период с февраля 1932 по февраль 1933 года. Немецкий «Штирлиц» отличался недюжинной оперативностью: его информации поступали в разведывательные каналы уже через день после соответствующего заседания Политбюро. «Поражает, — пишет М. Рейман, — частота и систематичность информации. В течение одного года их набралось около 120».

Автору, к слову, так и не удалось открыть, кто за псевдонимом «Стойко». «Многое указывает на то, что им был кто-то из работников личной канцелярии Сталина». М. Рейман, хоть и не исключает полностью дезинформацию, считает, что донесения эти вряд ли сфабрикованы в ОГПУ.

3 августа 1932 года на заседании Политбюро выступает с докладом Молотов, только что возвратившийся с Украины.

«Внутреннее положение СССР становится вновь, — заявляет в своем докладе председатель Чрезвычайной комиссии по хлебозаготовкам на Украине, — катастрофическим...» Молотов говорил о резком падении производства в добывающей промышленности, особенно в добыче угля и выплавке металла, а также в сельском хозяйстве.

«Мы стоим действительно перед призраком голода (много ли после этого стоят разговоры о неинформированности, «незнании» центра, вышних эшелонов власти! — Б. Х.) — и к тому же в богатых хлебных районах»...

Развивая мысль о том, что, возможно, со временем придется пойти на кое-какие уступки крестьянам, вплоть до права частных лиц создавать предприятия с количеством рабочих до 50 человек, а также дальнейшее расширение сферы свободной торговли, Молотов, однако, считает, что «в настоящее время необходимо мысли о таких уступках несколько отложить, чтобы не показать слабости перед лицом давления масс»...

Рабочие крайне недовольны, а крестьяне, констатирует докладчик, «перешли к открытому сопротивлению властям и грабят имущество колхозов...».

«Сегодня уже поздно отступать. Волне крестьянского террора (читай: сопротивления насилью, произволу, надвигающемуся призраку голода. — Б. Х.) мы должны противопоставить волну красного, революционного террора... хотя мы хотим подготовить переход к «нео-НЭПу», ...партия сначала должна вновь овладеть положением».

В Политбюро не нашлось тогда никого, кто воспротивился бы идее красного террора, направленного против многомиллионного крестьянства, против народа.

Вскоре сказались последствия *твердого* курса Сталина — Молотова. Был принят пресловутый Декрет об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укрепления общественной (социалистической) собственности от 7 августа 1932 г., то есть «Декрет о пяти колосках». Так был открыт путь массовым репрессиям (выездные суды, дикий произвол буксирных бригад) и — заодно — к главному в 1932—1933 годах бескровному, «мирному» оружию красного террора — голоду.

...Позднее Постышеву все же удалось убедить Сталина прекратить выкачку хлеба, а также оставить в отдельных областях заготовленное после 1 февраля зерно, в том числе — 9 тысяч пудов — капля в голодном море — для Винницкой области.

Вопиют «смертные листы».

Рассказывают — автор побывал в Сосонке — живые.

Бабенко Килина Тодоровна, колхозница, 1907 г. рождения:

— Романенко Никита (смотри запись за 11, 12 июня 1933 г.) — наш сосед. Хата их стоит и по сей день. Сам — людоед и родители его — людоеды.

Своих детей съели — взялись за чужих. Грицько Захаревич ходил по селу с сумой, попрошайничал. Старая Тугулька — мать Никиты заманила его леденцом. Переступил порог, а она его топором. А жена Никиты Фросина ничего про то людоедство не знала. Работала в городе, домой на выходные приходит, а деточек нет.

Спрашивает старую. А та, ведьма, ей: «Умерли!» Мать

к печи, а там в горшке — детская ручка... Бросилась к соседу, тот — в сельсовет. Бабка с горшком к крольчатнику. Тут ее и схватили. Привязали к коню и... волоком — по селу. В Виннице — сестра Романенко Настя съела 4-летнего брата.

...У нас была корова. Свекор ходит в город, что-то там купит. Картошку гнилую терли, крапиву-«жаливо» варили.

Проработала в колхозе всю жизнь. Муж умер 8 мая 1988 г. Работал в кузнице, заслуженный колхозник. Сын Иван ушел на фронт в 16 лет, был танкистом. Не раз вспоминаю тех деточек соседских. Славные были девчатки, жалко их — нет слов. Куда девался Никита? Как забрали, увели — никто его больше не видел.

А Фросина вышла замуж за другого, родила двух детей, вынуждала внуков. Умерла не так давно, года четыре тому назад.

Пусть будет земля ей пухом.

Сташко Мария Алексеевна, 1919 г. рождения:

— В семье нас было семеро. Двое умерли. Бабушка умерла. Сестра все лежала, не могла ходить. А я ходила в поле. Выдавали нам черный, как земля, хлеб. Я его привязывала на спине, чтобы рукой не могла достать.

Дед, отец пухли с голода. Напротив нашего дома был ров. Что ни день в нем — новые покойники, когда два, когда три.

О Романенко Миките. Кто его знает, сколько они съели людей. Бродят дети по селу, просят хлебушка, а они заманивают. Его забрали... а родители-людоеды остались. Мы ели квасец воробьиный, разные корни, цвет акации, макухи. В колхозе высадки садили — крали. Я тоже опухла. А по соседству с Сосонкой — бункер Гитлера. Сколько там наших людей полегло — страх.

Сосонка и ставка фюрера под Винницей...

Вначале я, честно говоря, не придавал значения этому совпадению.

На Украине (немецкие колонии под Одессой, под Херсоном, на Екатеринославщине (Днепропетровская обл.) издавна, еще со времен Екатерины Второй, проживали немцы. Все они были, конечно, советскими гражданами, как их отцы, деды, прадеды — гражданами России.

В годы первых пятилеток в Харькове, Днепропетровске, Запорожье, в других индустриальных центрах появились немцы из самой Германии, как правило, инженеры, мастера высокой квалификации, работающие по найму, на договорных началах на ХТЗ, Днепрогэсе и т. д.

Одни из них сами стали жертвами, другие — свидетелями трагедии 1932—1933 годов.

Среди свидетелей оказались и сотрудники германского генерального консульства в Харькове, представительства в Киеве, других городах.

И шли донесения в Берлин.

Сообщение генерального консульства в Харькове от 30 сентября 1932 года:

«О том, насколько мало результаты (коллективизации) соответствуют ожиданиям, свидетельствует тот факт, что государственные закупочные пункты часто требуют сдачи большего количества зерна, чем его фактически собрано. Поскольку бедствующие крестьяне присваивают чужой хлеб на полях, в августе специальным декретом были введены (и осуществляются) самые суровые меры наказания, вплоть до смертной казни. (Речь идет о принятом 7 августа 1932 года Законе об охране социалистической собственности, написанном собственноручно Сталиным.— Б. Х.). Так, по заслуживающим доверия сведениям, один крестьянин, взявший с поля горсть проса (что квалифицировалось бы германским правом примерно как «кража небольшого количества съестного для немедленного употребления»), был после предварительного уведомления населения публично расстрелян на главной городской площади. Сообщают, что в одном районе с немецким населением приведены в исполнение 34 смертных приговора. Хищение початка кукурузы грозит годом тюремного заключения. В то время как колхозы обязаны сдавать, как правило, 85 процентов намолоченной пшеницы, а 15 могут оставить себе, от крестьян-единоличников нередко требуют сдачи количества зерна, превышающего фактический сбор. Потребности в питании для семьи, корме для скота и семенном материале при этом во внимание не принимаются.

Предстоящую зиму повсюду ожидают с величайшим беспокойством и опасаются голода».

Сообщение из Киева:

«Голод на Западной Украине достиг масштабов, намного

превосходящих все местные представления о такого рода бедствиях. Почти в каждый свой выход в город я становлюсь свидетелем того, как люди падают от голода и остаются лежать на улице, не привлекая особого внимания пришедших уже к этому горожан. Показательным для нынешней ситуации является дошедшее до меня известие о том, что в одной лишь местной женской тюрьме 140 арестанток помещены сюда за доказанное или предполагаемое употребление в пищу человеческого мяса.

Между тем голод в полной мере охватил и имперских немцев этого района, особенно в сельской местности. Германское консульство ежедневно получает многочисленные прошения от подданных рейха. Это сплошной вопль о помощи и спасении от голодной смерти. Поначалу могут показаться преувеличенными рассказы об опухших от голода больных людях, взрослых и детях. Можно скептически относиться и к письменным сообщениям о «продуктах», которые вынуждены употреблять в пищу эти несчастные, чтобы хоть немного отодвинуть страшный конец. Однако потрясающие впечатления от увиденного собственными глазами и услышанного в устных беседах быстро заставляют переменить свои взгляды. Наши земляки выглядят настолько истощенными, в их словах такое отчаяние, что и без принесенных ими с собой образцов «хлеба» легко верится, что их питание состоит из толченых желудей, мякины и других зерновых отходов, картофеля, который они выискивают на полях после уборки урожая, кормовой свеклы, крапивы и древесной коры».

(Речь здесь повсеместно идет о советских гражданах немецкого происхождения, упрямо именуемых, однако, «нашими земляками», «имперскими немцами», даже «подданными рейха». — Б. Х.)

Как справедливо замечает А. Толпегин («За рубежом», № 12, 1989), донесения немецких дипломатов составлялись «не в пропагандистских целях, а исключительно для «служебного пользования», для информирования правительства. Поэтому в них вряд ли допускалось преднамеренное искажение фактов.

В свете последних публикаций близки к истине и выводы немецких дипломатов о масштабах голодного мора: район, охваченный голодом, «представляет по территории почти треть, а по числу населения — почти половину Европейской части России (Советского Союза.— Б. Х.).

На этой территории почти в каждой деревне есть случаи голодной смерти. Причем в худших районах погибло от 25 до 50 процентов населения».

И разве не стоит поразмыслить сегодня и над таким сообщением сотрудника германского посольства в Москве, эксперта по вопросам сельского хозяйства:

«Примечательно, что границы голода довольно точно совпадают с границами так называемых районов сельскохозяйственного изобилия. Именно важнейшие зерновые районы, житницы старой России, тяжелее всего поражены голодом, тогда как районы на севере и в средней полосе России, которые всегда были вынуждены жить за счет ввоза зерна из других районов, в этом году сравнительно неплохо обеспечены. Это парадоксальное явление объясняется не нарушением норм при распределении прошлогоднего урожая по географическим зонам, а тем фактом, что именно зернопроизводящие районы, имевшие наилучшие предпосылки для коллективизации, сильнее всего пострадали от грубых ошибок колхозной политики.

Причины нынешней катастрофы следует искать не в природном бедствии, то есть неурожае. Даже если, не обращая внимания на официальные и прочие данные, исходить из самых низких оценок урожая, то приходишь к выводу, что при разумном распределении его должно было бы хватить пусть не для достаточного обеспечения, но для того, чтобы избежать голодного мора.

...Остальные причины голода окутаны мраком. Объяснить их можно лишь грубейшими ошибками в организации (колхозов) и распределении (продовольствия), а также перенапряженностью хлебозаготовительных мероприятий. В голодающих районах повсеместно можно слышать мнение крестьян о том, что урожая хватило бы для пропитания и что голод вызван жестокими методами изъятия зерна.

Остается неясным, идет ли речь лишь о принимавших в последний год все более грубые формы перегибах со стороны местных органов и последствиях произвола на местах, или же следует говорить о систематическом изъятии последнего хлеба из деревни по указанию свыше (имело место и то, и другое.— Б. Х.), чтобы посредством голода

поставить крестьянина на колени и вынудить его к вступлению в колхоз.

О масштабах голодного мора трудно составить даже приблизительные данные. Да и властям едва ли известны точные цифры, поскольку многие умирают в пути и бывают похоронены без установления личности и регистрации смерти».

Сообщение из Харькова (вероятнее всего, конец мая — июнь 1933 г.):

«И в самом Харькове голод все более заметен, хотя власти стараются по возможности ограничить приток сельского населения. Повсюду можно видеть истощенных людей, многие умирают прямо на улице. Власти пытаются заботиться хотя бы о детях, но и тех уже негде разместить. На некоторых сборных пунктах число умирающих соответствует числу прибывающих. Банды молодых людей терроризируют население, совершая дерзкие кражи на рынках и в транспорте, вырывают из ушей серьги, избивают людей, причем полиция и окружающие не решаются вступить, боясь мести бандитов.

Что касается бедственного положения с продовольствием, общего настроения населения и несостоятельности правительственного аппарата, то ни разу еще за последние пять лет не отмечалось подобного упадка. Значительную часть населения ожидает неминуемая гибель, если не придет какая-либо помощь».

Декабрь 1933 года. Под белым саваном земля, миллионы безвестных могил жертв голода.

«Прикордонна зірка» перепечатывает из «Правды» передовую статью «Семнадцатый».

«Более трех лет прошло со времени последнего съезда...

И вот уже осуществлен исторический лозунг партии: «Догнать и перегнать». Побеждая в борьбе с разными «измами», «уклонами» и блоками, партия приближается к победному финалу построения социалистического общества».

Все с большим размахом ведется подготовка к съезду, где о голоде, как мы уже знаем, не будет сказано ни слова, к съезду, который сначала войдет в историю, как «съезд победителей», затем как «съезд расстрелянных».

Именно в эти декабрьские дни из германского генерального консульства (Харьков) в Берлин направляется сообщение: анализирующее главное событие уходящего года:

«За границей часто недоумевают, как на Украине с ее плодородной землей и при отсутствии явного неурожая стал возможен голод таких масштабов. Ответственность лежит на системе, которая хотела осуществить коллективизацию недостаточными средствами, преждевременно и поспешно, привела сельское хозяйство в величайший беспорядок, не учла, что кардинальное значение имел вопрос о том, пойдет ли за ней 22-миллионное крестьянское население Украины и проявит ли оно вместо укоренившихся индивидуалистских воззрений понимание и трудовой энтузиазм в отношении новых коммунистических форм хозяйствования.

...К оказываемому на сельское население нажиму со стороны партийного аппарата добавился голод. Крестьяне поняли, что от правительства не придется ждать помощи. Таким образом от них добились того, что, собрав последние силы, они тащились на поля и, насколько получалось, возделывали и убрали их. Были введены и осуществлялись строжайшие меры наказания за хищение государственной собственности — за присвоение зерна в поле. В стране не было проведено никакой акции помощи. С прежней неумолимостью звучал тезис о том, что работающий получит пропитание и только лентяям придется голодать. Крестьяне-единоличники, у которых было отобрано последнее зерно, искали работу в колхозах, которая, однако, предоставлялась им лишь на время и за низкую плату, так что по завершении уборки урожая они оставались без средств к существованию, без права, как у промышленных рабочих, на хлебное довольствие.

Жертвы, ценой которых заготовлено значительное количество зерна, просто ужасны. Даже при максимально высокой оценке значения «победы в сельском хозяйстве» для обеспечения населения продовольствием в нынешнем году эти жертвы с общечеловеческой точки зрения просто несоотносимы с тем, чего удалось достичь. Голод унес жизни миллионов украинских крестьян. Служебные данные о 7 миллионах погибших (сообщенные в доверительном порядке) нельзя считать преувеличением. Это означает, что уничтожена четвертая часть крестьянского населения — пугающая цифра даже в сравнении с числом жертв мировой войны.

...Официально голод вообще отрицался, не была оказана

помощь даже наиболее угрожаяемым районам, а заграничная помощь объявлялась ненужной или принималась со снисходительным терпением. На партии лежит тяжелая ответственность. Сопутствовавшая хлебной кампании внутриполитическая борьба показывает, насколько серьезной была ситуация и как лучшие слои отчаявшегося народа искали пути выхода из нужды, все более ухудшающегося материального положения, добиваясь устранения ошибок системы, ставших глубинными причинами этой ситуации. Исход борьбы между партией и народом еще раз продемонстрировал большое превосходство располагающей средствами государственной власти партийной организации, для которой даже миллионы жертв были вполне приемлемой ценой за окончательное включение крестьян в коммунистическую систему».

Свидетельства очевидцев (письма-мольбы о помощи родственникам, рассказы возвратившихся в рейх) просачивались на страницы немецкой прессы.

Об этом сохранились косвенные свидетельства в нашей печати. Так, в отчете о проходящем в Харькове 1-м слете учителей — ударников Украины приводятся слова представителя Пулинского национального немецкого района, некоего Досхоча:

«Немецкие фашисты распространяют клевету о том, что немцы в СССР голодают. Это ложь» («Коммунист», 15 августа 1933 г.).

Но это была не ложь...

Гитлер видел свою главную задачу в завоевании «жизненного пространства» на Востоке. «Дранг нах Остен» — краеугольный камень его политики, гитлеровской библии — «Майн кампф». Гитлер был уверен в успехе будущего предприятия, поскольку считал, что «громадная империя на Востоке созрела для развала». Можно предположить, что сообщения о голоде в СССР укрепляли его веру в скорую победу над «коLOSSом на глиняных ногах», а значит — приблизили войну, сделали в конечном счете возможным появление гитлеровской ставки под Винницей, рядом с Сосонкой.

Гитлер жестоко просчитался. Но, несомненно, голод ослабил нашу страну, убил без боя миллионы ее потенциальных воинов, менее чем за десять лет до самого сурового испытания в ее истории. Не будь голода, мы заплатили бы меньшую цену и за победу над фашизмом.

Голод на Украине, приход фашизма в Германии, война — все, несмотря ни на какие «железные занавесы», — взаимосвязано в мире.

Не в этом ли один из главнейших, архиактуальных и сегодня уроков 33-го года?

Еще одна история, поведанная нам в Сосонке под стук колес проходящих поездов Марией Алексеевной Сташко:

— Чоловік робив на залізниці. Так що все життя пройшло на залізниці. Надивилась такого, що не дай бог.

...В войну тут сапали картоплю, бачимо — на колії лежить молбдий хлопець, без чобіт, без документів. То пленний, везли в Німеччину, він тікав, застрелили. Ми його поховали. Я дала свою останню хустинку. Нею йому і накрили обличчя...

И стоит у дороги скромный памятник, что поставила после войны тому солдату Мария Алексеевна. До сих пор приглядывается она за могилкой, часто приходит сюда с внучкой...

Вспоминает всех близких, погибших на войне, и тех, из «Смертных листов» 33-го года.

ШЕСТНАДЦАТЬ ОТВЕТОВ НА ДВА ВОПРОСА

В юбилейном 6-м номере «Юности» была опубликована анкета «У нас два вопроса», где тем, кто приобрел известность в нашей общественной, политической, культурной и духовной жизни, были заданы два вопроса:

1. Что для вас последние пять лет жизни?

2. Как вы видите нашу страну в двухтысячном году?

Редакция предложила и нашим читателям откликнуться на анкету. Эта подборка составлена из наиболее ярких, концептуальных и искренних читательских писем.

1. ВУЗ, АСПИРАНТУРА, НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ... Это внешнее. Но то, что называют обновлением, я прочувствовал изнутри. Что же заставило думать, а главное — бороться? И периодическая пресса. И вечные «Повесть о жизни» Паустовского, «Завтра была война» Васильева, «Письмо незнакомки» Цвейга. И Сахаров. И пришедшая любовь. Главный итог — я стал беспрестанно сомневающимся оптимистом. По профессии я кибернетик. Дни и ночи, проведенные за компьютером в университетской лаборатории, заставили понять: написать программу мало. Я приблизился к общественной активности. Предвыборные баталии показали мне, что политика — это борьба тщеславий. Но тщеславие я рассматриваю и как двигатель прогресса. Тщеславие как раскрытие собственного «Я» не в ущерб другим должно быть прекрасно.

2. Астрологи предсказывают, что после тоталитарного XX века под знаком Сатурна человечество вступит под знаком Урана в эпоху мира и благоденствия. И я вижу 2000 год нашей страны как прелюдию к такой эпохе. «Суверенитет», «многопартийность», «рынок» — накал страстей вокруг этих терминов уйдет в историю. Все больше людей почувствуют истинную ценность свободы и гуманизма. Станут судить о политиках по голодному котенку, собаке с подбитой лапой, по ближнему своему. Во всех больших сердцах больно отзовется, приобретая первоначальный свой смысл, мысль Достоевского: ни одна идея не стоит слезы ребенка.

Но доживем ли мы до 2000 года? Все будет зависеть от того, сумеем ли победить вирус нетерпимости и бациллу апатии к происходящему. Они страшнее СПИДа.

Артур БЕЛОУС,
аспирант КГУ, Киев

1. РОДИЛАСЬ Я ТОЧНО НА ПОЛПУТИ ЗАСТОЙНЫХ ВРЕМЕН — в 1973 году. Два года назад совершенно искренне подала заявление о приеме в ВЛКСМ. А теперь считаю, что придерживаюсь скорее социал-демократических взглядов. Открывая и неприглядная ложь учебников по гуманитарным предметам, равно как и преподавателей, в сочетании с переменами в обществе принудила меня заняться самостоятельными поисками истины. Около двух лет назад я, начитавшись классиков марксизма-ленинизма, вдруг осознала, что политическая система СССР не подходит ни под одно из определений советской марксистской историографии. Начала искать объяснения. Прочитала множество книг — сомнения лишь усилились. И, сомневающаяся, я счастлива своим сомнением.

Год назад моя комната была увешана портретами Горбачева, на видном месте стояли его книги. Но I Съезда народных депутатов СССР хватило, чтобы от «горбома-

нии» осталось только уважение к Президенту моей страны.

Мне больно, что годы, в которые мы живем, стали временем невиданного всплеска насилия. И я вместе с тем счастлива, что живу именно теперь и что мне сейчас неполных семнадцать, а не, скажем, сорок.

2. В 2000 году коммунизма мы, конечно, не построим. Возможно, мы получим военную диктатуру, этого я не исключаю. Хотелось бы верить, однако, что через десять лет мы сможем создать наконец экономику, работающую не на план, а на человека, что общество наше изменится к лучшему. В 1968 году А. Сахаров считал, что к 2000 году мир сможет преодолеть все различия и противоречия, накопившиеся за долгие годы.

Ольга ТИМОФЕЕВА,
Серпухов

1. СТРАНА И НАРОД ВОЗВРАЩАЮТСЯ к здравому смыслу. Что касается меня лично, то я был и остаюсь членом КПСС, ведя борьбу внутри нее за ее обновление, демократизацию и превращение в нормальную парламентскую социал-демократическую партию. Считаю, что коммунистическое общество как конечная цель коммунистического движения не более чем религиозный призрак, лишенный здравого смысла хотя бы потому, что любое общество никогда не достигнет конечной цели: человечество ставило и всегда будет ставить перед собой новые цели, новые задачи и постоянно, безостановочно двигаться вперед. В этом смысле Эдуард Бернштейн высказал истинно гениальную мысль: «Движение — все, конечная цель — ничто».

2. Думаю, что к 2000 году из состава СССР выйдут Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан. Марксизм-ленинизм практически будет убран с путей движения нашего народа, как тормоз общественно-го и научно-технического развития, как явно утопическая, антинаучная теория. Что касается «коммунистической перспективы», то она окончательно будет выброшена за борт как утопическая «шоколадка» для неумных людей.

КПСС изменит свое название и превратится в мирную, нормальную парламентскую партию, за которую на выборах будет голосовать не более 10 процентов избирателей. Общечеловеческие, христианские, социальные и этические ценности окончательно вытеснят из одуряченного сознания народа чепуху и вздор классового подхода ко всему и вся на свете; вытеснят и коммунистические «моральные ценности», получившие наиболее яркое воплощение в образе Павлика Морозова.

Александр МАЙЗЕЛЬС,
журналист, Загорск

1. НАКОНЕЦ-ТО МОЙ НАРОД немножко облегченно вздохнул. В столице Удмуртии, два года носившей чужое имя (разве это не оскорбление народа?), «мероприятия» начали проводить и на удмуртском языке. До 1985 года даже вечера удмуртских писателей проводились на русском. Целое поколение удмуртов выросло, не изучая родной язык. Как и национальная литература, он стал просто «лишним» предметом.

В 1986 году появился первый номер детского журнала, а в июле нынешнего года — и журнал для юношества на удмуртском, создано культурное общество. Во многих школах ребята начинают изучать язык. В столице становятся традицией фольклорные вечера, куда трудно достать билет. Возрождению нельзя не радоваться.

Но в душе тревога. В парламенте республики удмуртов четвертая часть. Драмтеатр не имеет своего здания. Прославленный ансамбль песни и пляски «Италмас», эстрадный ансамбль «Шулдыр жыт» многие годы мучаются без репетиционных залов. Возьмутся ли за эти проблемы, трудно сказать. За бумагой для нового журнала, как и прежде, надо обращаться в Москву, кланяться. Вот такие права у республики.

2. Без наших рук, знаний, стараний к 2000 году каждой семье отдельную квартиру или дом никто не построит, и видеомагнитофоны Япония даром не вышлет. Счастья с небес не будем ждать. Я думаю, за десять лет мы сможем перебороть свою лень...

Ульфат БАДРЕТДИНОВ,
заместитель главного редактора
молодежного журнала «Инвожо», Ижевск

1. НЕ ПОШЛА У МЕНЯ СОВЕТСКАЯ ДИАЛЕКТИКА переизгаживания через головы. Зато метафизически я стал богаче: прочитал кучу интересных книг, по-новому взглянул на классику, и теперь ближние находят, что я стал несносен, когда за ленчем соскальзываю с наезженной талонно-дефицитной темы на Достоевского, долго и сбивчиво говорю что-то о «шигалевищине»... Понятное дело, они считают это занудством.

Я живу в провинции. Чтобы Вы знали примерно, о какой из разновидностей восточносибирских гетто идет речь, скажу, что в райцентре никогда не было автовокзала, а об автобусном расписании имеют понятие только те, кто бывает за пределами района. И среди них встречаются оптимисты; но, присмотревшись, начинаешь замечать, что в душе многие из них мрачно, «по-колбасному» ненавидят «Совдепию». И не только последние пять лет.

Я скорее пессимист. Согласен с Валерией Новодворской: у нас нет пока гражданского общества. Иначе я никак не могу объяснить себе, почему до сих пор возможны грабеж на таможне, «забывание» россиян в фактически действующую в Закавказье и Средней Азии армию. Произвол стал частью внутренней политики, и это перестает шокировать.

Былой сознательности как не бывало. Да и каково же ей, когда Центральное телевидение всеми программами ведет прицельный огонь по остаткам сомнений, таившихся в пролетарских недрах, постоянно напоминая, что американский дворник зарабатывает намного больше, чем советский академик.

2. Пока в этой стране сильны пролигачевские и нинандреевские силы, никто с ней серьезного дела иметь не будет, а без настоящей помощи цивилизованного мира Союзу еще долго барахтаться в грязи. Мы, собственно, тонем и плюем в протянутую руку. А это очень невежливо. Судя же по крепчающей на периферии «приватобозии», определенная часть людей жаждала очередного перераспределения благ...

Вячеслав ТЮРИН, 23 года,
член кооператива, избегающего
регистрации из-за бешеных налогов

1. ЕСЛИ БЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ я увидел жену какого-нибудь аппаратчика средней руки (не говоря уж о министрах и выше), давящейся в очереди за ливерной колбасой или бутылкой «Агды», я удивился бы больше, чем если бы встретил беременного мужчину.

Не меньшее удивление произвел бы и директор совхоза, разваливший хозяйство, который с горя и стыда, посыпая голову пестицидами, добровольно сложил бы с себя полномочия и отправился бы пасти ангорских коз.

Или, к примеру, дочь дипломата пошла учиться на оператора машинного доения, а сын генерала — на сапожника, или сына сапожника приняли в Институт международных отношений.

А некий высокопоставленный пресвитер заявил бы во всеуслышание, что в годы застоя он служил Антихристу.

Произожди нечто подобное в последние пять лет — я с уверенностью сказал бы, что в нашей стране произошли некие перемены. Но увы!

Новые законы — это записки в бутылках, брошенных в океан.

Управленческий аппарат — это вообще сказка: отрубишь одну голову, на ее месте вырастают три других.

Пессимизм — это последние пять лет!

2. Могу с уверенностью сказать следующее: к 2000 году мы перегоним Америку по количеству автомобилей и самолетов (угнанных), по безработице, разврату, преступности, самогеноварению и т. д. и т. п.

Николай МОНТИК,
Барановичи

1. ЭТО САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ моей жизни. Талоны у нас с этого месяца на стиральный порошок отменили. Значит, порошок я по меньшей мере год не буду покупать. Также сахар.

Держу кроликов, поэтому не давлюсь за колбасой.

2. Мне хочется, чтобы у власти был Михаил Сергеевич Горбачев.

САМОЙЛОВА, пенсионерка,
Луганская обл.

1. СЕЙЧАС ИДЕТ МЕДЛЕННОЕ И ТРУДНОЕ освобождение от гигантской лжи, пронизывающей все сферы советской жизни. Это при том, что я никогда не верила господствующей псевдомарксистской ленинской идеологии. Искусство так называемого социалистического реализма для меня никогда не было искусством в настоящем смысле этого слова. По удовлетворению элементарных потребностей для многих период застоя сейчас выглядит периодом расцвета. Мои потребности (материальные) достаточно скромны, но то, что приходится тратить целые месяцы на поиски мало-мальски приличной обуви и одежды — это свинство. Так же продолжается и грабеж трудящихся со стороны государства. За свой честный, достаточно квалифицированный и ответственный труд я получаю меньше уборщицы в метро или кооперативном туалете. За рубежом специалисты моей профессии имеют во много раз больший доход и работают в несоизмеримо лучших условиях.

И все-таки не жалею, что я здесь, а не там. На меня огромное впечатление произвел открывшийся за этот период гигантский пласт настоящей русской и зарубежной культуры, малоизвестной или совсем неизвестной. Восстанавливается множество разорванных нитей. Это дает возможность дышать свободно тем, кто способен понять и оценить... Да, сейчас очень силен кризис иллюзий и эйфорических надежд. Но это и хорошо в какой-то мере — люди учатся верить только делам. И я участвую в этом общем движении. Если я кое-чего достигну в дальнейшем, где бы я ни оказалась в близком будущем, — я благодарна этим пяти годам за то, что стала смотреть на окружающее глазами свободного человека мира, а не жителя осажденной крепости, душной и холодной, грязной, нищей и агрессивной.

2. 2000 год для России мне видится в 2 вариантах. Первый, маловероятный, хотя и не совсем невозможный (хотя и очень желанный для меня): Россия, полностью освободившаяся от «комплекса осажденной крепости», быстро богатееющая, причем богатство приходит не за счет разбазаривания леса, нефти, золота и т. д., а за счет прекращения нынешней чудовищной расточительности, за счет освобождения инициативы всех, кто еще на нее способен. Много свободных экономических зон, на равных конкурируют все виды собственности. Большинство работающих если не собственники своего предприятия, то собственники своего рабочего места, имеют часть акций и т. д. своего предприятия. Множество русских специалистов и людей искусства работает за границей на выгодных, а не кабальных, как сейчас, условиях. Наконец, перестали скучиться на культуру, образование, медицину.

Более вероятный вариант, хоть и очень горький для меня. Половинчатые реформы захлебнулись, наиболее прогрессивные руководители отстранены от власти, резко увеличивается влияние «Памяти» и подобных ей движений, остатки империи — СССР — гниют, переход к рынку обернулся только диким ростом цен и падением уровня жизни большинства людей, обогащением нуворишей. Волна бесполезных забастовок, армия под благовидными предлогами давит самые сильные и организованные из них. Все, кто может унести ноги и нужен за границей — люди искусства, ученые, инженеры, врачи, рабочие высокой квалификации, красивые женщины, — унесли ноги.

Жизнь беспощадно учит нас не быть оптимистами, но я все-таки надеюсь, что моя страна использует свой последний шанс.

Моему поколению — тем, кому в 2000 году будет 35—40 лет, — досталось уже очень сильно. Юность пришлось на конец эпохи застоя, молодость придется тратить на все тяготы перестройки, а плоды ее — если они будут — достанутся только в годы зрелости. В чем-то есть сходство у нас с «шестидесятниками», и очень горько, если наше поколение так же растопчут, как лучшую их часть.

Наталья МАШАРОВА,
Москва

Игорь ВОЛГИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ

(К урокам одного
политического процесса)

Писатель Андрей Донатович Синявский лично мне обошелся в копейку.

Уже сторговав на Кузнецком у знакомого книжного доставал только что вышедший в Большой серии «Библиотеки поэта» синий том Пастернака и предвкушая радость обладания, я был огорошен неожиданной вестью, что заранее обговоренная цена (надо ли добавлять — немалая) выросла чуть ли не вдвое. Это было нарушением правил, принятых между людьми порядочными, хотя и склонными — ввиду тиражной неадекватности государства — к подобным, не вполне одобряемым законом, неогциям.

Дело, однако, разъяснилось. Сначала слухи, а затем последовавшее вскоре их официальное подтверждение восстановили пошатнувшуюся было репутацию черного рынка. Автор предисловия к пастернаковскому тому, Андрей Синявский, вместе с другим литератором — Юлием Даниэлем были изъяты из числа наслаждающихся свободой граждан, и их дело предавалось рассмотрению Верховного суда. В свете этих событий Борис Пастернак, чье собственное не столь давнее дело было еще «притчей на устах у всех», незамедлительно вырос в цене.

«Цена метафоры» — так называется книга, где, помимо фактов, связанных со знаменитым процессом, впервые в нашей стране опубликованы тексты, ставшие в феврале 1966 года предметом уголовного интереса¹.

Но, прежде чем толковать о словесности, поговорим об отдельных словах.

«Враги коммунизма не брезгливы. С каким воодушевлением сервируют они любую «сенсацию», подобранную на задворках антисоветчины!» — этим зловещим пассажем начиналась статья Д. Еремина «Перевертыши», опубликованная в «Известиях» и призванная задать тон грядущему народному гневу.

Итак, ограничимся словарем:

«нищие духом оборотни», «предельное нравственное падение», «бездонное болото мерзостей», «грязные помои клеветы», «иудины перья», «выстрелы в спину народа», «нравственные уроды», «подонки» и, наконец, уже почти вселенское «брызжут ядом на все передовое человечество», — я, любезный читатель, выписал далеко не все.

Таковы были лексика, официальный бандитский сленг, большой джентльменский набор государственной публицистики, чье привычное одушевление по своему архетипу мало чем отличалось от громокипящих призывов 1937 года, разве что с исключением требований немедленно расстрелять обвиняемых «как бешеных псов». (Об этой упущенной возможности один выдающийся писатель намекнет несколько позже.)

Мистика состоит в том, что звуковой образ этой статьи был предвосхищен ровно за десять лет до ее появления в повести А. Терца (А. Синявского) «Суд идет», где квинтэссенция речи одного персонажа выглядит так:

¹ «Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля». М., «Книга», 1989.

«— Объективно. Логика борьбы. Колесо истории. Агенты империализма. Вспять. Кто не с нами. Окружение. В одной стране. Поистине. Объективно.

Она (героиня повести.— И. В.) подавленно молчала.

— Рьянцы, контр, ксизм-сизм-сизм.

Нцип, нцип.

Бектив.

Гуманюция. Pferd!»

Слог! О, бесподобный, незабываемый, ни на что не похожий слог советской эпохи! Вдохновенно путающий падежи, он удачно сочетал торжественный книжный пафос с мощным кухонно-бранным подтекстом, еле удерживаясь при этом, чтобы не соскользнуть в чистосердечный мат. Это был язык цветов, внятный лишь посвященным. Легкой подвижкой акцентов он сулил благоволение и немилость. Он заключал в презрительные кавычки какое-нибудь сомнительное словцо (например, «либеральный») либо приписывал к нему — в виде идеологического грузила — приставку «лже» или «псевдо». Он, наконец, просто давал понять.

В 1966 году все эти пленительные эвфемизмы значили для интеллигентного уха только одно: вранье. Еще в глаза не видав ни единой строчки Аржака или Терца, искушенный российский читатель мог извлечь в их пользу сильнейшее из доказательств — от противного.

Между тем большинство из нас не ведало о том, что Международный ПЕН-клуб спешил довести свое потрясение, вызванное арестом коллег, до сведения отнюдь не потрясенного этой вестью Союза писателей, что датские литераторы обращались к «Ее Превосходительству Екатерине Алексеевне Фурцевой» с покорнейшей просьбой употребить свое благотворное влияние в инстанциях, «от которых зависит освобождение наших товарищей по перу» (вечный наив путающегося в советских реалиях западного интеллигента!). Франсуа Мориак, Альберто Моравиа, Пьер Эмманюэль, Генрих Бёлль, Сол Беллоу, Артур Миллер, Грэм Грин и десятки других неслабых имен значились под напечатанным в «Таймсе» письмом, где выражалась надежда, что «Советское правительство не останется равнодушным к голосу мировой общественности».

У названного правительства, однако, отношение к «мировой общественности» было весьма специфическое.

Василий Васильевич Розанов рассказывает в «Уединенном», как обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев на слова: «Это вызовет дурные толки в обществе», — остановился и — не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше.

Нет, не все традиции в России оказались утраченными: натурально, протесты были оставлены без ответов.

Но если так обращались со знатными иностранцами, стоит ли говорить о своих? Напрасно Лидия Чуковская и Владимир Корнилов в своем письме в «Известия» (тогда, разумеется, не опубликованном) мягко указывали всесоюзной газете, что «наносить публичные оскорбления людям, которые в данную минуту находятся в тюрьме и лишены возможности ответить, неблагоприятно, низко». Напрасно Александр Гинзбург, обращаясь к премьеру А. Н. Косыгину, сдержанно замечал, что сам факт рождения обвиняемых в Советском Союзе «еще не отнимает у них права на самостоятельность мышления». Напрасно Ирина Роднянская высказывала опасение (полностью потом оправдавшееся), что в атмосфере поднявшейся травли будущая судебная процедура «не более, чем пустая формальность». Все это было напрасно. Авторы упомянутых писем и еще несколько интеллигентов-одинок, отважившихся на эпистолярный протест (да не забудутся их имена!), могли бы не беспокоиться. Начальство осталось верным себе — «и на челе его» высоко не отразилось ничего».

И все же... В 1958 году, когда разворачивалась история с Пастернаком, открытое, гласное выступление в защиту уничтожаемого поэта представлялось немислимым. В лучшем случае можно было не примыкать к негодующему большинству. Спустя восемь лет, в 1966-м, несогласие было высказано явно, твердо, с неотразимой убежденностью. Это свидетельствовало о тектонических сдвигах в недрах самой системы. Слабые толчки еще не угрожали ее державной неподвижности, но источник этой подземной энергии был неистощим.

Все это, повторяю, происходило незримо для публики. На поверхности же — в полном соответствии с жанром — раскручивался знакомый «пастернаковский» боевик. Народные поэты братских республик и руководители музыкальных театров, безвестные агрономы и именитые главные режиссе-

ры — все они спешили публично заклеить двух «отвратительных клеветников» и их «пошлые, омерзительные писания», которых они, разумеется, не читали.

В еще не опубликованной у нас книге А. Синявского «Голос из хора» (она создавалась во время пребывания ее автора в мордовских лагерях) есть замечательный диалог:

«Судья спрашивает: зачем же вы, свидетельница, показываете на человека, что он стрелял, когда вы сами не видели, да и вообще вас не было в это время?»

Старушка отвечает:

— А я думала, мне пенсию дадут.

Не хочется верить, что люди, которые позволили использовать свое имя в печати (ведь не сами же они бежали на почту!), исходили из аналогичных соображений. «Пенсия» у них уже была (правда, ее могли отобрать). Я думаю, здесь действовал иной закон. Нельзя было сомневаться в моральной правоте государства. Если даже оно, государство, в чем-то и заблуждалось, эти частные неувязки были следствием некомпетентности конкретных лиц и искупались той высшей целью, ради которой стоило пожертвовать всем остальным. Но в таком случае отдельная личность должна была отказаться от своего морального суверенитета. Государство своей милостью освобождало человека от этого, часто невыносимого, груза. Оно само осуществляло нравственный выбор, великодушно позволяя остальным присоединиться к нему. И мы присоединялись — наша духовная самодисциплина была выше всяких похвал.

Цель была прекрасным языческим божеством, алчущим приношений.

«— Нельзя допустить, чтобы... Всему миру известно. Либо — либо. Пусть. Марксизм, нигилизм, наплевизм. Фракция, акция. Левацкий загиб, правый уклон. Сугубо. Требуется жертв. Великой цели. Во имя. Цель, цель, цель» («Суд идет»).

«Цели мы не знаем,— говорит восточный философ.— Позаботьтесь о средствах, цель же позаботится о себе сама».

Нельзя сказать, будто мы и раньше не догадывались, что средства нехороши. Но дело Синявского и Даниэля развеяло последние иллюзии шестидесятых годов. Эпоха завершилась, оставив в душе растерянность, недоумение, горечь.

Мы были последними романтиками советской эпохи.

Я хорошо помню смерть Сталина не только в силу грандиозности события, но и потому, что он умер 5 марта, а 6-го мне, юному пионеру, исполнилось одиннадцать лет. И хотя в большинстве из нас успела-таки побродить эта закованка, нам все же повезло: мы ухитрились родиться «на следующий день». Может быть, поэтому мое поколение в отличие от старших нас десятью годами «истинных» шестидесятников восприняло XX съезд не столь драматично. То, что для других было избавлением от кошмара, нам представлялось, как это и было объявлено, *исправлением ошибок*: привычная школьная терминология действовала успокаивающе.

Все сводилось к нарушению грамматических правил: никто не подвергал сомнению саму систему письма.

Мы были последними романтиками эпохи, ибо верили, что она вернется к своим изначальным истокам, напьется живой воды и одарит нас всех той несказанной свободой, о которой она случайно забыла — за недосугом, за неотложностью других, более важных государственных дел.

Расправа с Пастернаком нас поразила, но мы полагали, что этот досадный рецидив связан с извинительной, в общем, малограмотностью наших импульсивных вождей, хотя и совершавших время от времени опустошительные набеги на мирные прибежища муз, но, слава Богу, никого не ставящих к стенке и интенсивно борющихся за мир.

Немного сведущие в истории отечественной словесности, мы могли бы смекнуть, что если власть вступает в конфликт с поэтом, это ужасный знак прежде всего для нее самой.

В 1964 году произошла смена караула — на нашей памяти уже вторая. Целина была поднята, и космос почти покорен, но семидесятилетняя бабушка Акулина, намылившаяся к любимым внукам в братскую Польшу, по-прежнему удостоверяла в жэке, что она морально устойчива и, значит, не подведет.

Страну нельзя было подводить ни в чем. Шаг вправо, шаг влево считался попыткой к побегу, но в отличие от прежних времен охрана давала предупредительный залп.

Арест Синявского и Даниэля был заявлением о намерениях. В 1966 году стало ясно, что 1968 год с танками в Праге возможен и скорее всего неотвратим.

Что было делать? Не тем, смелейшим из нас, которые и раньше не обольщались относительно происхождения ви-

дов и не принимали Левиафана за золотую рыбку, у которой было трудное детство и которая поэтому вечно обуреваема страхом не попасться на удочку врага. Они-то знали, что исчезнут во чреве. Но большинство — и об этом надо сказать — не было готово к такой судьбе.

То, что было избрано, на первый взгляд казалось вполне пристойным и в то же время не преступающим опасных границ. Рецепт поведения был прост: не участвовать в начальственных играх, не умножать объем зла, быть профессионалом и честно заниматься своим трудом. А там — как Бог даст.

Ибо казалось: царству кесаря не будет конца. И надо было попытаться проникнуть его иным, еще не угашенным духом, дабы придать ему человеческий облик и хоть в малой мере смягчить его солдафонский нрав.

Но дано ли тоталитаризму стать просвещенным?

Герой повести Николая Аржака (Ю. Даниэля) «Искушение» говорит: «Тюрьмы и лагеря не закрыты!.. Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключенные!.. Вы думаете, это ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами. Государство — это мы».

Благородные конформисты, мы полагали, что в состоянии сохранить душу и дистанцироваться от зла. Неисполнимость задачи заключалась, однако, в том, что сами мы были внутренне несвободны.

Сорокалетние Синявский и Даниэль вышли из этого круга, ведая, что творят.

В уже упомянутой повести Абрама Терца «Суд идет» (1956-й!) ее сочинитель вместе со своими героями оказывается на просторах ГУЛАГа: он попадает туда именно за этот текст. Последняя фраза эпилога — «Мы дружно взялись за лопаты» — свидетельствовала как о знании преискуранта, так и о готовности заплатить.

Это providенциальное знание тем поразительней, что «лобная», сугубо «разоблачительная» сторона произведений Аржака и Терца как будто невелика и не идет ни в какое сравнение с нашими сегодняшними мнениями на этот счет. И те, кто, спасая писателей от судебной расправы, указывали на то, что между автором и героем есть известная разница, были абсолютно правы. Как абсолютно правы были и сами обвиняемые, терпеливо осведомлявшие Верховный суд об элементарных законах искусства и превращавшие судебные заседания в краткий литературный ликбез.

Однако может ли суд объять необъятное?

Я никогда не поверю, что председательствовавший на суде Л. Н. Смирнов искренне заблуждался относительно истинного характера руководимого им процесса. Высокообразованный правовед, вице-председатель Международной ассоциации юристов, он не мог не понимать, что деяния, инкриминируемые подсудимым, не содержат в себе состава преступления, что это средневековый процесс *о мнениях* и что предметом судебного разбирательства является здесь не «антисоветская агитация и пропаганда», а нечто совсем иное.

Сейчас, возвращаясь к материалам процесса, нельзя не изумиться чудовищной негибкости власти, ее нерасчетливости, ее самоубийственной слепоте. Она предпочла завершить это дело и остаться в полном дерьме, нежели поступиться принципами. Ни угроза мирового скандала, ни охлаждение известной части интеллигенции внутри страны — ничто не могло переломить ее генетического упорства.

Нет, государство тоже ведало, что творит! Инстинктом самосохранения, этой бдительностью высшего порядка система почувствовала, что нельзя допускать прецедент. Она жидила свое благополучие на единообразии форм, на непротиворечивости истории, на ритуалах вечно расшаркивающегося перед идеологией искусства. Феномен свободной речи обесмысливал всю эту иерархию и приравнялся к национальной измене.

«Что вы! Что вы! Пустые страхи! Пастернак никому ничем не угрожает. Государство не развалится от десятка-другого изданий... — звучит в написанном уже в эмиграции романе А. Синявского «Спокойной ночи» давний московский разговор. — А как же Польша? При чем тут Польша? Прямая связь! Мы издадим Пастернака, а в Польшу на радостях разрешат независимые журналы... Дайте в России свободу творчества — и Польша отложится... За Польшей — Венгрия, Чехословакия... Вы спятили — за Восточной Европой покатысь Прибалтика!.. Украина! Кавказ не за горами... Не-ет, из-за какого-то Пастернака разбазаривать Империю? Вы этого хотите?»

Способность угадки, явленная Синявским и Даниэлем

и в полной мере обнаружившаяся спустя десятилетия, не кажется столь необъяснимой, если вспомнить, что оба писателя даже в своих фантастических допущениях исходили из прекрасно известных им реалий советской жизни. И изга в повести Н. Аржака «Говорит Москва» (1961) при подведении итогов Дня открытых убийств, в течение которого каждый получал законное право рассчитаться с теми, кто лично ему не по душе, выясняется, что наибольшая резня случилась в Нагорном Карабахе, а в Прибалтике, к удивлению, «никого не убили» (какое обстоятельство вызвало понятную озабоченность центра), то эта «устаревшая» информация заставляет нас несоло усмехнуться.

А. Синявский оказался провидцем еще в одном отношении.

Литературовед Зоя Кедрина, коллега Синявского по Институту мировой литературы (ИМЛИ) и на процессе его общественный обвинитель (я не оговорился, читатель), писала в «Литературной газете», что «предельная запутанность формы у Терца служит всего лишь пестрым камуфляжем для его «основополагающих» идей...» (последняя эстетическая подкачка предназначалась инстанциям, которым надлежало сорвать указанный камуфляж). «Нравственная нагота» Абрама Терца, продолжала добровольная помощница правосудия, выступает «в одежде самых различных литературных реминисценций» (нагота, выступающая в одежде!), что обличает автора как лицо, «нагло паразитирующее на литературном наследии».

«Литературное наследие» Синявский действительно знает неплохо. Но, помимо инкриминируемых ему Достоевского и Кафки (к чьим традициям он и впрямь преступно неравнодушен), я бы назвал еще не упомянутых З. Кедриной А. Платонова и М. Зощенко: их уроки, надо думать, тоже не прошли даром.

Внезапные провалы повествовательной логики (вспомним: «Ксизм-сизм-сизм... Pferd!») веселят ум и придают традиционному на первый взгляд повествованию оттенок бурлеска. Не знаю, читали ли Абрама Терца наши тогдашние молодые прозаики, но эти художественные приемы сделались нормой в «молодежной» прозе 60-х годов.

«Нормой» сделалось и другое.

Как прикажете расценить ситуацию, когда скромный велосипедный мастер одной силой психической энергии ввергает в социальное блаженство отдельно взятый город Любимов, заваливая столы колбасой и прочей сказочной снедью? Мало того — обыкновенную воду он преосуществляет в вино (вернее, в чистейший спирт), отчего любимовские жители сделались бы вполне счастливы, если бы не жуткое подозрение, закравшееся в душу наиболее нежных из них, — почему после *употребления* не наступает ожидаемое похмелье?

Напрасно гуманист-прокурор советовал обвиняемым избрать местом своих фантазий какой-нибудь древний Вавилон. Ибо и в таком случае высокому суду в полном согласии с литературоведом З. Кедриной не составляло бы труда установить, что изображающий, к примеру, вавилонскую блудницу автор «неотделим от той мерзости, в которой пребывают его персонажи».

Отечественная проза 60—80-х годов не воспользовалась мудрым прокурорским советом. Странные вещи стали твориться с ее героями — вовсе не древними вавилонянами, а все больше вполне современными ленинградцами и москвичами. Они то и дело ухали в иное пространство, обнаруживающее при этом подозрительно родные черты; из-под земли начинали бить водочные ключи; уже совершившееся время текло вспять и делало предосудительные зигзаги. Демоны, оборотни и прочая потусторонняя нечисть не без успеха заместили так и не явившегося положительного героя. Наша общая социальная ущербность требовала сублимации — хотя бы в области inferнальных грез.

Возможно, я ошибаюсь, но мне представляется, что ранние опыты Абрама Терца так или иначе соотносятся с позднейшими художественными поисками В. Аксенова и В. Крупина, А. Житинского и В. Орлова, В. Войновича, В. Пьецуха, братьев Стругацких... Во всяком случае, вернувшиеся, наконец, тексты позволяют нащупать такие пресмысленные черты.

Но, пожалуй, лучшее из написанного А. Синявским в эмигрантский период — это сравнительно небольшое эссе «Что такое социалистический реализм».

Сейчас, когда это «странное, режущее ухо сочетание» уже не вызывает тех глубокомысленных споров, которые сопровождали его возникновение и гибель, кажется почти невероятным, что тогда, в 1957 году, в пору своего позднего

мужского расцвета социалистический реализм обрел вдруг в своем собственном верховном святилище (ИМЛИ!) неприимимого оппонента, который вынес ему приговор столь сокрушительный и справедливый, что ныне, пожалуй, к нему мы не добавим ни слова.

Без нажима, в достойной академической манере автор доказывает, что универсальный метод советской литературы следовало бы именовать социалистическим классицизмом, поскольку он насквозь телеологичен и не может осуществить собственных задач, не впадая при этом в пародию или скуку.

Да, что ни говори, *всего лишь* семь лет лагерей свидетельствовали об исторической усталости власти. Простые труженики требовали наказаний покруче.

Впрочем, не только они.

Еще до начала процесса ряд зарубежных писателей обратились к только что получившему, наконец, Нобелевскую премию по литературе Михаилу Шолохову с призывом «приложить свои добрые усилия» для благоприятного решения дела Синявского и Даниэля. Процесс уже завершился, но среди имен 62 советских писателей, обратившихся к руководству страны с просьбой разрешить им взять осужденных товарищей на поруки (выход, кстати, позволявший правительству сохранить лицо), имя Шолохова не значилось.

Классик нарушил молчание на открывшемся вскоре после процесса XXIII съезде КПСС. Под бурные аплодисменты присутствующих он поведал об охватившем его стыде — нет, не в связи с произнесенным над коллегами приговором, — а потому, что в здоровом писательском коллективе отсысались слюнтая, пролившие по этому поводу несанкционированную слезу. Певец «Тихого Дона» задумчиво спросил делегатов от «родной Советской Армии», как поступили бы они, если бы в их боевых рядах оказались предатели. (Можно предположить, что вопрошающий догадывался об ответе.) «Попадись эти молодчики с черной совестью, — вдохновенно продолжал оратор, — в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием» (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни (аплодисменты)».

В те дни, когда еще длился суд, в газете «Вашингтон пост» появилась статья американского сатирика Арта Бухвальда «Просьба о помиловании». Автор пекся вовсе не о Синявском и Даниэле, чья последующая реабилитация не вызвала у него сомнений¹ («они будут отпущены... и в придачу им будет дана дача в пригороде»), его беспокоила участь их обвинителей и судей. Он просил будущих вершителей закона проявить максимум милосердия и дать этим людям не более 4—5 лет, а литераторов, помогавших суду на добровольных началах, проявив снисхождение, исключить из Союза писателей. Интересно, какую исправительную меру избрал бы американский шутник в отношении Нобелевского лауреата? (Замечу в скобках, что, когда позднее в очередной раз выплыл вопрос о подлинном авторе «Тихого Дона», наши сомнения, скорее всего, вовсе не основательные, сильно подкреплялись этой забываемой речью. Убежденные сошлойной скамьи в несовместности гения и злодейства, мы не могли допустить унижения первого и склонны были объяснить происшествие тайной подменой.)

Российское правосудие знает примеры, когда граждане не могли сдержать собственных чувств. 31 марта 1878 года зала Петербургского окружного суда была потрясена неистовыми рукоплесканиями: так русская публика ответила на вердикт присяжных, *оправдавших* Веру Засулич. Как далеко ушли мы, однако, в наших понятиях о зле и добре!

Если бы не ходившее по рукам письмо Лидии Корнеевны Чуковской, которая нашла в себе мужество напомнить любимцу народа, что это единственный в анналах русской культуры пример, когда требуют не «милости к падшим», а, напротив, ужесточения казни, если бы не этот спасительный для общей совести документ, кто бы сегодня мог убедительно доказать, что не все в этой стране разделяли энтузиазм кремлевского зала?

Я думаю о природе этих оваций. Я вспоминаю наши недавние съезды — с их хлопом, топом, гиканьем и свистом — и смею предположить, что в данном случае явил себя тот же менталитет.

Нетерпимость — наша родовая черта.

Андрею Синявскому крупно повезло, что «Прогулки с Пушкиным» он сочинил в Дубровлаге (и переправил на

¹ Следует заметить, что ни Синявский, ни Даниэль не реабилитированы по сей день.

волю в виде посланий к жене при эстетическом нейтралитете цензуры), а, скажем, не накануне посадки. Трудно представить подарок для следствия более драгоценный.

Действительно, можно ли не приобщить к делу: «На тонких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох».

Абрам Терц рассматривает эту гипотетическую возможность как бы в обратной перспективе. В романе «Спокойной ночи» он вкладывает в уста воображаемого следователя: «Вы почему нашему Пушкину приписали тонкие ножки? Откуда вы знаете, какие у него были ноги? Вы что, с ним в бане мылись? Да после таких слов вы просто второй Дантес!»

Еще одно предсказание сбылось — правда, на сей раз в виде фарса. Пресса эпохи гласности наполнилась бранью. Никто практически не читал «Прогулок» (несколько страниц, напечатанных в «Октябре», в счет не идут), однако как и тогда, в 1966-м, читатели (но большей частью писатели) грудью встали за честь страны.

Общий спортивный интерес не умалялся оттого, что большинство слабо представляло, о чем, собственно, кипит спор.

Тем не менее симпатии разделились. Одни брали сторону Пушкина (что всегда благородно), другие робко пытались найти смягчающие обстоятельства для его новоявленного врага. Теперь, когда, слава Богу, можно обозреть текст («Прогулки» полностью печатаются в журнале «Вопросы литературы»), изумленная публика имеет возможность убедиться, что ни тот, ни другой не нуждается в защите.

«Прогулки» Сиявского (вернее, его литературного двойника — Абрама Терца, что в данном случае немаловажно) — это именно *прогулки*, то есть для «серьезной» науки — вовсе не обязательный жанр. Жанр этот личностен и интимен, он предполагает взаимную склонность прогуливающих (именно взаимную, так как, скажем, Лев Толстой вряд ли бы взял себе подобного автора в спутники), он диктует свои правила беседы — от грустных медитативных признаний до легкой язвительной болтовни.

Цитировать «Прогулки с Пушкиным» — занятие бессмысленное. Этот текст неразложим на фрагменты: он существует только как целое и больше никак.

Заблуждение спорящих состоит, мне кажется, в том, что они поддались невольной аберрации слуха. Лукавая проза была принята за безулыбчивый ученый трактат. А ведь, помнится, нас предупреждали, что художника должно судить по законам, им самим над собою признанным. «Пушкин» Абрама Терца — это, конечно, не «Пушкин» Писанова, Бонди или Благого: с него (как и с автора) иной спрос.

«Прогулки с Пушкиным» — это сугубо лирическое событие, в пределах которого важна не только энергия «чистой» мысли, но еще более ее эстетический результат. Цель доказательств замывается мгновенной интеллектуальной догадкой, а сами они вдруг обнаруживают свою подспудную художественную природу. Объяснение (объяснение *в любви*) совершается с помощью парадоксов: неужели бы гений («парадоксов друг») со строгостью школьного учителя отверг эту выдающую тайный трепет попытку?

Кстати, о школе... Право, я бы настоятельно рекомендовал старшеклассникам терцевские «Прогулки» (разумеется, для внеклассного чтения). Они вызывают на спор и провоцируют юную мысль. Нашим бедным детям, не ведающим про «веселое имя Пушкин», эта книга открыла бы нечто сверх учебных программ. Скажут: не рано ли? Не опасно ли? Неустоявшийся вкус и т. д. и т. п. Отвечу: наши дети не идиоты, и, полагаю, они не станут раздирать на шпаргалки автора-неформала (для этой цели есть много иных прекрасных трудов). «Прогулки» пригодились бы им исключительно для собственного удовольствия — для ощущения многоликости духа, его вечной насмешливости, его мировой игры...

Разумеется, Пушкин не Хлестаков — и предпосланный книге эпиграф («Ну, что, брат Пушкин?» — «Да так, брат...» и т. д.), вроде бы толкуя о сходстве, «живет с разницы». Как хохотал бы, однако, податель сюжета над этим нелестным сближением! Уж он-то, принявший столько обличий, догадывался о бесконечном протезизме певца, вместившего в себя весь мир. И если «Пушкин наше всё», то это следует понимать буквально.

«...Двенадцатый год, — говорит Д. И. Писарев, — сделался для нас неисчерпаемым источником самовосхваления и замены всех добродетелей. Толкуют нам о взятках, а мы вспоминаем двенадцатый год... говорят о движении идей —

мы сейчас же к двенадцатому году и к Пушкину...»

Именно канонизированный и эмблематичный Пушкин как нельзя лучше приспособлен для целей корыстных, охранительных — прикладных.

В то же время можно понять не приемлющих книгу А. Сиявского и даже осудивших ее. Само собою, речь не о тех, для кого «Прогулки» стали уголовной уликой в их нелегкой гражданской борьбе (сконструированный ими Сиявский-руссофоб имеет такое же отношение к реальности, как, скажем, Сиявский-эфиопфоб). Речь идет об оппонентах серьезных, отмеченных дарованием и судьбой.

Еще задолго до появления «Прогулок» Варлам Шаламов в «Письме старому другу» замечал: «Мне кажется, что наш с тобой опыт начисто исключает пользование жанром гротеска или научной фантастики. Но ни Сиявский, ни Даниэль не видели тех рек крови, которые видели мы. Оба они, конечно, могут пользоваться и гротеском, и фантастикой».

Эти слова многое проясняют.

Существует (и всегда будет существовать) сосредоточенно-серьезное отношение к культуре, не допускающее ни фамильярности, ни панибратства, всегда помнящее о служении, молитве, посте и долге. Подобное миропонимание может превалировать не только у таких выстрадавших его людей, как А. Солженицын или В. Шаламов. Оно в конце концов зависит от многих причин. Книга А. Сиявского вряд ли может вписаться в эту систему координат. Но в культуру ведет не только торжественный и суровый храмовый вход. Не забудем про маленькую волшебную дверь в стене. Монументальность искусства не отменяет игры — эксперимента, художественного озорства (Пушкин, например, чувствовал себя как рыба в воде в разных культурных стихиях). Культура, если она культура, не страшится самоиронии — вернейшего признака, что культура еще жива.

Подозреваю, что, когда «небеллетристические» книги А. Сиявского (в том числе его блестящие эссе о Гоголе и Розанове) выйдут на родине их автора, они сильно повлияют на наши литературоведческие дела. С горечью вспомнится, что в этой области совсем нелишен литературный талант.

...Вал эмигрантской литературы, созданной на чужбине за последние семьдесят лет, сомкнулся с валом старых российских книг, забытых в своей отчизне и теперь возвращаемых из (их или нашего?) небытия. С наивностью нефитов мы полагаем, что теперь-то мы живо освоим это богатство, а значит, станем чище, духовнее и мудрей.

Однако это не так. Нация не только *поглощает* литературу, она медленно *переживает* ее. Процесс усвоения долгот, и судорожное глотание томов не гарантирует ни очищения, ни скорых прозрений. В начале века Россия имела блистательную литературу, но это никого не спасло.

В нашей общественной практике роль книги часто выполняет поступок. Он спешествует нашему духовному воспитанию, пожалуй, быстрее и радикальнее, чем иной чудесный роман. Если образ действий писателя совпадает с духом его писаний — это свидетельствует в пользу литературы.

Ни Сиявский, ни Даниэль не признали себя виновными, нарушив, как было тогда же замечено, «отвратительную традицию «раскаяния» и «признания».

«Нужно помнить, — писал В. Шаламов, — что Сиявский и Даниэль первыми принимают бой после чуть ли не пятидесятилетнего молчания. Их пример велик, их героизм бесспорен».

Бесспорно также и то, что этот поступок не прошел даром. Больше у нас в стране, несмотря на сильные искушения, метафору не осмеливались подвергать государственно-му суду.

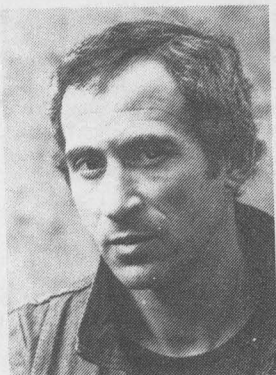
Хотя жизнь и метафора жизни (то есть литература) были уравнены в цене.

Боратынскому принадлежат строки:

Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? — точный смысл народной поговорки.

В «Голосе из хора» Андрей Сиявский, прилежный собиратель лагерного фольклора, приводит одну из них:

«Кто не рискует — тот в тюрьме не сидит».



Ефим
БЕРШИН

Напророчила снег одинокая туча-пророчица.
И московский декабрь —
словно пес у закрытых дверей.
На звящем ветру
догорает фонарь одиночества —
пожалуй, единственный
из еще не погашенных фонарей.
Я живу на десятом. По небу текут тротуары.
Подгулявшие вопли срываются с черных мостов.
И стоит постовой,
словно замок на бреге Луары,
на высоком посту охраняя влюбленных котов.
У ночного окна ожидаю случайного гостя
из далекой страны, у которой названия нет.
Отработала медь.
Возвратились деревья с погоста.
Проступил дирижер. Тишина. Начинается снег.
Я привык ко всему. И на выстрелы шеей не выгну.
Я играю с листа. И умею дороги листать.
Я привык к этой жизни.
А надо — и к смерти привыкну.
Будем водку с ней пить
и по сонной столице летать.
Прошвырнемся в ночи по Арбату,
а после — по Трубной,
И заглянем домой,
где ютятся огонь в камелке,
где тепло и светло,
где я сплю с телефонною трубкой,
разговаривающей на чужом языке.

☆☆☆

Осень. Нетоплёный лес. Похороны костра.
Кладбище. Крашеный крест,
как выражение добра.
Звук — выражение струны. Власть — выражение воли.
Я — выражение боли этой несчастной страны.

Городской пейзаж

(холст, масло)

Казалось мне, что из-под тополей,
как спутник, к фонарю стремилась урна.
Фонарь напоминал кольцо Сатурна,
лишенное Сатурна. Но абсурдно
сравнение планет и фонарей.
Все замерло. Лишь свой унылый хвост
тянул трамвай и кинолентой окон
мелькал в ночи. Цвела колючим оком
реклама фильма, прожигая холст,
подмигивая будто ненароком.
Все замерло. Лишь на краю холста
в окне, вместившем боль какой-то драмы,
сквозила жизнь
за крестовиной рамы,
как по другую сторону
креста.

Автопортрет в саду (картон, уголь)

Уже дымит кирпичная труба,
уже соседи выехали с дачи.
И снова благосклонная судьба
кривляется и воет по-собачьи.
В моем саду цветет металлолом,
гуляет ветер, с сумерками споря,
и бьет калитка крашеным крылом
не в силах оторваться от забора.

Рождение

Отрывок

Предчувствие конца. Предчувствие ухода.
Предчувствие дождей, идущих поперек
распахнутой земли. Но странная свобода
является в крови и гонит за порог.
И мне еще дано услышать запах пота,
ползущий сквозь метро в ночные поезда,
и женщину, с трудом давящую зевоту,
вести через Москву неведомо куда.
Спасибо, что с тобой сошлись мы в этом доме,
и мне дано вкусить от призрачных щедрот,
когда передо мной в мучительной истоме,
как рана, на лице зияет черный рот.
Спасибо, что Москвой еще гуляют страсти
и можно угодить в божественный обман,
и вылететь в окно, и, плавая в пространстве,
ненужною звездой пронизывать туман.

☆☆☆

Незаконнорожденный сын виноградной лозы и мула,
мимо денег и мимо времени прущий в прах,
отвалили киты, и надежда тебя обманула,
и покоится нынешний мир на своих черепах.
Посиди у огня, на щепу расщепляя поленья,
озаряя мерцающим светом последний вокзал.
И из скорости времени вычти скорость мышленья,
чтобы стало понятно,
на сколько ты опоздал.
Пусть поведает Ягве, почем черепа на рынке?
И почем Его чаша? И что в ней? И с чем ее пить?
Мы уже не умеем молиться,
но мы по старинке
на краю преисподней приходим в Его общепит.
Но и так уже ясно, что некуда больше деться,
что едва ли уже дотянем до новой весны.
Неожиданно различаю в себе младенца,
коляскающего по миру
в катафалке родной страны.

☆☆☆

Ночью тревожно кричали цикады,
плакал ребенок, натужно дыша.
Целую ночь между раем и адом
осиротело металась душа.
Целую ночь бесноватые тени
бились, и щелкал тревожно замок.
И в полудреме я видел, как стены
глухо сошлись. Но проснуться не мог.
Не получалось. На помощь позвать бы —
голоса не было, не было сил.
А за окном августовские свадьбы
пели. И ветер их шум приносил.
А за окном фонарями чадила
улица детства. По улице той
молодость, что ли, тайком уходила,
пользуясь долгой ночной темнотой.
Или внезапно кончалась эпоха,
ключьями мрака сползая со стен.
Мне было страшно. И мне было плохо.
Я умирал без единого вздоха,
а над огромной землей между тем
буйным пожаром заря просыпалась,
и в ослепительном свете ее,
свесившись с тазика, улыбалось
свежестиранное белье.



Нина
КРАСНОВА

☆☆☆

Как бы мне поправить
все в своей судьбе?
Где найти бы дерево
по себе?

Средь мужчин знакомых
деревьев-то полно.
Где найти бы дерево,
дерево одно?

Где найти такое бы
дерево одно,
Чтобы было выше
меня во всем оно?

Чтоб любить мужчину,
не боясь, не каюсь,
Поднимаясь до него,
а не опускаясь.

☆☆☆

К Вам бегу, как весенний ручей с горы,
Полный радостной силы и радостной детской игры.
К Вам бегу по проулку и по проспекту,
Распеваючи песню непету-неперепету.
К Вам бегу, как весенний ручей, молодая,
Установленных правил движения не соблюдая.
К Вам бегу, не взирая на прочие лица,
Чтобы с Вами, как с морем, и встретиться мне, и слиться.

☆☆☆

Я Вам пою любовный гимн!
Вы слушаете, молодец.
Я не ревную Вас к другим —
Я не Медея¹.

Я разрешаю, я велю:
Идите с кем угодно рядом.
Я никого не отравлю
Одеждой, вымазанной ядом.

Я вижу все: и то, и то,
Что глаз орлиный не заметит,
И знаю, что меня никто
В одном лице Вам не заменит.

Мне самой главной быть из всех
И век ходить у Вас в царицах:
Я Суламифь, Сапфо, Сольвейг... —
Единая во многих лицах.

г. Рязань



Эдуард
МИЖИТ

*Девоты в
"ЮНОСТИ"*

☆☆☆

Видно,
наша странная
необъяснимая
грусть
сгущает воздух
и служит хорошей опорой
для крыльев
улетающих журавлей.

Круги

Круги,
расходящиеся
от камня,
брошенного в воду,
напомнили
о других,
все теснее сжимающих
кольца
годов
вокруг моего
горла,
подобно орлу,
спускающемуся
к жертве
в центре спирали
его полета.

Тень

Утром
тень смерти
была впереди
и убегала от меня.
В полдень
она исчезла.
Вечером —
погналась за мной,
чтобы ночью
мне прыгнуть на спину.

г. Кызыл

¹ Античная героиня Медея отравила свою соперницу, надев на нее корону, пропитанную ядом.

Виктор ЛИПАТОВ

СЧАСТЬЕ И ТРАГЕДИЯ РУССКОГО ГОФМАЛЕРА

Эпоха, как корабль, спущенный со стапелей, устремлялась в неизвестное. Ветер перемен наполнял паруса. У штурвала стоял Петр Великий.

Дубинка и кнут подгоняли эпоху.

Эпохе необычайно трудно противиться, но еще труднее идти с ней в ногу.

Петру, как и всякому тирану, нужны были не свободно размышляющие люди, а умные и толковые «помощники». Иван Никитин также был одним из птенцов гнезда Петрова. Благодаря таланту своему, но и по воле царской («...дабы знали, что есть и из нашего народа добрые мастера») постигал он живописное мастерство. Писал из Флорентийской академии: «Мы здесь... не учиняем от себя позора и бесчестия, но пребываем непрестанно в учении...»

Петр жаловал его; когда готовился проект о создании Академии художеств, то именно Никитина хотели «В профессоры... живописи определить...». Никитин, как и подобает подданному, слуге царскому, самодержца чтит. И часто сопровождал. Гладко выбритый, в кафтане черного сукна; в камзоле, шитом золотом; с кортиком у пояса — мало чем отличался он от офицеров из царского окружения.

Люди времени временны. Бессмертная кисть мастера запечатлевает их облик и возвращает к жизни. Они современники, но как разные, как неожиданно противоположны. Эпоха их лепит, как глину, но и в их руках из глины эпохи рождается нечто совершенно непохожее.

Гавриил Иванович Головкин легок, изыщен, достаточно уверен в себе. Портрет не говорит, что перед нами дальний родственник Петра, приближенный к нему, человек весьма богатый и «скарденный», с характером скверным. Но видим мы, как стремится он упориться, как желает узнать мгновенно, оценить ситуацию и тотчас решить: приспособиться или противодействовать, поддержать или парировать. Видимо, бесстрастно скользит он среди событий, печать холодной приветливости лежит на устах. Вытянутое, слаженное лицо, обрамленное длинным французским париком, исполнено настороженного внимания; рука безмятежно-нervно теревит голубой муар Андреевской орденовой ленты. Шестидесятилетний Головкин — высокопоставленный чиновник, известный аккуратист и педант, государственный канцлер, дипломат: «заключил 72 трактата с разными правительствами».

А двадцатилетний Сергей Григорьевич Строганов — человек совершенно иного склада. Художник создает образ эпикрействующего рыцаря. В кокетливо-неестественном повороте возникает этот баловень судьбы. Поворачивается к свету и позволяет любоваться собой. Превосходство приветливости разлито по пухлощекному бледному лицу, чувственные губы баюкают улыбку, под аккуратными дугами бровей спело лугает приятным ощущением радости темные глаза. Мягкий свет излучают темно-русые волосы. Латы, жабо с драгоценным камнем, массивный бархатный темно-розовый плащ через плечо дополняют портрет молодого аристократа, человека с несомненным достоинством — придворного из штата опальной принцессы Елизаветы Петровны. Перед нами не только сын своего времени, но и интеллигент, человек образованный и одаренный, знающий языки, имеющий способность к музицированию и слаганию стихов, составивший замечательную картинную галерею.

Полная противоположность первым двум — третий портрет. Загорелое лицо, розоватый отворот коричневого кафта-

на; золотые, в тени коричневатые галуны — создается впечатление, что на облике и судьбе этого человека лежат отблески зарева. Его непростая жизнь на переломе, перед роковым шагом. Одет небрежно, внешне неухожен, волосы всклокочены. Неотвязная дума тяжелой силой наполнила лицо, недоумением изогнула седую бровь, воспалила глаза. Внутрь, в глубину души, на ту муку, что в нем самом, смотрят остановившиеся совершенно темные зрачки.

Портрет не окончен... Среди многих предположений называется и имя наказного гетмана Украины Павла Полуботка, восставшего против произвола русских чиновников. «Речь была дерзка и угрожающая... Петр прервал ее...» Царь заточил непокорного гетмана в Петропавловскую крепость, где тот и погиб. С именем гетмана Полуботка связана история, которая и ныне имела свое продолжение. На сессии Верховного Совета СССР депутатский запрос гласил: де сын гетмана Яков отъез в Английский банк отцово золото в бочонке. Как возратить Украине эти деньги с чудовищно огромными процентами? Предыстория этого запроса долгая, в свое время собирался даже съезд наследников Полуботка и также пытался выяснить судьбу сокровища.

Задумчиво глядят черные глаза младшей сестры Петра, любимой сестры — Натальи Алексеевны, женщины рассудительной и добротворческой. На первом портрете она помолуже, выражение ее некрасивого лица построже и индивидуальнее. Художник передает величественность и душевный покой царственной женщины, чье объемное тело окутано розово-золотистой мантией в горностае. Одна из самых образованных женщин современности, царевна воспитывала (и, как мы знаем, не достигла успеха) сына Петра — Алексея; писала пьесы, занималась режиссурой и всячески способствовала созданию «комедийной храмины». Нездоровая полнота, замеченная художником, выдает физическое недомогание.

Благожелательно и мечтательно смотрит и двадцатилетняя Прасковья Иоанновна, младшая дочь царя Иоанна. Приветливо ее удлиненное лицо с легкой улыбкой, затаившейся в уголках губ. Красный плащ в ломких складках, глубоко декольтированное платье, переливчатая парча, драгоценная застежка придают молодой девушке особенную значительность, умеряющую свойственную ей застенчивую скромность.

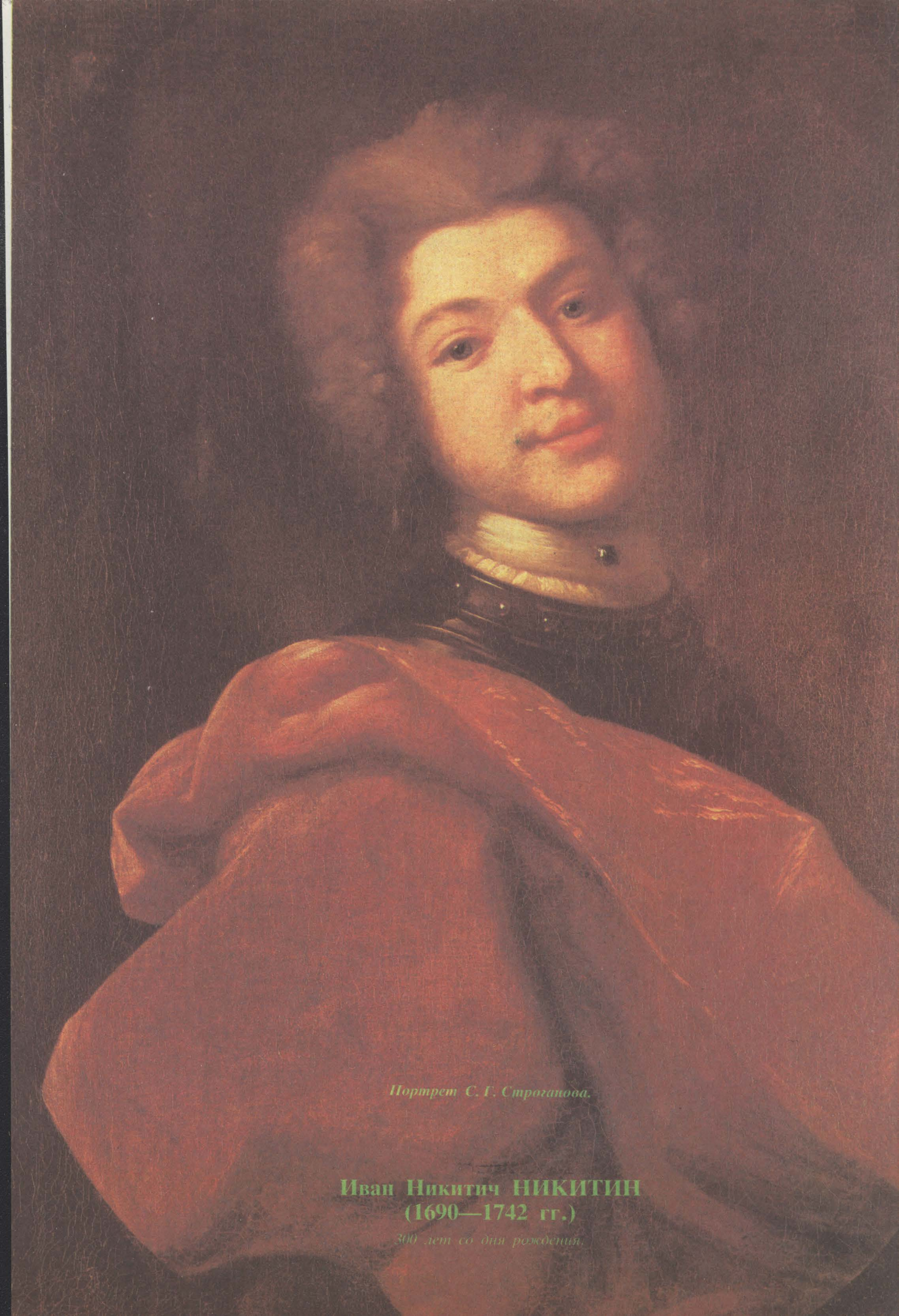
Совершенно иной характер — «прекрасная Элизавета». Восторженно-легкомысленная, бездумно-решительная. Широко раскрыты жаждущие впечатлений большие глаза. Напудрены белокурые волосы. Привычно тронуты улыбкой губы. Художник представляет нам создание с кукольным лицом, полным чувства, огня, движения и непостоянства.

Никитин был не только правдивым художником. Не только рассудительным ценителем тех или иных качеств модели. Жила в нем большая доброта к жизни и к тем, кто в этой жизни был абсолютно естествен. Портрет семилетней царевны Анны Петровны назвали «первым подлинно детским портретом в русской живописи». Безыскусственность детства, втиснутая во взрослые рамки. Девочка наряжена, как высокопоставленная дама, обвита алой мантией в горностае, прическа ее высоко построена из черных волос, но неистребимо внимательное детское простодушие и шаловливая лукавость улыбки. И совсем малая, четырехлетняя Елизавета Петровна — серьезно глядящее назирающее дитя с круглыми щечками и пухлыми губками.

Никитин и наследует парсуне, и резко порывает с ней. Живет в нем исследователь, он изучает свою модель иногда холодно и бесстрастно. Но главное — желание, чтобы изображаемый человек был и живым, и незаурядным. Художник старается избежать условности и статичности, придать фигуре движение. Стремясь писать свободно, в то же время сознательно оскультурирует фигуру, что, по его мнению, подчеркивает ее особенность в мире. Ткани, одежды, украшения второстепенны, самое выделяющееся — лицо. Свет, искусственно падающий сверху слева, ярко выделяет лицо и фигуру; иногда свет приходит к человеку, либо человек рождается в потоках света. В глазах блики, они блестя, деля глаза живыми. Плотный фон, художник еще не умеет передавать воздушное пространство. В темном фоне немота и торжественность — он не размывает, а концентрирует краски, цвет становится интенсивным и характеризует энергизапас личности.

...Единственный из русских художников, Никитин рисовал «его величества персону» с натуры, «с живства».

Он рисовал Петра победителем. В сложном, позирующем развороте Петр на фоне Гангутского сражения. Закован



Портрет С. Г. Строганова.

Иван Никитич НИКИТИН
(1690—1742 гг.)

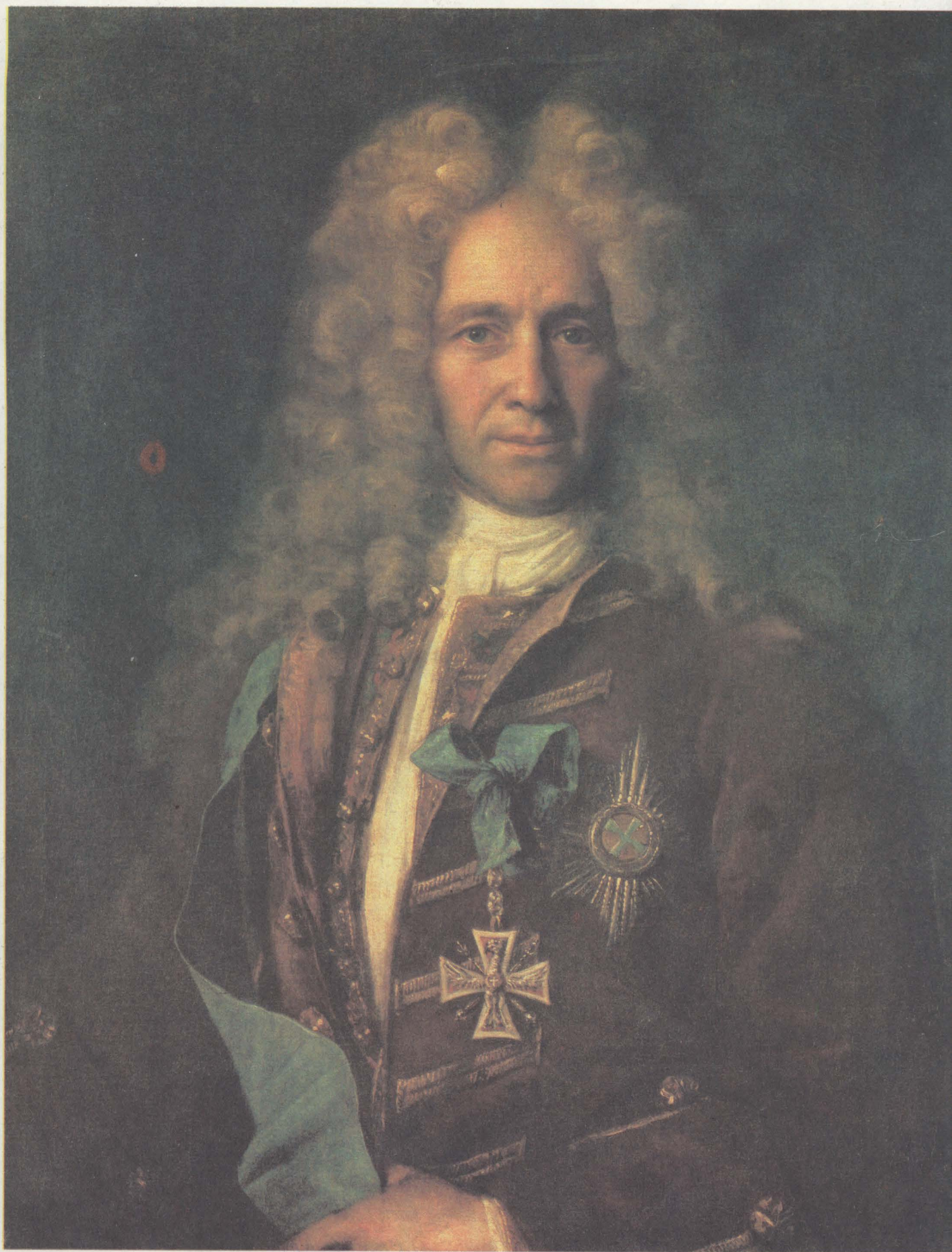
300 лет со дня рождения.



Портрет Петра I.

Портрет Елизаветы Петровны ребенком.





Портрет графа Г. И. Головкина.



Портрет наполеонов гетмана.

в вороненные темные латы, неловко повисшая рука с адмиральским жезлом укажет путь к победе. Парадный портрет со всеми наличествующими атрибутами: темно-красная мантия в горнostaях, корабельная пушка, фоном — мятущееся небо в сине-серо-розово-дымчатых облаках, корабли. Заведомая театральность, расчет на эффект. На фоне темного неба и черных волос светится сильное, молодое, исполненное удачи лицо с веселыми глазами. Петр торжествующий, уверенный в том, что «небывалое бывает».

Никитин рисовал Петра работником: «пуще бурлака работал». Портрет в овале: немолодой, очень волевой человек в довольно скромном мундире. Время явственно наложило печать на энергичное лицо: морщины, складки, отеки. Ничего царского. Лишь некоторый переизбыток многих желаний и энергий. В зрелом внимательном взгляде усталое раздумье.

Никитин ощущал в Петре одинокого человека, который и не титисит свое одиночество разомкнуть. Портрет в круге: Петр — властитель. Император. Мясистое круглощекое лицо, выпуклый лоб. Спокойная уверенность, не предвещающая взрывчатости, о которой мы хорошо знаем. Петр в ореоле власти, славы и одиночества. Петр, не склоняющийся под тяжестью ноши, но не знающий: суждено ли ему донести ее и куда? Петр, окутанный трагической ложью мнимого всесилия власти. Лишь перед смертью он с горечью признается: «Из меня познайте, какое бедное животное есть человек». Именно этот портрет императора скульптор М.-А. Колло воплотил в лице Медного всадника.

«Отдайте все...» — с трудом нацарапал Петр на грифельной доске, пальцы разомкнулись, мелок выпал. Никто никогда не узнает, кому он хотел отдать все. Никитин прощался с умершим императором и в волнении спешил занести на холст его гигантскую уснувшую фигуру. Ровный голос монаха, читавшего псалтырь, не мешал ему, но напоминал о быстротечности времени. «В вечное блаженство отыде» его властитель, его царь, столь ценивший его искусство и гордившийся им. Художник видел в Петре величие трагедии единственного, как Адам в раю, свободного человека, чьей единственной целью была могучая Россия. Для осуществления этой цели он и призвал таких, как Никитин, талантливых, расторопных, гордых своей ролью... И вот он ушел, а они остались сиротами. Но в горькую и торжественную минуту художник еще не думал об этом. Он очень спешил, не успевая вспомнить о сдерживающих и направляющих канонах премудрого искусства — живописи. Петр крепко спал, лицо его было спокойным, но напряжения не потеряло. Сквозь мучительную боль познал он и признал свою слабость, но тяжелая дума устремлений и забот все равно не оставила его.

Еще выются волосы, еще топорщатся усы. Необъятной кажется смятая постель. Петр накрыт массивной голубой царской мантией. Свет свечей скользит по полному лицу... Широкие мазки торопливо ложились на холст. Художник писал свое душевное волнение, свое преклонение перед необычайным, которое оказалось таким обыденно человеческим. Он писал портрет побежденного, понявшего это, но таковым себя не смогшего признать.

Иван Никитич Никитин — исконный москвич. Проходишь шумный торг на Тверской площади, где продают дрова и уголь, молоко и прочую жизненно необходимую мелочь; спускаешься вниз — и справа, у церкви Ильи Пророка, воздвигается уютный, крепкий, десятиоконный, его, Никитина, дом: «палаты каменные о дву апартаментах». Высокий деревянный забор; ворота, схваченные железом; калитка под навесом. На первом этаже жильцы: калачник и часовых дел мастер. Высокое каменное крыльцо ведет прямо на второй этаж. Там комнаты, обитые шпалерами, печи в изразцах: «гамбургские с ленчавтами». На стенах портреты Петра, Екатерины, Анны Петровны; гравюры, барельеф: «образ Знамения Божьей Матери». В шкафах-поставках хрусталь и серебро. Отличительная особенность — библиотека. Есть еще и «камора каменная» — мастерская с большими окнами.

Здесь Никитин жил и работал, сюда приходили гости — обедали, разговаривали, играли в шахматы. Дом был уютным и любовью, а стал болью. По невыясненным обстоятельствам, а по слухам, ввиду легкомысленного поведения Марии Маменс, юнгферы императрицы Анны Иоанновны, Никитин расстается с женой и переживает случившееся: «в глубокой печали, меланхолии, был тяжело болен».

Как всякий истинно русский человек, художник не мог мириться с засильем фаворита императрицы Бирона и его

присных, людей невежественных, алчных и превращающих власть из служения государству, как то было при Петре, в средство для личного торжества и обогащения. Он видел в правлении Анны Иоанновны опасность возврата старых времен. И то, что стал «злонамеренным лицом», частицей «дела архимандрита Радышевского», — свидетельство резкого падения политических нравов — от высоких устремлений до дворцовых интриг. А внешняя канва «дела» заключалась в том, что двоюродный брат Ивана Никитина Осип Решилов (монах Иона) был автором пасквиля на архиепископа Новгородского, вице-президента Синода Феофана Прокоповича, «Витийством Златоуста» известного проповедника и стихотворца, сумевшего оказаться полезным императрице и удержаться у трона.

Тираны и палачи пуще огня боятся печатного слова, они привольно живут в кромешности тайн. Гласность во все времена была явлением опасным, подозрительным, подрывающим устои. Иван Никитин читал переписанную подметную тетрадь (пасквиль) и хранил ее у себя в доме. Последовал донос, который учинили бывшая жена художника и ее брат, придворный муншенек Иван Маменс, явно преследуя цель — отнять дом, что у Ильи Пророка. И пробил недобрый час. За «подозрительную тетрадь», таившую в себе хулы Прокоповичу и косвенно — правящему режиму, Никитин был схвачен и допрошен. Допрашивал его сам Андрей Иванович Ушаков, начальник Тайной канцелярии, чей портрет художник прежде писал. Странное лицо. В морщинах, но еще не старое, с двойным подбородком, но не толстое. Взгляд будто доброжелательный, но одновременно холодно-отстраненный. Слово бы и улыбка, но и злорадство. И превосходство, и циничная поспешность... В одной ситуации — достаточно сильные и милые люди, на чье слово можно положиться, мнение их значительно. Но вот пошатнулись весы, произошла смена власти; новая личность появилась, от чьего произвола все зависит: жизнь, карьера, достаток. И как тряпкой по зеркалу, пыль смахнули. Где все и деваются — положение, верность, идеалы... Одно горячее желание пламенеет: выжить, пристроиться, завоевать доверие. Ради этого готовы на все. И вот здесь-то случается крепкое рукопожатие прогрессивного Феофана Прокоповича с Андреем Ивановичем Ушаковым.

Держался Никитин, очевидно, стойко, был человеком высокого достоинства, что явствует и из его писем, отправленных из Италии. Допросные листы подписывает, объясняя: «Под жестоким истязанием руку приложил Иван Никитин».

Пять лет под следствием. Одинокaя камера, бесконечные допросы. «Дело», очевидно, было преподнесено императрице как заговор группы вольнодумцев — факции. И наказание последовало суровое: «надлежит учинить наказание бить плетью и послать в Сибирь вечно за караулом». Кнутобойцы отстегали, и отправился Иван Никитин в Сибирь, через два месяца достигли Иртыша...

В Тобольске опальный персональный дел мастер написал иконостас и портрет митрополита. Лишь в 1742 году, когда императрицей стала Елизавета Петровна, дочь Петра, приходит помилование. Никитин отправляется на родину, но ссылка отняла у него последние силы, и в дороге первый русский гофмалер умирает.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!

10 рублей — и вы владелец информационного пакета о поступлении в московские вузы. Кроме военных, художественных и театральных.

В нем вы найдете:

сведения о факультетах, специальностях, экзаменах, конкурсах, общежитиях.

К информационному пакету прилагаются методические материалы с текстами экзаменационных заданий за 1989 и 1990 гг., а также условия сдачи экзаменов для продолжения учебы в университетах США.

Наш пакет информации вы можете заказать по адресу: 125190, Москва, а/я 103 — и получить его по почте наложенным платежом.

Торопитесь!!!

20

КОМНАТА

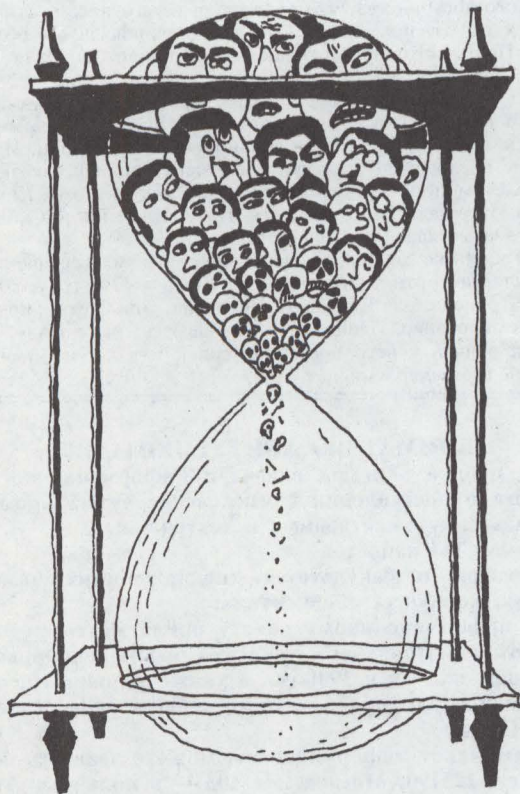
ЗАСЕДАНИЕ
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Когда-то меня ужасало, что всякое число, деленное на бесконечность, равно нулю. И вся наша земная цивилизация равна нулю в бездне пространства и времени.

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей...

Это Державин. И Тютчев:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих лишь грезой природы...

Чувство
вечности

Я сжал свой ужас в два предложения: «Если бесконечность есть, то меня нет. А если я есть, то бесконечности нет». Три месяца, не переставая, я ворочал в голове эти фразы. Мне было 20 лет. Я верил в свои силы. Я мысленно растворял все предметы в бесконечности и однажды увидел, как абажур исчез. Потом он снова возник, но я уже понял, что можно увидеть Ничто. И наконец из черноты, в которую я погружался, пришло чувство света. Раскрылось и вылилось в слова, которые я потом находил в книгах по религии и философии. Не совсем те же слова, но примерно те же идеи. Мои идеи были изобретением заново давно известных принципов. Никаких новых принципов в этой области нет, можно только заново открывать хорошо забытое. Но действительно важно и всегда по-новому важно живое чувство вечности. Ал Хамдани сказал об этом: невозможно описать, чем вкус меда отличается от вкуса сахара. Надо попробовать меду.

Четыре года спустя, к северо-западу от Сталинграда, на меня напал страх. В феврале, в первом бою, страха не было, и я не ждал его, когда всего-то надо было дойти до медсанбата и поговорить с ранеными. После повреждения нервного ствола на правой ноге меня прикомандировали к редакции дивизионной газеты. Задание простейшее. И вдруг я увидел бомбежку. Бомбили совхоз Котлубань, до которого я не дошел километра два. Никакой опасности для меня не было. Но всплыла психическая травма ранения и контузии от взрыва бомбы. И страх охватил такой, что я с трудом удержал себя, чтобы не броситься бежать куда глаза глядят. Лег на землю, а внутри все вопило: домой, к маме! Полчаса я лежал, удерживая умом панику. Наконец вспомнил и сказал себе: я не испугался бездны бесконечности, так неужели испугаюсь нескольких паршивых «хейнкелей»? Это сразу подействовало. Всплыло чувство вечности. Страх, поделенный на бесконечность, стал нулем. Когда бомбежка кончилась, я пошел в совхоз, в расположение медсанбата, и с тех пор ни разу не поддавался фронтовому страху; хотя ветерок страха испытывал и даже полюбил:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслаждения...

Теперь я рад, что всякое число, деленное на бесконечность, равно нулю. Потому что я чувствую бесконечность не вовне, а внутри себя, как Единое Целое, к которому я причастен, и в этой внутренней бесконечности, как только ее оживишь, тонет все страшное, тягостное, все раны, оскорбления, обиды. Все это единичное, и все, деленное на бесконечность, есть нуль. А остается неделимая ни на что радость.

В 1943 году мне очень много крови испортил редактор, майор Черемисин. Я его ненавидел. В конце концов весной 1944-го я подал рапорт, что прошу назначить меня комсор-

гом стрелкового батальона, и через полчаса получил назначение. Долгие четырех месяцев на этой должности не служили, так что вакансии всегда были. Комсору можно не рыть окопов (а руки у меня слабые), и поход впереди летний, раненая нога не будет мерзнуть. Был один шанс из трех, что убьют, но мне повезло: в октябре (ровно через четыре месяца) я был ранен. Из госпитали меня направили в редакцию другой дивизии (литсотрудник там взлетел на mine); таким образом, я утер Черемисину нос. И вот через 20 лет Черемисин пришел в библиотеку, увидел меня и спросил, как получить нужную ему информацию. Я был потрясен: это был тот же человек, с теми же манерами, угодливыми, если он от кого-то зависел, но я не испытывал к нему ничего. Я все помнил — но не чувством, а умом, и нужно было бы напряжение воли, чтобы накрутить на этого Черемисина то, что я чувствовал к тому Черемисину. Этому Черемисину я равнодушно-любезно дал справку.

Но внутренне я был потрясен. Потрясен тем, как совершенно до основания смыта моя ненависть, даже без всякого усилия смыть ее, простым потоком жизни, всеми взрывами любви и радости, которые я пережил за 20 лет. Прошлые обиды смотрелись на этом фоне как окурки, брошенный в океан. И потом я сознательно бросал в океан новые окурки и никогда не задерживался на «отрицательных эмоциях». Их было довольно много, но дело не в количестве и величине обид, а в вашем отношении к ним. Я как-то практически понял, что зло не имеет корней в глубине бытия; время его приносит и время уносит. Если вы не можете забыть зла, если вы чувствуете, что татарское иго до сих пор (через 600 лет) вас возмущает, если вы не можете увидеть немца и не вспомнить Освенцим, то не обманывайте себя, не сваливайте на историю. Зло целиком в вас, в вашей неспособности забыть зло. Зло нацизма было от неспособности забыть зло Версаля и т. д. в глубь веков. Гитлер собирался окончательный мир заключить в Вестфале, в память навязанного Германии мира после опустошительной Тридцатилетней войны (уменьшившей население Германии втрое). Католики Ольстера мстят протестантам, потомкам солдат Кромвеля, перебившим их дальних родственников. После серии погромов, во время которых погибло более тысячи мусульман, индийские черносотенные листки писали, что это мсть за мусульманское завоевание Гуджерата. Живой памяти зла через 50 лет, через 300, через 800 лет не было, ее сознательно вызывали, накручивали, растревляли, чтобы найти выход своей сегодняшней злости, сегодняшнему раздражению, совсем не от татарского ига, а от очередей, от хамства, от пустых прилавков, от рыночных цен и т. п. Все это действительно скверно, но еще хуже — привычка ненависти, оправдание ненависти национальными и другими святынями. Я убедился на опыте, что глубина сердца помнит только добро, и если в вас это не так — значит, вы не дошли до собственной глубины.

Я помню умом историю еврейских погромов на Украине, но никогда не вспоминал ее, слушая рассказы Петра Григорьевича Григоренко. Отношения между людьми складываются здесь и теперь. И эти отношения, основанные на любви, совершенно не допускают вмешательства народной злопамятности. Да, бывали на Украине погромы, уносившие десятки тысяч жизней. Да, участвовали «еврейские кадры» в чекистских расстрелах и в раскулачивании. Но все это история, не имеющая никакого отношения к живой встрече с тем же Григоренко, с моим фронтовым другом М. М. Шестопалом, к удивительному пониманию, которое я встретил в 1939 году в своем научном руководителе, Владимире Романовиче Грибе. Вряд ли какой-нибудь еврей так понимал мою, едва родившуюся мысль и так помогал мне избежать тупиков логики, как этот украинец.

Около 2000 лет тому назад апостол Павел сказал: несть во Христе ни эллина, ни иудея. У него на памяти, при том же Тиберии Кесаре, александрийские эллины учинили погром и вырезали, при поддержке римского легиона, 50 000 иудеев. И все же несть во Христе ни эллина, ни иудея, и общими усилиями сыновей и родственников погромщиков и жертв погрома создано было христианство.

Живое чувство внутренней бесконечности можно связывать с Христом, можно с Мохаммедом (так, как это делал Ибн Араби или Ибн ал Фарида), но главное, чтобы чувство вечности было живым. И тогда открывается простор для торжества разума.

В чем причина огромного обаяния А. Д. Сахарова? Мы непосредственно чувствовали, глядя на него в прямом эфире: в нем нет ненависти, и ненависть не помрачает его разум.

По-видимому, чувство бытия в вечности, смылающее обиды, дано было ему от природы (а может быть, еще развито постоянным созерцанием бездны Вселенной). Но этот внутренний масштаб в нем был. И приложенные к нему обиды казались пылинками.

Целые народы не находят решения спорных вопросов только потому, что разум их помрачен старыми и новыми обидами. Целые народы ведут себя, как Настасья Филипповна (в романе «Идиот»). Она настолько переполнена своим страданием, своей обидой, что втягивает в свои истерики всех окружающих и губит тех, кто ее полюбил. Я не говорю, что не было обид, не было страданий. Были. И по возможности надо устранить обиды. Но в отношениях между народами нельзя провести границ так, чтобы никому не было обидно, нельзя прийти к решениям, которые никому не будут неприятны. В Европе десятки «Карабахов»: итальянцы живут во Франции, австрийцы в Италии и даже без областной автономии. Законы защищают только личность — ее право устраивать свою жизнь и жизнь своего села, города так, как решит местная община. Остальное зависит от личности, от ее способности внутренне защищать себя от памяти старых обид. Этого по большей части достаточно. Страсти иногда вскипают, но не до карабахского накала. И даже в Ольстере насилие остается в известных рамках; не слышать, чтобы двадцать человек на глазах родителей, привязанных к креслам, насиловали девушку, а потом сожгли ее. Нет и попыток выселять людей из их домов. Борьба идет за государственный суверенитет в Северной Ирландии; действия террористов скорее война, чем погром.

Самое страшное, когда человек (или народ) признает себя страдавшими **больше всех**, страдавшими **неизмеримо**. Бесконечно страдавшему все позволено, он это знает — и позволяет. Позволяет резню в Сумгаите, в Баку, в Фергане, в Душанбе...

Мы живем, по-видимому, в самом начале мучительного процесса распада империи. В конечном счете на месте империи, основанной на силе, может возникнуть федерация или конфедерация свободных народов Евразии. Но по пути неизбежны взаимные обиды и всплывшие из прошлого старые счеты. Мы будем несчастны сами и сделаем несчастными своих детей, если не сумеем топить в вечности свои обиды и мириться со вчерашними обидчиками. Так, как А. Д. Сахаров садился за стол переговоров с теми, кто еще вчера его травил.

Сахарову это было дано. Но ничего сверхъестественного в его даре нет. Точка покоя, точка вечности есть в каждом из нас. Надо только суметь открыть ее. Для этого нужно желание и усилие. Сперва, может быть, несколько рывков, от случая к случаю, вроде моей схватки с бесконечностью в 1938 году; настолько захватившей меня, что я почти не замечал бесконечных комсомольских дел о притуплении и потере бдительности (одним из них было мое собственное персональное дело о притуплении бдительности в отношениях с отцом). Но рано или поздно надо перейти к спокойной повседневной внутренней работе, к не вмешивающемуся наблюдению за своими страстями. То есть при каждом взрыве страстей мысленно поискать точку покоя и попытаться встать на нее или хотя бы попытаться подумать, как на все посмотрел бы человек, живой или мертвый, которому удавалось то, что не удастся вам. И с этой точки взглянуть на свои страсти и увидеть, чего они стоят. Житейские страсти, идейную полемику, национальные страсти... Если вы хоть пару раз выходили на точку покоя, то возвращаться к ней — дело простое, нужно только упорное и настойчивое усилие. В конце концов это становится привычкой. И в самой привычке становится на точке покоя, прикладывая к страстям масштаб вечности укрепляется чувство вечности, связь с вечностью. И тогда не будет тоскливого ощущения пустоты жизни, затерянности, заброшенности. Даже если вы ничего великого не творите, а делаете самую обыкновенную повседневную работу. Как хорошо сказал об этом средневековый китайский поэт Пан Юнь:

Как это сверхъестественно! Как чудесно!

Я таскаю воду, я подношу дрова!

Григорий ПОМЕРАНЦ

20-я комната: В этой первой своей вступительной статье Григорий Померанц только наметил основные темы нашей новой рубрики. В дальнейшем он попытается развить каждую из этих тем. Ждем ваших откликов, размышлений, вопросов.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОРТРЕТУ

Теперь аukaются и перекликаются многие имена и события иногда неожиданно. Недавно из-за границы приезжает знакомая: «Я встретила одного крымского татарина, он сидел с нашим Габаем». — Кто таков? — «Ахметов, он на Западе недавно». Странно: я не слышал, чтобы крымские татары уезжали, особенно сейчас. А с другой стороны, с кем же Илье Габаю нашему и сидеть, как не с крымчаком, когда и взяли-то его за активное участие в их движении и судили вместе с одним из самых известных бойцов за права этого народа, Мустафой Джемилевым. Недавно включую телевизор: Мустафа. С тех пор не помолодел, конечно, но все по-прежнему складен и энергичен. Из его интервью узнали семь (!) судимостей, суммарный срок — 15 лет. Тогда с Габаем, в 69-м году, кажется, была вторая «ходка».

Недавно открываю «Юность», 3-й номер: Ахметов, тот самый. Но не татарин, а башкир. За плечами почти 20 лет срока, причем в наше время, не в сталинское. Я-то думал, что дольше Толи Марченко никто и не сидел. Читаю: автобиографический очерк, воспоминания о тюремной юности и, по сути, каторжном детстве. Хорошая проза. Вы заметили, что лагерные мемуары советских каторжников — это, как правило, хорошая проза? Волков, Шаламов... Марченко, Буковский, Делоне... Потрясающий «Одлян» Габышева. Но в очерке Ахметова ни слова о ташкентской тюрьме, ни намек о Габае. Тот ли? Недавно позвонили из редакции: тот, тот Ахметов, и вот даже имеются его воспоминания о Габае. О нашем Илье.

Мы с ним учились в Московском педагогическом в конце 50-х. Потом он учительствовал. В 67-м его впервые взяли на Пушкинской площади во время демонстрации в защиту Юры Галанского, но после отпустили: он все же был не участником, а очевидцем. Взяли же его по-настоящему в мае 69-го. В январе я был свидетелем на его суде, в Ташкенте, а в мае 72-го встречал его из ворот Лефортовской тюрьмы в Москве. А в октябре 73-го — хоронил... Следствие, суд, срок — Илья прошел через это в высшей степени достойно. Но на воле все для него сложилось как-то невыносимо...

Первое лето после лагеря (он сидел в Сибири, под Кемеровом) он отдыхал на чьей-то даче на Москва-реке. В ясный полдень я смотрел с высокого соснового берега, как Илья, бухнувшись в воду, поплыл саженками на тот берег. Прямыми руками, как палками, он поочередно хлопал по воде, поворачивая к небу слепое, без очков, отчаянное и беспомощное лицо, но хлопал сильно и старательно. Это было какое-то нелепое, но честное плавание. Преодоление реки поперек. И у меня почему-то сжалось сердце. От желания защитить и одновременно от невозможности этого.

...и спасти захочешь друга,
да не выдумаешь — как...

В октябре 73-го года Илья покончил с собой. Множество близких окружали его — а уберечь не удалось. Так называемая свобода требовала от него гораздо больше сил, чем лагерь. Если бы это был не 73-й, а 87-й...

Габай был настоящий поэт. Может быть, вернее всего о нем сказал Давид Самойлов. Он прочел его стихи и сказал: «Вы жили рядом с праведником». Проблема душевной честности, наши многочисленные самообманы, право на поступок — вот что занимало Илью более всего, и все его стихи суть бесконечные вариации на эти темы. Вопросы — ответы, вопросы — ответы... Помните, как булгаковский Мастер прошался за Космова? Бормотал, жестикулировал, горестно кивал... вот это вот горестное бормотание и есть поэзия Ильи. Космозычине праведника. Конечно, он должен был сесть в наше пусть не кровавое, но чудовищно лживое время.

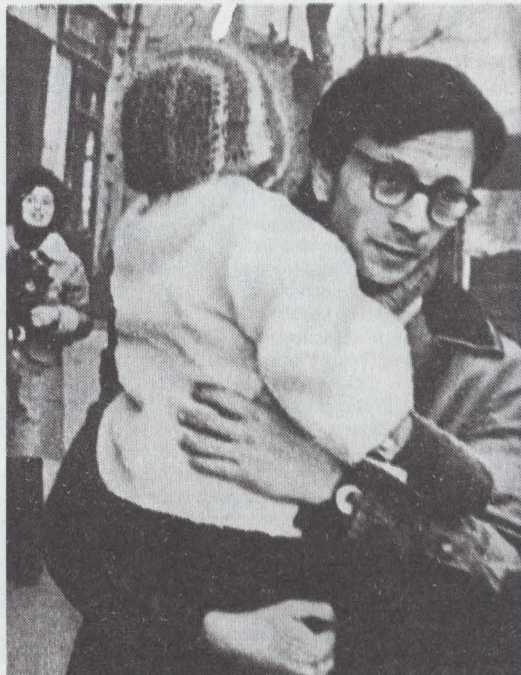
А ведь он, кроме того, что праведник, был еще и проповедник, по должности — школьный учитель. Притом он был еще и превосходный учитель, ученики его и поныне вспоминают. Он преподавал литературу, самую совестливую из всех литератур, его любимым героем был Кюхля, он и сам его напоминал, с той только разницей, что в отличие от Вили был большой любитель и мастер похотать и пошутить.

И вдруг то, что мы отвлеченно называли «годы реакции», оказалось нашей действительностью. То, что впервые постиг Павел Власов (здесь, похоже, Горький черпал из собственного опыта): слежка, арест, неправый суд, каторга, — стало нашей повседневностью, нашей! И все те причины и обстоятельства, породившие декабристов, народников, революционеров-демократов, обнаружились вокруг нас, как-то: бесправие, гнет, произвол, — а все это, по слову Пастернака,

Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

К моменту ареста его досье было уже достаточно пухлым. Масса писем протеста, написанных им и подписанных. «Хранение и распространение»... Активная помощь крымским татарам. Здесь еще была выгодная формальная зацепка: можно судить не в Москве, подальше от друзей, от близких, от иностранных корреспондентов. Габая увезли в Ташкентскую тюрьму. Там и встретились они с Ахметовым.

Юлий КИМ

Ровесник
Ташаркина

Низаметдин АХМЕТОВ

(Памяти неперестроившегося)

После обеда в жаркий июльский день 1969 года меня вернули с прогулки и велели собраться с вещами. Все определяющий в жизни арестанта приказ, чье сердце не вздрогнет, услышав его?

«Ух, предатель жареный!» — пнул меня в зад таштюрминский надзиратель напоследок, и я оказался перед зеленым «бобиком». Проворные люди в зеленой форме запихнули меня в один из двух «отстойников». Ленинградская-9 оказалась неблизко от Таштюрмы, в железном «бобике» при 55-градусной жаре показалось мне, что машину добрых полтора часа трясло на изуродованных землетрясением и строителями улицах Ташкента. Я в «бобике» один, но мне уже не хватает воздуха, я боюсь, что меня пережарят, и мне давно уже хочется руками и ногами стучать в железную обшивку, чтобы остановили машину. А каково придется тем, кто уходит сегодня из Таштюрмы общим этапом?

В Таштюрме это бывает так: начальник конвоя, веселый одессит, легко перекидывает наш возмущенный ропот. «Мужчины, — говорит он, — у меня норма 50 рыл на машину, но по состоянию климатического момента я солидарно 10 рыл скидываю. Будете по 40, просторно будет, мужчины!» — ободряет он нас. Разумеется, прислоняться голым телом к стенкам «воронка» нельзя — пузыри от ожога вскочат. Смешались все части тел: к лицу моему мягко, но крепко приткнулась мощная взмыленная задница какого-то растратчика, чахоточный блатной примостил и ноги, и свою «плёвку» прямо у тебя на шее, и, когда он отхаркивается,

ключья слюны повисают у тебя на ушах. Все нутро, кажется, вместе с желчью и калом брызжет из всех пор кожи, все купаются в собственных и общих потоисправлениях. Потерявших сознание конвой приказывает штабелевать головами к решетчатой двери, там они могут поймать глоток горячего воздуха.

«Бобик» подехал задом прямо к дверям, и меня сразу повели вниз, в подвальный этаж. Ну, приняли, значит, как это у них полагается, и отсадили в бокс-камеру, где стояла только маленькая параша с картонной крышкой. Как всегда после такой поездки, я чувствовал отвращение к себе, хотелось принять душ и переодеться. Но здесь не было даже глотка воды, и я только снял трусы, выбросил их в парашу, помочился и с брезгливостью снова надел начинающие жестенеть «хозяйские» брюки. Из куртки выделялась краска и пачкала тело, поэтому я ее просто бросил на пол. Через полчаса я обратил внимание, что моя куртка не совсем чтобы лежит, а вроде бы уже полусидит на полу, опираясь на один рукав, и, побряхтывая, медленно поднимается все выше: это она высыхала, покрываясь белым слоем соли, от которой и слышалось потрескивание. Я свернул сигарету из отсыревшей в кармане махорки и раздумывал: покурить мне сейчас или дожидаться, когда поведут в баню? Странная тюрьма, может, у них и бани нет?..

И тут вошли шмонщики: седоволосый худой старшина и молодой южанин с какими-то четвертьсержантскими лычками, третий же — собственно надзиратель — остался стоять у открытой двери.

Седой старшина, всем видом своим напрашивавшийся на кличку «41-й», — командированный с Лубянки: столица делилась опытом с провинциальными тюрьмами, и этот старшина попал в Ташкент. Так что я пришелся кстати: сейчас отличный старшина на практике продемонстрирует лубянские навыки. От нетерпения он стукнул кончиками пальцев друг о друга и приступил. В общем, ничего особенного — шмон как шмон, еще один пример того, что не надзиратель тыкает пальцем в задний проход заключенного, а инструкция. Но шмонал с вдохновением командированный москвич, вот что интересно было! Наверное, обыск был поэзией его службы, можно представить, как приятно бывает ему найти запрещенную вещь. Разломав мою последнюю спичку и расципав, как кудель, спичечную коробку, старшина начал осмотр камеры: не притырил ли я что куда? Очередь параша пришла последней. Приподняв заканпанную мочой и покрытую блестящей паутиной высохших харчков крышку, старшина оживился и позвал практикующегося провинциала: «Вы знаете, в параше может быть все. Вот видите, в пустой параше мокрые трусы, а кала нет. Впрочем, если бы был кал, это было бы еще подозрительнее». И он достал из параша трусы, осмотрел их медленно и зорко со всех сторон, то и дело поднимая их над головой и просматривая на свет; вывернул, вновь просмотрел; потом основательно прощупал привычными пальцами все швы; нахмурился, ничего не найдя, и выдал немного мокроты из трусов и попробовал ее двумя пальцами: не липкая ли жидкость? И совсем уж разочарованно он понюхал трусы и положил их в свой специальный сундучок.

Известная мне часть тюрьмы представляла собой П-образный коридор в подвале с камерами по обе стороны. Коридор застлан толстой ковровой дорожкой, надзиратели ступают по ней осторожно, пружина в коленях и ставя ногу сначала на носок, к «волчку» они прикасаются, как к взрывателю мины, отодвигая его незаметно только самую чуть, и умудряются через игольное ушко высмотреть всю камеру. Когда надзирателю надо что-нибудь от заключенного в камере, он по-кошачьи подходит к дверям камеры, нежно касаясь пальцами «волчка», всматривается внутрь несколько секунд и плавно наклоняется к «кормушке», бесшумно вставляет ключ в ее замок... Изнутри камеры кажется, что «кормушка» открылась сама по себе, но вот в ней показываются два глаза и нацеливающийся указательный палец между ними. Выбрав цель, палец останавливается и еще раз дергается в том же направлении, как дергается пистолет после выстрела. И сразу же еще дымящийся после выстрела палец надзирателя начинает делать легкомысленные и неприличные движения, загигаясь и разгибаясь. Но тому, кого так зовут, из глубины камеры палец видится крючком, уже подцепившим его. Вот жертва подтянута к «кормушке», глаза и палец исчезают, придвигается рот, и слышится шипение. Жертва совсем затосковала и готова сама запрыгнуть головой вперед в «кормушку» навстречу этому шепоту: «Собраться без вещей!» Выходит бедолага за бесшумно

открывшуюся дверь — и две бесшумные, плотные фигуры мгновенно становятся впереди и сзади него с интервалом в шаг. В ногу шагающая тройка бесшумно удаляется в конец коридора, там они повернут направо и начнется подъем по пустым лестничным пролетам в тихий кабинет следователя, где четыре часа до и четыре часа после обеда подследственный будет слышать только скрип пера следователя. Майор Бобылев бел как лунь, всем подследственным он говорит «вы», похоже, что он и 40 лет назад был таким же вежливым. Не ради пытки майор Бобылев три раза в неделю вызывает к себе подследственного и заставляет его 8 часов сидеть на вбитом в пол стульчике в левом углу, не задавая ни одного вопроса: нет, просто майор Бобылев читит порядок. И зачем майору Бобылеву беспокоить подследственного вопросами? Слава Богу, он уже пятый десяток в Органах, сам небось знает, что писать.

Скорее с облегчением, чем с удивлением, я обнаружил в камере, что там политическими и не пахнет: вор по кличке Золотяк (обокрал иностранца), народный судья из Каракалпакии — усохший старый кукнарист, от «кумара» бегавший на парашу каждые полчаса (взятка), и армейский сержант из узбеков (никому не говорил, за что сидит, но жаловался всем, что получил пощечину от сидевшего в той же тюрьме генерала Григоренко). Оказалось, что в ташкентской гебушке содержатся преимущественно «деловые люди», оказавшиеся делегатами; некоторые из них, похоже, находились не под следствием, а торговались с ним.

Кажется, это был еще июль 1969 года, когда я после очередного «разгона» камеры попал в пятую угловую, самую большую камеру в этой тюрьме. Пять коек, столик с двумя прикрепленными к полу стульчиками, посередине огромный плац — где-то под 4 квадратных метра. Высокий и тонкий юноша с тугими пружинами черных кудрей в огромных порванных шлепанцах прыгал по линолеуму, сплетя пальцы на затылке. Оглушительно хлопали шлепанцы, прыгала пустая трубка в зубах, стучали по носу большие стекла очков. И выдавшее виды черное трико. «Студент», — подумал я, когда он остановился и приветливо заблестал на меня очками. «Добрый день», — заговорил он весело. — Вам помочь занести матрац? Меня зовут Илья, а как зовут вас?»

Мы познакомились и сразу разговорились. Показалось мне, будто не в тюрьме мы, а встретились на улице и оказалось, что по пути нам. Мы так и делали: ходили по камере взад и вперед по проходу между койками и говорили. Илья был на 15 лет старше меня. «Я ровесник Гагарина», — сказал он и рассказал мне красивую и трагическую легенду о жизни и смерти этого человека. Я вспомнил легенду Ильи, когда читал «Сарторис» У. Фолкнера: судьба Баярда Сарториса потрясла меня тем, что была похожа на судьбу Гагарина. Я читал этот роман за полгода до смерти Ильи, о чем я узнал случайно в декабре 1975 года от одного политзаключенного москвича, с которым я попал в смежный прогулочный двор во 2-м корпусе Владимирской крытой. Поэтому можно понять, почему Илья Габай, Юрий Гагарин и Баярд Сарторис сошлись в легенде Фолкнера и почему после трагедии с «Челленджером» я расплакался в надзорной палате 3-го отделения талгарского спеца. Может, я заплакал от сульфазина (кто ж не плачет под ним?), а может, и оттого еще, что хотела она урок из космоса провести, — учительницей она была, как и Илья.

С ним было приятно всегда, был он чуток к изменчивому арестантскому настроению и обладал удивительным душевным тактом. С ним легко говорилось и молчалось, а как же мы смеялись с ним! Какого еще товарища можно пожелать себе в тюрьме? Не смеется шизофреник, не смеется вор в законе и дубак за дверями: все они или трудные, или просто опасные люди. «Мент угрюмый», говорят иногда про тех, на чьем лице никогда не увидишь улыбки. У Ильи был своеобразный юмор: своими шутками он ошарашивал, и смех от них находил после довольно большой паузы. Не случайно, наверное, Илья был любителем так называемых абстрактных анекдотов.

Самое скверное настроение у арестантов после подъема, именно в это время они чаще всего ругаются между собой или дерутся, и Илья иногда проделывал со мной по утрам такие шутики. Еще шатаясь ото сна и злой на весь мир, я запрокидываю свою койку, повернувшись к Илье спиной, а он вдруг говорит мне: «Хочешь, анекдот расскажу?» В 6 часов утра, когда мы еще в калсонах, такое предложение звучит как издевательство, но не успеваю я еще возмутиться, как Илья быстро рассказывает мне какую-то дикуню чушь про нильского крокодила. С минуту я стою разинув рот и ничего

не понимаю, а поняв, еще несколько минут трясусь от хохота.

Смеялись мы над начальником внутренней тюрьмы — майором, что вдоль был до плеч Илье, а поперек — как раз чтобы в двери камеры пройти, над Бровеносцем и Усом, смеялись мы и сами над собой. Вспоминаю, как, рассказывая Илье о своем «деле», я не без гордости процитировал такую фразу из самодельной листовки: «Злокачественная коммунистическая опухоль...» и т. д. в еще более чудовищном стиле. «Низаметдин, ты — жопа!» — хохотал Илье, и я хохотал вместе с ним.

Кроме нас с Ильей, в камере были еще фальшивомонетчик, армейский растратчик и молодой физик-философ, сидевший то ли за датие, то ли взятые взятки. Необыкновенно флегматичный и жирный парень он был, но сокамерником он оказался вполне терпимым, кроме того, он очень любил слушать рассказы Ильи.

Каждый день после ужина у нас был маленький праздник: Илье рассказывал. Спали мы с Ильей на соседних койках, поэтому философ садился по-узбекски, обняв руками жирные ляжки, на мою койку, а фальшивомонетчик присаживался на койку к Илье. И лишь один армейский растратчик, серьезный седой мужик с худым и строгим лицом, разыгрывал равнодушные и ходил у противоположной стенки, а сам ловил каждое слово и иногда неожиданно для нас и самого себя начинал смеяться или, удивленно крикнув, подходил к нам. Философ с достоинством пытался, но не выдерживал и фыркал, как мальчишка, а фальшивомонетчик темпераментно комментировал рассказ Ильи одним и тем же восклицанием: «Ни сбруя себе!»

Не от всех рассказов Ильи хотелось смеяться: часто рассказывал он нам и о страшном, но, о чем бы он ни рассказывал, мы слушали его всегда с охотой. Нас привлекали в нем не только его живой темперамент, остроумие и эрудиция, но удивительно демократический рассказчик он был, вот что нам в нем нравилось. В его языке встречались и народные выражения, и лагерные словечки, и вообще Илью трудно было вогнать в краску с помощью каких-нибудь сильных глаголов: напротив, в ответ он мог заглаголить так замысловато, что мы от смеха падали. В то же время он не терпел лагерных ругательств и повседневная его речь всегда была простой и ясной.

Илье не переносил скуки, поэтому мы с ним часто играли: в шахматы, шашки, домино, нарды, «шишк-беш» и добрый десяток других игр, в которые можно играть, имея домино, шахматную доску и вылепленные из хлеба игральные кости. Так как Илье было разрешено иметь бумагу и карандаш, мы с особенным удовольствием играли «в слова», таких игр Илье знал много, и одна была увлекательнее другой. Ко всем играм он относился серьезно, тщательно вел графики и подсчет очков изо дня в день. Если при утреннем подсчете оказывалось, что сегодня Илье впереди меня, он радовался как ребенок и искренне огорчался, если подсчет очков был не в его пользу. Но огорчался он ненадолго. «Сударь», — говорил он мне с вызовом, — разрешите мне дерзость победить вас сегодня во всех играх!» И поединок начинался немедленно.

Однажды Илье прочитал мне на прогулке «Сон Попова», во всяком случае, самые забавные его части. Я попросил Илью прочитать повторно и, к своему собственному и Ильи удивлению, сумел сам наизусть рассказать о приключениях советника Попова на именинах министра. Это дало нам идею: с того дня я на каждой прогулке заучивал новое стихотворение, у нас появилась новая игра. Так я впервые услышал и запомнил стихи Ахматовой, Гумилева, Заболоцкого, Кедрина, Мандельштама, Пастернака, Самойлова, Слуцкого, Цветаевой, сонеты Петрарки и Шекспира... — за исключением двух последних имен ни одно из остальных не было мне знакомо до встречи с Ильей. А ведь я получил среднее образование в русской школе и мне было уже 20.

В библиотеке узбекских чекистов было много хороших книг: русская и мировая классика, книги до- и первых послереволюционных лет издания, из каталога можно было узнать, что библиотека располагает и ПСС И. В. Сталина («з/к не выд.» — стояла против пометка). Самое главное, нас не ограничивали в книгах: кроме заранее заказанных, нам привозили еще целую тележку других книг, и проблема была лишь в том, что за 10 дней, до следующего библиотечного дня, нельзя прочитать больше 10 книг, а на двоих у нас их получалось целых 20, и если Илье удавалось прочитать свои книги да еще прихватить парочку из выбранных мной, то я больше пяти книг никогда не одолевал. Я ревниво

следил за тем, какие книги читает Илье, и иногда пробовал читать их сам. Однажды Илье захлопнул толстую книгу и, все еще находясь под впечатлением от нее, задумчиво сказал мне, что сейчас он прочитал эту книгу в третий раз. Это был «Доктор Фаустус». Если Илье читал его по третьему разу, то надо и мне разок, подумал я и стал читать. На каждой странице я был вынужден спрашивать у Ильи объяснений, эти объяснения нуждались в дополнительных комментариях, а комментарии — в примерах... В общем, и после второго прочтения я ничего не понял из этого романа, в чем и признался Илье. «Да-а, — сказал Илье, лукаво поглядывая на меня. — Если бы «Доктора Фаустуса» включили в школьную программу, ты бы без труда все понял, прочитав две страницы учебника. К счастью, к пониманию Томаса Манна можно прийти и немного по-другому...» Он попросил меня закрыть книгу и весь последний месяц, который нам еще оставалось сидеть вместе, читал мне лекции по архитектуре, истории, мировой литературе и мифологии, музыке, религии и философии.

Наверное, в наших университетах есть профессора более высокого профессионального уровня, чем школьный учитель Илье Габай. К сожалению, не пришлось мне учиться у них: не пускают их читать лекции заключенным во внутренние тюрьмы, не взрываются на старте их «Челленджеры», не улетают они с балконов и окон высотных московских домов... К счастью, я учился у Ильи Габая.

Вот еще что у нас с Ильей было: песни мы пели. Это были песни Кима, Окуджавы, Галича, таких песен я никогда не слышал и жадно запоминал их от Ильи. Песню «Мы похоронены где-то под Нарвой» мы пели, прохаживаясь по камере, как и песни «Лейб-гусары» и «Генерал-аншеф Раевский любит бомбардиров», а когда мы на два разных голоса исполняли песню «Секты есть и банды тоже и у каждой свой еврей», мы выходили на середину камеры и устраивали такой громкий театр, что у нас каждый раз случались инциденты с надзирателями. Даже маленький толстяк майор, начальник тюрьмы, и тот приходил, чтобы пристыдить нас и пугнуть заодно.

Иногда Илье писал. Только однажды поддался я любопытству и бросил взгляд на лист бумаги, что выпал из рук Ильи на пол: подавая ему лист, я увидел на ней одну лишь строчку: «Юдифь, зачем ты это сделала?» Еще был случай, когда он прочитал мне одно свое стихотворение полностью. Помню лишь, что это был сонет, заканчивающийся стихом «Нет, я не Моцарт, я — Сальери». Так что не знаю я Илью Габая-поэта, но человека Илью Габая знал. Слишком разные это слова — «человек» и «поэт». В тюрьме никто не соединяет слово «человек» с прилагательным «хороший»: разве недостаточно одного существительного? Услышав устойчивые выражения типа «хороший мент» и «хорошая сбруйня», не очень-то захочешь называться «хорошим человеком». Нет, слово «поэт» только в грамматике имя существительное, пусть останется Илье человеком.

Мы расспросались в октябре 1969 года, Илью после окончания следствия отправили в Таштюрму. Он дал мне свою рубашку и шелковую майку. В сангородке, в маленькой камере с тройными дверями и окнами за четырехслойным решетом, где 25 особо опасных рецидивистов день и ночь варили на тряпках чифир, играли в карты, жестоко дрались между собой и занимались мужеложеством, мою майку скоро реквизировали на «дрова», то есть сварили на ней чифир. Майка свободно умещалась в кулаке, но горела она жарко и долго. «Умная майка!» — радовался блатяк.

Через 18 лет я буду в Москве искать улицу Новолесную и никому не скажу, что не нашел такую улицу. Весь в предвыездных хлопотах, я не попытаюсь найти никого, о ком с таким восторгом рассказывал Илье в камере № 5 ташкентского КГБ. Москва и москвичи живут без Ильи, все спешат перестроиться, и недосуг вспоминать о тех, кто ломался, не умев перестраиваться.

Последняя попытка продолжить полет. Йокнапатофа в Миссисипи, дремучая муroma под Владимиром, девятый этаж на Новолесной в Москве...



— Он сказал, что будет очень интересно. Ну я и пошла. А потом дал 20 рублей и велел помалкивать.

— А было интересно-то хоть?

— Да нет, чего там интересного? Но ведь деньги — и за так! Делать-то ничего не надо.

Ира К., ученица 5-го класса.

В Управлении народного образования и в инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД нет статистики по несовершеннолетним проституткам. Нет статистики — нет и проблемы.

Одиннадцатилетняя Ира учится в одной из самых престижных школ Москвы. Наглаженный галстук, белые банты, открытый взгляд. Мама, папа, бабушка. Все при деле — у всех ответственная работа. Семейный портрет в интерьере. На заднем плане — видео, бархатные портьеры, экзотическая посуда и не менее экзотические подписные издания. На переднем плане — две красивые женщины: мама и дочка. Прямо картинка из журнала мод.

«У нас дешевых вещей не любят. И чем ОН старше, тем дороже можно брать». Ира стесняется слова «клиент». Сразу видно, девочка из хорошей семьи! «Я беру по-разному. Так, посмотрю на него и называю цену. Например, 100 рублей. Сначала страшно было — вдруг скажет: «Дорого!» Ни разу никто не сказал».

А ничего другого не боялась? «Раньше не боялась, а теперь боюсь. СПИДа. Мама ужасно ругалась, когда узнала. И рассказывала про СПИД».

А как же она узнала? «Да я рассказала подружке. А она — своей маме. А мама учительнице. А учительница моей маме. Но больше никто не знает». И смотрит на меня. Не бойся, я же дала слово — никому не назову твоей фамилии.

Если бы не подружка, считает Ира, никто бы ничего не узнал. Ну хорошо. А деньги? Это же большие деньги, как могли не заметить дома? Но Ира говорит, что не покупала ничего «такого», чтоб заметили. Покупала косметику, кассеты, бижутерию, пустышки всякие. Маме можно сказать, что подарила подружка. Бабушке — папа привез. Папа с бабушкой, кстати, ничего не знают. Что ж, дай им Бог никогда не узнать.

Я, откровенно говоря, в смятении, не знаю, о чем спросить, хотя вопросов — тьма. Да и язык не поворачивается спрашивать ТАКОЕ у маленькой девочки. Но все-таки, Ира, где же ты берешь ИХ? Как знакомишься? Ира смеется. Надо только выйти в ближайший сквер в короткой юбке, сесть на скамейку — вот так — ногу на ногу, и посмотреть — вот так — на прохожих. И Он тут же подойдет. А старые обычно еще и живут рядом — очень удобно. Действительно, очень удобно. Как не согласиться? «Только, — говорит девочка, — зимой холодно в короткой юбке». Ну ничего, Ирошка, время терпит, — какие наши годы, — можно и до весны подождать. Впрочем, Ира обещала и маме, и учительнице, что больше такого не будет никогда. Никогда, ни за что, ни за какие деньги. Вот только рассказывает она не в прошедшем, а в настоящем времени. Почему бы это?

— Ира, у тебя есть мальчик? Ты уже влюблялась?

С ума сойти! Она смущается: «Есть, но он об этом не

знает. Он из нашей школы, старшеклассник. Даже не смотрит на меня! А дискотеки у нас отдельно от старшеклассников». Нет, я чего-то не понимаю в этой жизни. Нормальная девочка: уроки делает аккуратно, по видео смотрит мультики (не порнографию), болтает с подружкой. Обнаружила вот возможность заработать на «всякие пустышки» сотню-другую. Главное, «удобно» и «делать ничего не надо». И не очень-то понимает, что за паника по этому поводу у взрослых — разве что СПИД?

— Ира — редкий случай. Как правило, девочки такого возраста в одиночку, самостоятельно не «работают». Или находится компания, или просто девочка постарше, которая выполняет роль импресарио: подбирает 11—12-летних красавиц, вербует, сводит с клиентами. И забирает львиную долю заработка. А бывает, и сама платит кому-то. Правда, ни с кем из организаторов мне поговорить не удалось. Они хорошо законспирированы. Если за проституцию в Уголовном кодексе статьи нет, то за совращение малолетних — пожалуйста. Но им бояться нечего — боятся девочки, работающие на них.

Женя С. о своей «старшей подружке» говорит с ненавистью и восхищением: «Она такая, такая..., как в кино показывают!» И познакомить отказывается категорически. Да и не знает Женя ни фамилии ее, ни адреса: «Велела звать Виолеттой. Убить обещала, если кому расскажешь!» Когда мама нашла у Жени деньги, девочка очень боялась сказать правду — убьют же! Но мама решила, что дочка украла эти деньги. А красть — Женя с детства усвоила — нельзя. Пришлось рассказать, что деньги честно заработаны. Но даже маме Женя Виолетту не показала. Да и неизвестно, где ее искать теперь. Она сама появилась, сама назначала время и место встречи, Женя, однажды не явившись, вышла из игры. Другие остались. Впрочем, Женя других не видела, но знает точно, что они есть.

Женина мама не захотела со мной разговаривать. Отца девочка никогда не видела — у него другая семья. А учительница, к которой мама обратилась с просьбой присматривать за девочкой в школе, считает, что эту историю лучше забыть: «Пощадите ребенка, ее и так не узнать!» А как с остальными? Их не пора пощадить? Но можно понять и маму, и учительницу. Девочка им доверилась. Предать ее?

Все началось летом 1988 года, в каникулы, когда Жене исполнилось 11 лет. Обнаружилось осенью 1989-го. За год Женя заработала 380 рублей и не потратила ни копейки. Копила на собаку. Теперь у Жени есть собака. Именно такая, какую ей хотелось. Это учительница сумела уговорить маму. Девочка теперь лишний раз из дому не выйдет — разве что с собакой погулять. Растить щенка — дело нештучное. Женя ушла в это дело с головой: «Он уже понимает, когда говоришь: нельзя!» Женя тоже понимает, когда ей говорят — НЕЛЬЗЯ! Нельзя красть, нельзя убивать, поздно домой приходиться тоже нельзя.

Я ловлю себя на мысли, что лучше бы ей быть не такой красивой. Пусть кривой, косой — куда легче было бы и ей, и маме. И традиционных понятий о том, чего нельзя делать, вполне хватило бы, чтобы быть нравственной.

Бывает и по-другому. Патологическая акселерация толкает девочек на поиски приключений. Приключений, а не заработка. Это потом уже обнаруживается, что за удовольствие еще и могут заплатить. Галя М. и Оля К. не знают друг друга. Они даже не ровесницы — Оля на два года младше. Но она, шаг за шагом, повторила Галин путь через два года, на другом конце Москвы, в другой школе, попав в конце концов к тому же самому врачу. А путь этот прост на удивление. К одиннадцати годам эти девочки очень повзрослели. Им было скучно, хотелось непонятно чего. Потом они влюбились в двух-трех мальчиков одновременно. А заодно и в учителей, и в известных артистов. А тут и мальчики начали обращать на них внимание. Учатся в одной школе, встречаются глазами на переменах. Чувствуют, что выросли. Ей одиннадцать, ему 14—15. Уроки кончаются около двух, родители приходят к семи.

Галя рассказывает: «Когда это случилось, у меня будто глаза открылись — так вот я зачем живу! Так вот я чего хочу все время!» Любовь? Возможно. Только с тем самым мальчиком все эти возвышенные чувства не связывались. Какая разница — этот или другой? Главное, наполнить жизнь до краев: ожиданием, радостью, острыми ощущениями. А что? Не уроками же. Не пионерскими же линейками и сборами макулатуры. Это не жизнь — прозябание. Жизнь начинается потом, с последним звонком...

Нана, Тетчер и Я.



«Уважаемая редакция!

Сначала представляюсь: меня зовут Кузнецова Маша, мне 15 лет, и я учусь в 8-м классе 525-й школы Ленинграда с углубленным знанием английского языка.

Обратиться к вам меня побудили следующие обстоятельства.

11 июля 1988 года я приняла участие в организованном Би-Би-Си прямом радиотелефонном контакте с премьер-министром Великобритании г-жой Маргарет Тэтчер. Советские слушатели могли задавать вопросы по телефону и тут же получать ответы по радио. Я задала вопрос о возможности расширения обмена школьниками между нашими странами и сказала о том, что наша семья с радостью примет мою сверстницу из Англии. Она могла бы погостить у нас и познакомиться с достопримечательностями одного из красивейших городов мира. Мой вопрос получил резонанс. И дальнейшие события развивались так.

В сентябре 1988 и в январе 1989 года я получила два письма от Маргарет Тэтчер, в которых она предложила дать ей знать через посла в Москве, если я поеду в Англию, и пригласила посетить ее резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Вместе со вторым письмом от Маргарет Тэтчер посольство Великобритании в Москве переслало мне письмо 15-летней английской школьницы Харриет Бейкер, которая хотела бы посетить СССР, чтобы попрактиковаться в русском языке. В нем говорилось также, что ее семья готова принять меня летом.

У нас с Харриет завязалась переписка, и наша семья вскоре начала оформлять необходимые документы для ее приглашения в Ленинград.

В апреле прошлого года я неожиданно получила официальное приглашение посетить Англию от газеты «Санди экспресс». Газета взялась организовать встречу с г-жой Тэтчер и брала на себя все расходы по поездке.

25 июня мы с мамой вылетели в Англию и провели там ровно неделю. Это было неповторимо чудесное, но трудное и ответственное для нас время. Англичане подготовили сверхнасыщенную программу и взяли на себя все расходы.

28 июня я посетила резиденцию премьер-министра Великобритании и не забуду этот день всю оставшуюся жизнь. Репортаж об этой встрече показал телевидение, но наиболее подробно о ней написала «Санди экспресс». Фотография Маргарет Тэтчер, встречающей меня у входа в резиденцию, была помещена на первой полосе газеты.

На следующий день нас с мамой доставили на север Англии, в город Рептон, где живет семья Бейкеров. Местная печать освещала эту встречу и подчеркивала, что Харриет в ближайшее время приедет в Ленинград.

Но последующие события показали, как мы были наивны...

2 июля мы вернулись в СССР и стали готовиться к встрече моей английской подруги. Она надеялась прилететь 16 июля, чтобы к середине августа вернуться домой. Ради поездки Харриет отказалась от каникул во Франции, куда выехала ее школа.

Мы очень надеялись, что в данном случае ОВИР работает быстро. Но не тут-то было. За один день мои родители заполнили и заверили анкеты, получили все необходимые подписи, но документы приняли только три недели спустя, когда на них появилась гербовая печать и личная подпись начальника милиции Ленинграда генерала Воинина.

Все это казалось мне очень странным. Если начальник Главного управления внутренних дел читает такого рода рапорты и характеристики, когда он успевает руководить борьбой с растущей преступностью?..

Наши документы и анкеты Харриет скрупулезнейше изучались «где надо» ровно один месяц и шесть дней. Ответственнейшие и компетентнейшие люди, только что милостиво отпустившие нас в Англию, теперь насупив брови решали: а можно ли впустить в СССР 15-летнюю девочку? Наконец решили, что можно. Но, пригласив нас для получения официального бланка 25 июля, нам выдали документ, подписанный начальником ОВИРА... 19 июля.

В тот же день я отправила приглашение Бейкерам почтой, именуемой «экспресс». Скорость этот «экспресс» развил фантастическую и, видимо, Англию проскочил. Иначе непонятно, почему 16 августа Харриет письмо наше еще не получила. Так что ее приезд в Ленинград до начала учебного года был просто-напросто сорван. Сорван нарочно, теперь и в этом не сомневаюсь нисколько...

Наша семья невольно оказалась в большом моральном долгу перед семей Бейкеров. Ведь мы, сами того не желая, сорвали их планы на лето.

От стыда я готова провалиться сквозь землю! Что мне теперь делать?

Маша КУЗНЕЦОВА,
г. Ленинград

22.9.89».

Ленинград встретил колючей осенней сыростью, дождем, пестрыми фотографиями Хулио Иглесиаса и плакатами «Творческий вечер: А. Солженицын. Жизнь. Творчество».

Мы прогуливались с Машей по мокрому парку. Возбужденно сверкая глазами, она взахлеб рассказывала о чудесах, сказочно выпавших на ее долю.

— Где мы с мамой только не были! Вестминстерское аббатство, Трафальгарская площадь... Тауэр... Выставки, вернисажи... Мы катались и бродили по вечернему Лондону в сопровождении переводчика. Столько новых друзей нам помогли... Но Харриет... Меня до сих пор просто трясет от бессилия...

— Но в таком случае почему так легко отпустили в Англию тебя?

— ?! А кто вам сказал, — Маша удивленно вскинула глаза, — что это было легко?..

В январе Маша получила письмо от Маргарет Тэтчер. «Дорогая Маша! — писала премьер-министр. — Мое приглашение по-прежнему в силе. Если поедешь в Англию, добро пожаловать в мою резиденцию на Даунинг-стрит, 10. С уважением Ваша...»

Следом приходит письмо от репортера «Санди экспресс» Криса Логана с предложением помощи в организации поездки. Крис экстренно высылает Маше и ее отцу официальное приглашение, которое... «теряется» в пути. 8 марта — второе, но только третье, отправленное спецпочтой — с нарочным, — попадает к адресатам.

Между тем почтовые «странности» продолжались: сперва Кузнецовы стали вдруг нечаянными обладателями и тех двух, «канувших было в Ла-Манш» приглашений, затем загадочная круговорот с анкетами. Для получения въездных виз анкеты путешествовали «из Петербурга в Москву» — день в день — двадцать и двое суток, зато уведомление об их доставке «молниворвало» за три дня...

Но, как показали дальнейшие события, и это не все. Перед оформлением въездных документов Александру Кузнецову, сторожу вневедомственной охраны домостроительного комбината, потребовалось написать рапорт на имя... начальника ГУВД Леноблисполкома.

«Не понимаю, что творится! Неужели до перестройки могло быть хуже?» — только и восклицал Крис Логан в телефонную трубку. Он звонил из Лондона каждые три дня до Кузнецовым, то в британское посольство в Москве, проявляя недюжинную настойчивость и энергию. Вчистую запутавшись в происходящем, не в состоянии понять эти «awful troubles» (ужасные препятствия), продолжал убеждать, договаривался, переносил «железные» сроки вылета, сдавал и покупал заново авиабилеты...

Но тиснет...

В конце концов Машиному отцу было безапелляционно отказано в поездке... по соображениям строжайшей «государственной секретности». Понимая, однако, что окончательный срыв поездки тоже крайне нежелателен, «органы» приняли соломоново решение: выдать загранпаспорт маме Маши — Ольге Кузнецовой. После этого британский посол в Москве лично принял Ольгу и без всяких анкет и проволок (!) тиснул в ее заграндокументе въездную визу.

Но если поездка Маши удачным стечением обстоятельств с грехом пополам удастся, то перед 15-летней английской школьницей, как перед резидентом ЦРУ, вырастает невидимая стена, пробить которую невозможно.

Непонятно, кому все это нужно? Ради чего?

С трудом прорвавшись сквозь толпы отъезжающих в Израиль — с сумасшедшими от недосыпания глазами, плачущих, топаящих ногами и истерично проклинаящих существующие порядки, — оказываюсь в кабине и. о. заведующей ОВИРа Московского района Ленинграда.

— Так... Говорить отказываюсь! — глянув на редакционное удостоверение, резко отмахнулась она. — Фамилия? Узнайте у руководства... Следующий!

— Хотя бы послушайте...

— Даже слушать не имею права! — отрезала и. о. и, пропустив мимо ушей мои уговоры, написала записку: «ул. Салтакова-Щедрина, 4, Ларионов Борис Александрович, зам. начальника Ленинградского ОВИРа» (сохраняю орфографию автора. — А. К.).

Отыскав на Салтыкова-Щедрина нужный дом, наткнулась на милиционера.

— Кузнецова Маша... Кузнецова Маша... — призадумался Борис Александрович, приняв меня с рук на руки у стража закона. — Представьте, что-то знакомое... А-а! Ну и что в отношении Харриет Бейкер? Документы рассмотрены в установленном порядке, принято решение.

— Но поздно принято. Когда каникулы у девочки кончились...

— Ну и что? Мы же не под девочку подстраиваемся, а под законодательство! Документы мы рассмотрели, принято решение, — твердил он одно и то же, нетерпеливо выстукивая пальцами какой-то военный марш. — Ну и что, что на шесть дней позже? Такого понятия «задержка» не существует. Больше нас ничего не волнует.

Это я и сам видел.

— А почему в районном ОВИРе отвечать на вопросы запрещено?

— Ну, — сказал Ларионов, — там специалисты грамотные! Мы пока еще организация... это негражданская.

Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, я тут же записался на прием прямо к генералу Вошинину, параллельно заказав переговоры с городом Рептоном, английским посольством в Москве и советским в Лондоне и опустил в почтовый ящик обыкновенный пустой конверт с собственным домашним адресом (ради эксперимента — сколько времени уйдет на дорогу).

Маша в тот же день написала обстоятельное письмо в обком партии самому Б. Гидаспову, первому секретарю. Рассуждала так: впереди рождественские каникулы, а приглашение действительно в течение года; если Харриет сможет приехать, значит, еще не все потеряно.

Но вечером Машин отец сказал мне:

— Пробиваться к Вошину бесполезно. И ОВИР, и другие «компетентные органы» сами в растерянности...

— ?!

— По их представлениям, пустить меня в Англию никак нельзя, да и разрешить приезд Харриет тоже. Но ведь и отказать-то нельзя...

— И в чем же загвоздка?

— Во мне...

— Ночной сторож заподозрен в передаче Маргарет Тэтчер суперсекретов домостроительного комбината?

— Читайте и все поймете... Он протянул мне рукопись.

«ПЕРЕСТРОЙКА И ЗАКРЫТОЕ ВЕДОМСТВО». ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ НОЧНОГО СТОРОЖА.

«Писать об этом ведомстве даже сегодня очень нелегко. Рискнешь быть обвиненным в разглашении государственной (или служебной) тайны. Именно исходя из этого, приходится заведомо сужать круг поднимаемых вопросов...

Так уж получилось, что я хорошо знаю сотрудника КГБ, который вел «дело» Андрея Алексеева, известного ленинградского социолога, в 1983 году, как раз в то самое время, когда милиция произвела на его квартире повальный обыск. Искали якобы валюту, но изъяли... архивы ученого. Такие грамотные попались милиционеры, что мигом оценили «вредность» целой горы бумаг! Потом я слышал, что этот контрразведчик за всю свою деятельность отделался выволочкой. Возможно. Но точно другое: сегодня он стал начальником. Зная его, утверждаю: верный рядовой застоя стал младшим командиром периода перестройки!

Размышляя над этим (благо работа ночная!), я по новой перечитывал «Избранные речи и статьи» Ю. Андропова. Правильно, контрразведка «должна бороться с зарубежными инспираторами идеологической диверсии, с антиобщественной и тем более экстремистской деятельностью отдельных граждан СССР внутри страны». Но как много зависит от акцентов, нюансов, трактовки понятий! Стоит в угоду властям расширительно истолковать такое понятие, как «экстремистски настроенное лицо», как «врагом народа» и «экстремистом» мог стать любой напористый правдоискатель, ученый, общественник.

И истолковывались! Более того, стереотипы мышления, впитанное в кровь стремление искать классового врага дают

рецидивы. И сегодня — я это понял из последних бесед со знакомыми контрразведчиками — это выливается в явное непонимание происходящего в стране, открытое неодобрение демократизации. Причем многие там считают перестройку «периодом разгула» и надеются на возвращение старых порядков.

Более двух лет я откладывал написание этих «размышлений», надеясь, что кто-то другой — человек с незапятнанной репутацией — поднимет мучающие меня вопросы. Но так и не дождался...

— Вы?... — отрываюсь от чтения.

— Вот именно. Без пяти минут подполковник КГБ СССР — майор на полковничьей должности, старший преподаватель курсов повышения квалификации контрразведчиков, автор ряда критических статей и выступлений по теории контрразведки, автор учебника, готовящегося к публикации, аспирант последнего года обучения с готовой диссертацией, победитель всех соцсоревнований последних лет, я был в 1984 году изгнан из Комитета государственной безопасности, исключен из партии по... «служебному несоответствию». До начала перестройки оставалось меньше года...

«...Будучи одним из самых молодых начальников отделения в Ленинградском Управлении, я рос как на дрожжах... И вдруг — ушел в преподаватели! Как, почему? — никто не мог понять! Это сейчас можно сказать: «Я просто не хотел больше «сажать» людей по статье 70-й и не мог быть винтиком коррумпированного механизма...» Помню двух студентов, которым «за антисоветскую агитацию» мы вклеили «на полную катушку». А они виноваты были только в том, что белое называли белым, а черное — черным!...

...Коррупция... Она проявляется и вне, и внутри контрразведывательных органов. Ее внешние элементы — использование служебного положения в личных целях коллективно, организованно и даже с санкции руководства.

...Меня систематически заставляли пристраивать в ЛГУ родственников контрразведчиков.

Естественно, я был против... Уходя в другое подразделение, мой начальник (тогда всей оперативной работой фактически руководил я) объяснил, почему откладывается мое очередное повышение: «Руководство знает твое отношение к «личным просьбам» и опасается, что ты провалишь «экзамнационную кампанию». Пообещай, что займешься...»

Пережив серьезную борьбу мотивов, я все-таки дал требуемое согласие, но обговорив его некоторыми условиями. В результате под моим «прикрытием» в ЛГУ поступило около 20 человек. При мне число «абитуриентов от контрразведки» сократилось в несколько раз, в список попадали только прямые родственники и обязательно с хорошими аттестатами, он визировался зам. начальника УКГБ ЛО генерал-майором Корсаковым А. П. ...Я ненавидел эту работу, но точно знаю, что есть определенная категория сотрудников, которые всю свою карьеру строят на такого рода «заданиях».

...Невозможно вести перестройку, пока не покончим с диктатом идеологии. В нас слишком крепко засело «первенство политики над экономикой» (ленинский термин), где под политикой подразумевается вопрос о власти. Для партии всегда было главным — удержать власть. А кто обеспечивал? Армия и КГБ...

...Из-за меня пострадали еще два человека. Когда на голосование поставили вопрос об исключении меня из партии, они... воздержались. Воздержались, только и всего! Но это было для них равносильно смерти. Специфика любого закрытого ведомства — не проголосовал «за», должен уйти! Уж не говоря о критике, та вообще недопустима... Так вот: один из них вылетел «на пенсию», а второй поехал на защиту диссертации. По дороге он случайно разбил голову и до места назначения не доехал. К этому и придирались: уволили подчистую за «неявку... без уважительной причины». Не было бы этой причины — нашли бы другую».

Прочитав это, я спросил Александра: «Что же случилось в мае 1984-го?»

И он рассказал...

Работа преподавателя требует знаний. Знания он черпал из книг, которыми, особенно антиквариатом, увлекался серьезно. «Еврейский вопрос», «сектанты», «протестанты», «баптисты» — по сути, это тоже часть его работы, поэтому переплачивал, не жалея денег. Понимал, дилетантизм в работе контрразведчика обходится много дороже. Собирал «мемуары», но особенно ценил серию «Литературные памятники» — в книжном шкафу она занимала сразу несколько

полок. Покупал эти книги у нескольких поставщиков, одним из которых был некто Борис.

...В тот день у Кузнецова лишних денег не было, а у Бориса пара «Литпамятников», в том числе Цицерон «О государстве. О законах». Надежный книжный поставщик, он доставал любой «товар», причем цены по сравнению с толкучкой были «некусачие». На этот раз, узнав о безденежье своего клиента, он предложил поменять Цицерона на «Раковый корпус»...

«Раковый корпус» — два самиздатовских машинописных тома — был изъят оперативным путем несколько лет назад у преподавателя ЛГУ. По инструкции, Кузнецов был обязан уничтожить книгу не читая. Сжечь, едва разобрав фамилию «врага и очернителя советского народа» на обложке. Но не уничтожил — любопытство взяло. Книга сперва перекочевала в сейф, оттуда — домой, где была надежно спрятана от посторонних глаз.

Александр уже жалел, что проболтался однажды за книжным спором о Солженицыне. Глупо... С тех пор Борис и загорелся: «Поменяй да поменяй!» Каждый день звонил, таскал пачками редкие книги... пока тот не сдался.

Кузнецов отдал двухтомник, но предупредил: «Учти, эти книги распространению не подлежат!» А дней через десять — в сердце будто заноза какая! — потребовал обратно, сжег во дворе.

Предчувствие Кузнецова не обмануло...

Пролистав текст его статьи о негативных процессах в экономике, полковник Николаев покрутил пальцем у виска: ты что, мол, никаких «процессов» у нас нет и в помине; Комитет без тебя знает, как с ними бороться. Сказано это было накануне Всесоюзной научно-практической конференции чекистов и означало: не вздумай выступить, иначе...

Но майор Кузнецов выступил. «Негативные процессы», — сказал он с трибуны, — начинаются еще в умах. Изменение настроений, взглядов и убеждений людей — это уже может быть негативным процессом. Когда все мы меняемся в сторону негативной оценки того или иного явления, которое мы не в силах предотвратить, мы становимся несчастными, а это крайне опасно, потому что это симптом болезни режима. Таковыми явлениями в нашей жизни являются...»

Вернувшись из Москвы, Александр сразу понял, что он «под колпаком». Решение об отмене его лекций на периферии, этакая могильная прохлада со всех сторон... Третий профессионал, он прекрасно понимал: «самоуправство» в такой организации, как КГБ, не прощается. Но успокаивал себя тем, что заслуг у него больше. Влепят выговор, в худшем случае — «с занесением»!

И вдруг как гром среди ясного неба — товарищеский суд, партсобрание, слова полковника Николаева о том, что «коммунисты не могут простить Кузнецову содеянное, так как это произошло по причине присущей ему критических взглядов на нашу действительность...» Формулировка: «за хранение и передачу... «Ракового корпуса»».

Дальше все было, как в дурном сне! Парторг Управления КГБ области честно признался Кузнецову: «Мы не можем тебя трудоустроить — вдруг ты опять возьмешься недостатки выявлять... позора этим КГБ!» Оказавшись вышвырнутым на улицу в 38 лет и после 12 лет безупречной службы, без профессии, без справки о законченной аспирантуре... Выход был один — в сторожа! Машину, практически все книги, кроме «Литпамятников» да словаря Брокгауза — Ефрона, пришлось продать, чтобы семье из четырех человек сводить концы с концами. Человек деятельный, он совмещал работу сторожа с занятиями на курсах английского языка, бухгалтеров кооперативов, машинописи. На «сторожевые крохи» выписал кипу зарубежных газет и журналов. Писал по ночам экономические «обзоры будущего» и статьи о «закрытых ведомствах», которые бесследно исчезали в журнальных редакциях.

Его эрудицию и опыт оценили... на Би-Би-Си. После первой выигранной радиовикторины посыпались звонки с лондонской студии, призы и поздравления. Теперь Александр не пропускал ни одного конкурса, побеждая во всех подряд. Со временем его «хобби» передалось и детям — старшему Алеше и Маше. И вот Маша, как уже рассказано, удостоилась внимания самой Маргарет Тэтчер.

— Корреспондент Би-Би-Си, — говорит Кузнецов, — приехавший в Ленинград для передачи очередного приза, сказал вдруг, что за ним ходит «хвост»... «Английский репортер является в дом бывшего «комитетчика»... Представляю, какой был переполох! А если бы XIX партконференция не восстановила меня в КПСС...

Весь вечер я бродил по Невскому, обдумывая непредвиденную развязку. Понимал: Кузнецов прав, идти к генералу глупо. Это ничего не даст. В лучшем случае сделают «круглые глаза» и, сославшись на занятость, пошлют куда-нибудь... в ОВИР! Тут нужен всего один грамотный ход. Но какой?

А наутро Маша едва не скакала от радости. Ее сбивчивый рассказ сводился к следующему: сработало письмо, отправленное в обком. Позвонили из «Смены» — газета не только берет взятую поездку Бейкером под свое «крыло», но и найдет спонсоров, организовать экскурсию в Смольный — в кабинет Ленина и так далее.

— Неужели, — счастливо улыбалась она, — наконец я увижу Харриет?!

Но радовалась она преждевременно. Целый месяц заведующий отделом «Смены» В. Стругацкий тянул время, переносил сроки звонка в Англию, ссылаясь на болезнь и занятость. Лишь 9 ноября он окончательно признался Кузнецову: «Звонить Бейкерам я пока не буду! Вопрос со спонсором не решен... А при чем тут отец Бейкер? Мы оплачиваем только поездку Харриет! Я говорил: условия диктовать будем мы. Что значит им удобно приехать в конце декабря?»

Из письма А. Кузнецова в Ленинградский обком КПСС Б. Гидаспову, копия в журнал «Юность»:

«Уважаемый Борис Вениаминович!

Я прошу рассмотреть этот документ как заявление коммуниста в обком КПСС и требую ответа только в обкоме.

Затронута наша честь (мы не хотим выглядеть дважды безответственными болтунами в глазах англичан), но не только наша, но и Ваша, и газеты, и даже Ленинграда, и нашей страны.

Мы не отказываемся от сотрудничества со «Сменой», но вся наша семья категорически против «помощи» Стругацкому. Мы согласны взять все расходы за билеты на себя. Достоинство дороже денег — мы готовы заплатить.

Если же это неосуществимо, мы настаиваем, чтобы представитель газеты позвонил Бейкерам и снял с нас позор за бездельность Стругацкого... Понимая неотложность дела и неразворотливость наших чиновников, я вынужден действовать следующим образом. 14 ноября я лично развезу копии этого документа в обком и редакцию. Я ожидаю ответа по телефону до субботы, 18 ноября включительно, после чего приступаю к голодовке и пикетированию здания редакции. Голодовка не будет прекращена ранее, чем сотрудники редакции извинятся перед англичанами. Они обязаны извиниться за себя! Позор за их пустопорожние обещания должен быть снят с нашей семьи.

Если до конца месяца я не получу удовлетворительного ответа, то попытаюсь опубликовать письмо Маши и это заявление в центральной печати, а при неудаче — в изданиях неформалов или газете «Санди Экспресс». Тогда же передам копии этих документов в посольство Великобритании в Москве, которое познакомило нашу семью с Бейкерами.

Я хочу надеяться, что ничего из последних пунктов делать не придется.

14 ноября 1989 г.

А. Кузнецов».

Ни голодать, ни пикетировать здание редакции «Смены» А. Кузнецову не пришлось.

18 ноября раздался звонок из обкома. А в конце декабря Бейкеры прилетели в Ленинград.

Новый, 1990 год Харриет Бейкер и ее отец Джулиан, англиканский священник, встречали в тесном кругу дружной семьи ночного сторожа Кузнецова. За новогодним весельем — с шампанским и трогательными подарками — они, не уставая, восхищались увиденными воочию переменами в нашей стране...

Так свершился этот русско-английский обмен школьниками на пятом году перестройки.

Читайте «МИКС» — журнал для думающих людей

В Свердловске вышел первый номер культурологического журнала «МИКС» — «Мы и культура сегодня». «МИХ» в переводе с английского — смесь. Отсюда главный принцип журнала — смесь, изготовленная руками и головами профессионалов и рассчитанная на вкус самого взыскательного читателя.

Главное, чего ради журнал был задуман и появился на свет, — это культура. Не в конкретно-бытовом или — более того — декларативно-музейном плане, но культура как бытие, как стержень, который присутствует в жизни любого человека.

Сегодня мы ломаем копья вокруг обновления политической и экономической систем. Но возрождение души не может осуществить ни та, ни другая.

Возрождение души — это впитывание накопленных человечеством ценностей, всей культуры, духовной и материальной.

На 160 страницах многокрасочного иллюстрированного журнала читателей ждет встреча с такими феноменами культуры, как философия, религия, словесность, эзотерическое знание, живопись, кино, театральное и балетное искусство, музыка, поп-культура с ее детективами, любовными коллизиями и историями ужасов и даже изысканные кулинарные рецепты знаменитого римского гурмана Лукулла.

«МИКС» — независимый журнал, создаваемый творческой интеллигенцией Свердловска. Авторы первых пяти номеров — В. Набоков, Ф. Ницше, К. Ясперс, Ф. Саган, Э. Стенли, Й. Флеминг, М. Миллар, К. Воннегут, К. Гамсун, Д. Андайк, А. Мень, Е. Попов, И. Кормильцев, Р. Ливинзон, Б. Дижур, В. Кальпиди и др. Редакция возрождает популярный жанр русской журналистики прошлого — литературное письмо.

Оформление журнала также необычно. Это две восьмидесятистраничные книжки, обернутые в единую суперобложку и запакованные в полиэтиленовый пакет, в который редакция время от времени будет вкладывать маленькие сувениры.

Тираж первого номера — 25 тысяч экземпляров; распространяться он будет в Москве и Уральском регионе. В планах редакции — повышение тиража, союзное распространение и организация подписки.

Итак, в журнале «МИКС» — культура мировая и культура русская, региональная и московско-ленинградская, элитарная и массовая!

Главный редактор
журнала «МИКС»
Лариса ШАТОВА.

На все вопросы редакция журнала готова ответить по телефону 51-96-95 (Свердловск).



Инна
КАБЫШ

☆☆☆

Жизнь от первых шагов — ходьба.
Но однажды выведут ноги
на развилку, и две дороги
вдруг предстанут: жизнь и судьба.

Жизнь — то пень на ней, то колода,
и толчется толпа народа.
... А судьба — как спираль ДНК,
и уходит под облака.

☆☆☆

...Чем глотать угарный дым газет,
лучше уж на улицу глазеть,
где афиши, очередь, ворона,
да читать про кесаря Нерона,
ибо мы, по сути, тот же Рим:
и у нас имперские пороки,
и у нас распятые пророки,
вот и мы однажды погорим.
Лучше уж предаться жизни частной
и вязать сородичам носки:
здесь иное качество тоски.
Мне не все равно, где быть несчастной.
Лучше уж слоняться в затрапезе и,
делая мужчине бутерброд,
понимать, что ЭТО — жанр поэзии,
что мужчина — он и есть народ.

О женщинах

1.
Я не о мальчиках, которые в каре,
и не о юных с понтом террористах,
которые — виток внутри ствола,
в коре,
не о путях-дорогах их тернистых.
Я не о том, кто разбудил кого,
и не о том, что все идет по кругу,
но, пользуясь методом Прево
рассматривать сквозь мальчика — подругу,
смотрю. Ей — не остановить коня
(дался же нам критерий этот конский!),
ей испугаться до смерти огня,
когда займется шаль: я о Волковской.
О, женщина пойдет другим путем —
не вширь, но вдоль — по личному почину,
когда между мужчиной и дитем
единогласно выберет мужчину.
Когда пойдет стоять в очередях,
не понимая, как зашла высоко...
Нет, я не о борцах, не о вождах —
о женщине, о направлении сока.

2.
...о женщине, чей выбор — шар земной
(так бабью суть идея искромсала!),

зем. шара председательше: «За мной!» —
кричащей не по долгу комиссара —

по совести: не ртом, а животом.
Какие ж сатанинские стихи
нужны, чтоб крест поставить на святом!
Поставили... А следствия такие:

в дым превратившиеся города,
на полуслове высохшие реки
и — переплавившаяся руда —
работницы, абортницы, калеки.



Александр
ЗОРИН

Дебют в
ЮНОСТИ

Окно

Св. Франциску

Природа — икона живая в невидимом храме,
патины лишённая приторной и старины.
В ковчеге оконном, в добротной сработанной раме
немая береза и мамини грядки видны.

Как спичка зажженная, белка метнется по сруб —
надергает пакли и желудь запрячет в пазы.
Пронизан лучами, под стать молчаливому дубу,
стоит над лагунами ангел Златые волосы.

Когда заневестится утро и зашебаршится,
затенькает пеночка, вдумчивой ноте верна,
я тоже — из этой же стаи — встаю помолиться
пред вечностью, явленной здесь в крестовине окна.

Какого еще нам всеильного иконоборца
под занавес ждать — учредителя черной дыры!
Движеньем бровей демиурга, «высокого горца»,
народы и горы обрушивались в тартарары.

Живая икона трепещет от нашего шага.
Уж пепел отравленный ауру нимба разъел.
И нет, неспроста на заплаканных окнах ГУЛАГа,
сжимая пространство, железный намордник висел.

Приказ Ирода

Искать! Перетрясти подряд
все детские сады и ясли!
Натыкать гвозди вдоль оград,
умножить стражу во сто крат,—
и днем, чтоб фонари не гасли,—
скорбь детям заронить во взгляд
и в молоко кормилиц — яд!
Не мешкать! Школу прочесть
и улицу... На свист бросать
в любую подворотню
мою блатную сотню.
Навряд ли выберется Он,
сей Царь народов и времен,
из проволоки колючей
да из невидимых препон...
Следить на всякий случай.

Борис
КОСТЮКОВСКИЙ

СТАРАЯ ПОДКОВА

Повесть в рассказах

Председатель североалександровского сельсовета долго разглядывал мое командировочное удостоверение, вскидывал на меня недоверчивый взгляд из-под мохнатых бровей, переводил его на подушку, которую я положил рядом с собой на стул, и наконец тяжело вздохнул.

— Знаца, хлебушко добывать будешь? Подушку прихватил — это шибко хорошо. Без подушки тута пропадешь. Это ты с умом, знаца...

— Да это бабушкина подушка, — бормотал я.

На одном глазу у председателя было сплошное бельмо с желтым бугорком на месте зрачка, зато второй выражал такую откровенную ухмылку, что я окончательно смутился.

— Знаца, бабушкина? Ну-ну. Надолго к нам?

— Пока хлеб не заготовим.

— Знаца, надолго. Навсегда.

Я опешил.

— Как это навсегда?

— Покедова не вырастешь. Опосля, знаца, женим тебя. Североалександровские девки прямо сахарные. Лучше не сыщешь — хоть весь свет пройди.

Чертов глаз его, вся заросшая рыжим волосом физиономия явно насмехались надо мной.

— Я не за девушками к вам приехал, — отрезал я таким строгим тоном, на какой только был способен.

— Это так. Шуткую я, знаца. Разве мы без понимания? Только с хлебушком шибко плохо. Уполномоченных перебивало у нас страсть как много. Хлебушка съели вдосталь, а заготовили самую малость. Толя нетути хлебушка у хрестянина, толя он крепко держит его при себе.

Я вспомнил все, что говорил нам, уполномоченным, перед отъездом секретарь райкома партии Верхотуров, и убежденно сказал:

— Хлеб есть. Его надо найти.

— Надоть, надоть найти, а он, хлебушко, не даеця. Хоть ревя реви.

— Ревом не поможешь, — сказал я солидно и поправил на ремне под гимнастеркой кобуру. Этот мой жест не ускользнул от зоркого глаза председателя. Он стал серьезен, снова вздохнул.

— И то правда. Мы уж тута на все лады, а впустую. Валяй, может, у тебя что вытанцуется. А сейчас первым делом надоть тебя на постой пристроить. А вот куда? Ежели к мужику покрепче, так злыдни все. Харч его колом в горле станет. Сам пухнуть от голоду будет, а тебе крошки не даст.

— Давайте к бедняку. Лишь бы наш человек был.

— Вот то-то и оно. Это ты справедливо. Я бы тебя и к себе взял, тем боле у тебя и подушка, знаца, при себе. Только баба моя и так меня гонит: не дом, грит, а заезжий двор.

Далась ему моя подушка. Я рассердился.

— Я сказал — к бедняку. Чего же вы в самом деле?

— Да я тоже не кулак, а натуральный бедняк. Только и есть что при должности, знаца, и казенное жалованье получаю. Ну да ладно. Есть тут у меня бобыль один. Старухин Василий. Без ноги. В гражданскую потерял в армии Щетинкина. А бобыль, потому как баба его к другому ушла, пока он по лазаретам валялся. Баба у него была прямо сахарная, знаца, да только, вишь, не дождалась Старухина. И детей уже троих нарожала за новым мужем. А Василь, знаца, так бобылем и остался. Злой мужик, на весь белый свет злой и в колхоз не пошел. Лошаденка у него да коза дойная. Сам надел свой обрабатывает с деревяшкой своей, сам козу доит. С деревяшкой за плугом по пахоте шибко плохо, вязнет деревяшка. Так он приспособился: дощечку, знаца, к ней прибават, и ничего, получается у Василя. Тебе, знаца, у него, как в народе говорят, в тесноте, да не в обиде будет. Два мужика, заживете на славу. Я к нему постояльцев не ставил, а вот ты ему в самый раз будешь. Да еще с подушкой. У него-то откуда подушке взяться?

На этот раз я улыбнулся.

— А вас-то как звать?

— Косых я. Евстий Изосимович, знаца. Ты, паря, и не запомнишь. Товарищ Косых кликай меня, оно в самый раз и будет.

Председатель сам увел меня на постой.

В избе с двумя веселыми окошками на улицу нас встретил

неулыбчивый мужик. Выслушав председателя, он подал мне жесткую руку, коротко представился:

— Старухин.— И, оглядев меня с ног до головы, добавил: — Дядя Вася.

Был он высок, статен, широк в плечах, с орлиным гордым лицом и на деревяшке своей ходил с таким видом, словно бросал всем вызов.

Когда председатель ушел, дядя Вася хмыкнул:

— Косой-то сам тебя привел, бездельник, чертов сын. Сидит сиднем при своей печати. Только и есть, что умеет по складам читать да фамилию свою выводить на бумагах.

Дядя Вася говорил со мной доверительно, как мужчина с женщиной, и это мне понравилось. Понравилось мне и то, что в доме не чувствовалось отсутствия женской руки. Пол подметен, столешница отскоблена до желтизны, в верхней части окон из газетной бумаги затейливо вырезаны «занавески», наколотые дрова, щепы и сухая береста аккуратно сложены на припечке. Пахнет хорошо, по-домашнему — дымком и свежим хлебом. Дядя Вася полез деревянной лопатой в печь и вытащил сначала одну, потом и другую буханку румяного хлеба. Все это он делал неторопливо и ловко.

— Ну вот, а теперь надо Фроську подоить. Козье молоко пьешь?

— Пью. Я люблю молоко.

— Значит, с голоду у меня не помрешь. Козье молоко — как лекарство, все внутренности лечит.

— Я знаю, — сказал я, — у меня бабушка есть, она людей лечит и всегда приносит нам козье молоко.

— Ну, пойдем в сараюшку, научу тебя доить Фроську. Дело не хитрое, а, глядишь, мне помощь будет.

Я с радостью согласился.

Фроська встретила нас блеянием.

Дядя Вася сел на скамеечку, вытер чистой тряпкой большое, отвисшее вымя у козы, выплеснул остатки воды из подойника и стал неторопливо тянуть козу за соски, несильно поддавая рукой по вымени и приговаривая:

— Не зажимай молоко, дочка. Видишь, гость приехал.

И Фроська словно поняла: молоко тугими струями стало ударять в подойник.

Назавтра и в следующие дни через нарочных по десяти дворкам я вызывал твердозаданцев и единоличников в сельсовет. Евтихий Изосимович (зря он опасался, что я не запомню его имя-отчество) присутствовал при моих беседах. Присутствовал, ухмылялся, но не произносил ни слова.

Для пущей убедительности я отстегнул от ремня кобурку и положил ее на стол.

Крестьяне искоса поглядывали на мою новенькую желтую кобурку, из которой выглядывала ручка пистолета, вздыхали, но не пугались. Разговаривали степенно, уважительно, но, как и предупреждал меня Косых, ни один из них не пообещал сдать хлеб.

Запомнился мне среди них болезненного вида мужик, худой, долговязый, с обтянутыми кожей щетинистыми скулами.

— Что ж вы, в самом деле, мучаете меня, гоняете туды-сюды, — с горечью сказал он. — Выполнил я свое твердое задание, а вы сызнова. Зачем тогда твердым называете, ежели оно мягким получается? Ладно уж был бы хлеб, неужто стал бы уклоняться? Да пропади он пропадом, хлеб тот. Что было — отдал, на семена не осталось. А прокорм семейству? Их у меня, почитай, двадцать ртов. Видите — с килой хожу, с грыжей, значит, — пояснил он, — с ней и роблю. Много я могу так наробить? Вконец меня вымотали. Хотя бы кто поверил, понимание выказал, так нет, что ни день — тянут тебя. Э-эх, жизнь!

В этот день в сельсовет пришел мой хозяин, дядя Вася Старухин, он стоял у дверей, опершись на косяк, и хмуро поглядывал на все происходящее.

Домашнее он мне жестко сказал:

— Ты что это, паря, балуешь? Зачем людей оружием дразнишь? Оно тебе не для забавы дадено, и неча его без нужды показывать. Давай-ка его сюды, я подальше его спрячу.

Эти слова и весь тон, каким дядя Вася произнес их, были так неожиданны, что я растерялся. Тут же я отстегнул кобурку и отдал ему вместе с пистолетом.

— Ну вот, так-то оно лучше будет, — уже миролюбиво сказал дядя Вася и вышел за дверь в сени. Я слышал, как он топтался там, постукивая о пол своей деревяшкой. Вернулся успокоенный, добродушный и повторил: — Так-то

оно лучше будет. А ты, паря, как я посмотрю, чуть слезу не пустил, когда с Кориловым разговаривал.

— Это который?

— Да Степша Корилов, с килой.

— Жалко ведь мужика. Кожа да кости.

— Это так. Вся жизнь такой. И себя, и всех, кто вокруг, в жгуты вяжет и килу смолоту нажил. А только слезу над ним проливать не стоит. Это я тебе говорю. Худой потому, что светлобрюх.

— А что это — светлобрюх? — удивился я незнакомому слову.

— По Толстому живет, по графу Льву Николаевичу! Слышал? Ни сала, ни мяса. Молоко, сметана, хлеб, картошка да квас. Вот тебе и светлобрюх. А в великий пост — на одной воде. С такого харча не наберешь тела, да еще в тяжелой крестьянской упряжке.

— Вы ведь тоже мяса не едите, да и сала...

— Меня, брат, не равняй. Я особ статья. Не ем, потому как нету. А было бы — я тебе хоть что съем. Ну, а пока мы с тобой тоже светлобрюхи, так, что ли? — И дядя Вася, кажется, впервые за эти дни, рассмеялся. — Иди Фроську подой. Это у тебя получается, — заключил он, — а вот с хлебом... Ну да ты не переживай. С хлебом не у таких, как ты, мужиков не получалось. С хлебом, паря, труба.

Иногда дядя Вася отстегивал свою деревяшку и скакал по избе на одной ноге. От печки к столу, из избы в сени, из сеней снова в избу. Держался он на своей ноге удивительно крепко, не шатался, не падал, как будто ему деревяшка и не нужна была вовсе.

— Надоедает треклятая, — жаловался он. — Это еще сейчас, зимой, я немного топчусь, а как весна наступит, лето, осень... У меня на культе мозоль с кулак от нее, а к ночи так заносит, что иной раз хоть на стенку лезь. — И он как ни в чем не бывало продолжал скакать по избе.

— Вы посидите, я все сделаю, — говорил я, — вы мне только скажите.

— Ты, паря, гость у меня, а гостя негоже запрягать. Вот Фроську доишь — уже мне подмога. Воды из колодца прине-сешь, согреешь, Фроську попоишь, сенца ей подбросишь. Да и за конюха ты у меня. Ишь как Савраска к тебе. Видать, лошадей любишь.

Я промолчал. Что говорить о моей любви к лошадям, когда с раннего детства я привык к дегтярному запаху сбруи, к пропитанному конским потом хомуту, когда садился верхом на лошадь и меня нельзя было с нее согнать. Отец мой, неистовый лошади-ник, всю жизнь собирал дуги, сбруи, уздечки, хомуты, седла, менял их с цыганами, чистил до блеска латунные украшения, «овсяные наборы», смазывал все это добро то постным маслом, то какой-то пахучей мазью и все мечтал купить лошадь, но так за всю жизнь и не смог этого сделать.

В Северную Александровку приехала агитпром райкома партии товарищ Суш. Подстриженная под скобу, в кожаной тужурке, из-под которой на боку оттопыривалась кобурка с наганом, товарищ Суш — уполномоченная райкома по селам североалександровского куста — была недовольна мною. Да и как быть довольной, когда из Северной Александровки за десять дней на заготпункт не поступило ни пуда хлеба.

— Вот что, — начальственно сказала товарищ Суш председателю сельсовета Косых. — Сегодня же соберем в школе всех задолжников по хлебу, и в первую очередь твердозаданцев! А ты, — обратилась она ко мне, — обеспечи школьный шумовой оркестр.

Вечером в большом школьном классе, где одновременно велись занятия трех возрастных групп, собрались крестьяне. После переклички по дестидворкам товарищ Суш держала речь.

Она говорила хорошо, зажигательно. Выпуклые глаза ее горели вдохновенно, она клеймила «капиталистическую гидру», предрекала неизбежную мировую революцию. Мужики были согласны и бросали сочувственные реплики. Но, по словам товарища Суш, получалось так, что «гибель гидры» и победа мировой революции зависят не от кого иного, как от североалександровских граждан, которые почему-то зажимают хлеб, не сдают его государству и этим играют на руку мировому империализму. Это же прямой саботаж, нож в спину советской власти!

Было над чем задуматься.

И хотя товарищ Суш не говорила ничего обо мне, но щеки мои пылали от стыда. Ведь и я был виноват в том, что не сумел разъяснить этим людям, насколько важен и необходимым был их хлеб для победы коммунизма. Если бы я умел так говорить, так убеждать! Я готов был немедленно, по первому слову товарища Суш броситься выполнять любое ее поручение. Но самое главное, что мне сегодня предстояло,— это шумовой оркестр. И он был здесь. Я, можно сказать, создал его за несколько часов. Ребята, вооруженные стеклянными бутылками, железными трещотками, расческами, деревянными ложками, барабаном, были наготове. По первому моему знаку они должны были вступить в дело. Все это, уже отрепетированное днем, хорошо известно оркестрантам.

Кончился международный обзор, и товарищ Суш, поправляя свою кобурку с наганом, поставила вопрос ребром: кто за советскую власть, тот немедленно выступит здесь и обязуется сдать хлеб государству, а кто не даст такое обязательство, тот является...

Ну, уж кем он там являлся, я сейчас в точности не помню, знаю только, что от этих сравнений североалександровцам было не по себе. Мне — тоже.

Товарищ Суш взяла список и, близоруко щурясь, стала называть фамилии. Люди вставали, переступали с ноги на ногу и неизменно повторяли с некоторыми вариациями одну и ту же фразу:

— Рад бы... Всей душой хочу помочь, а хлебушка нет. Нет, и все тут.

Тогда товарищ Суш грозно произносила:

— Покиньте наше собрание. Вам не место среди честных граждан.

Шумовой оркестр по моему знаку «играл» невообразимый «выходной марш». И все повторялось сначала.

Наконец мы остались с товарищем Суш и председателем сельсовета Косых одни.

Мой оркестр ждал дальнейших распоряжений: ребятам хотелось играть, они только-только вошли во вкус.

Товарищ Суш стояла, отвернувшись к окну, и смотрела в зимнюю темень, как будто что-то хотела высмотреть в ней.

— Отпусти ребят,— глухо, не поворачивая головы, сказала она.

Нехотя мои оркестранты потянулись к выходу.

— Вот так все, знаца, и плывет на инковарды,— виновато проговорил Косых, уставясь бельмом в тяжелые свои ладони.

Товарищ Суш недовольно повернула к нему голову.

— Что это еще за словечко вы придумали?

— Инковарды? Да так это... Татарин один знакомый говорил. Вроде бы, как все наоборот.

— Да, все наоборот. Все у вас наоборот. Сидите тут, ничего не знаете, да и знать не хотите.

— Эхма,— тяжело вздохнул Косых,— силов уже никаких нет...

— А у народа в городах есть силы без хлеба сидеть? У детей... у больных людей?

— Да разве мы не понимаем?..

— Понимали бы, не доводили бы до такого...

До «какого», товарищ Суш не сказала, снова отвернувшись к окну, и, что было уже совсем невероятно, плечи ее, обтянутые кожаной тулужкой, стали вздрагивать.

Чтобы грозная, железная товарищ Суш плакала... Вот до чего ее довели. Вот до чего довел ее этот Косой.

— Вы уж это...— бормотал опешивший мужик.

Всякое он видел, и самого уполномоченные обзывали дармоедом на шее советской власти, и лодырем, и даже пособником, а то чуть ли не подкулачником, самого не раз доводили до слез, но видеть, как плачет эта женщина, которую уважал и даже побаивался сам секретарь райкома партии Верхотуров,— это уж действительно инковарды какое-то...

Слез товарища Суш мы не увидели. Через некоторое время она повернулась к нам лицом с совершенно сухими глазами. Может, и в самом деле нам померещилось, что она плакала?

— Ночевать в мою избу пойдете? — заторопился председатель.

— А ты где остановился? — словно не слыша Косых, обратилась ко мне товарищ Суш.

— Да тут... — замялся я.

— У бедолаги одного я его пристроил.

— Вот и я туда.

— Неудобственно там будет вам, да и тесно.

— Ничего, ничего. Хозяева-то примут?

— А у нас хозяйки нет, хозяин один, дядя Вася Старухин,— обрадованно пояснил я и заверил: — он примет.

— Вот и хорошо,— сказала товарищ Суш и стала натягивать на свою кожанку полушубок.

Дядя Вася и в самом деле принял гостей радушно и, посмеиваясь, сказал:

— Хоромы-то наши невелики, а пристроить хоть целую роту можем. На печи-то приходилось вам?

— Приходилось и на печи, и на сеновале, и в чистом поле.

— Тогда о чем речь? Разболакайтесь и будьте как дома.

Косых потоптался для приличия у двери и откланялся.

— За угощение прошу не взыскивать, чем богаты, а богаты мы с моим хлопцем на самую малость.

— Чего там,— махнула рукой товарищ Суш,— чем помочь вам?

— Не беспокойтесь, мы сами управляемся. Я уж тут все приготовил, напарника своего ждал.— Он кивнул в мою сторону.— Чугунок с картошкой в печи, шаньги свежие испек, чай карымский с молоком запарил.

— А говорите «не богаты»,— засмеялась товарищ Суш и с одобрением посмотрела на Старухина.

Не знаю, почему мне так запомнился этот запоздалый ужин, почему все так было вкусно: и шаньги, и обжигаящая пальцы картошка в «мундирах» из чугунка, и густой чай с топленым молоком, отдающий полынным запахом и лесным костром. Скорее всего дело было даже не в еде: я не узнавал дядю Васю, я не узнавал товарища Суш. Своим еще неопытным мальчишеским умом я не мог постичь, что делалось в их душах, но происходило что-то значительное. Это уже потом, спустя время, а может быть, и годы, я понял, как потянулись эти двое людей друг к другу.

Если бы дяде Васе Старухину кто-нибудь сказал, что он красивый, это, пожалуй, могло бы вызвать у него только улыбку.

Если бы мне до этого вечера сказали, что товарищ Суш красива, я просто бы рассмеялся. Я не раз видел ее в райкоме. Всегда в неизменной кожанке, выпуклые глаза испытующе внимательны, так что невозможно было выдержать этот взгляд. Нос прямой, строгий и мелкие морщинки у глаз, словно она когда-то много смеялась. Только яркие полные губы смягчали бледноватое, усталое лицо.

Сейчас она скинула с себя кожанку и оказалась в обыкновенной ситцевой кофточке с оборками на груди. Лицо ее раздурманилось, в глазах появился задиристый блеск.

Она по-хозяйски усадила дядю Васю на скамейку у стола, рядом со мной, и принялась хозяйничать.

Каким-то особым женским чутьем она нашла тарелки, ложки, стаканы, даже льняную скатерку, которой дядя Вася неизвестно когда пользовался, в сенях обнаружила два логушка, один с мороженой клюквой, другой с соленой черемшой.

Дядя Вася смущенно сказал:

— Ну и ну! Вы будто сто лет в избе живете. Я об этой черемше и забыл давно. Да и о клюкве... Так, баловство одно по осени. Тем боле — черемша. От нее вонища несусветная, из избы не выгонишь потом.

— Была не была,— махнула рукой товарищ Суш,— я с детства к ней привыкла. Дед мой говорил: сибирский дух.

— Ладно, у меня тут травка одна сушеная есть, закорючка называется, пожую, и на черемшу управа найдется.

— Так и живете один? — уже за ужином спросила товарищ Суш.

— Так и живу.

— У вас чисто, уютно, как у хорошей хозяйки. Я женщина, а вот на дом времени не хватает.

— У вас другая планида, да и заботы не мои. Что нонче с хлебом-то?

Товарищ Суш помрачнела.

— Плохо.— Она взяла кусочек хлеба и стала разминать его пальцами.— Не пойму одного: хлеб должен быть, по всем данным, должен, а разговариваешь с людьми, словно глухая стена перед тобой. Так и кажется, что сговорились между собой. И ответы одни и те же.— Товарищ Суш помолчала, с силой уминая катушок хлеба, и вдруг спросила: — А что вы думаете о председателе сельсовета Косых? — Думаю? — Старухин криво усмехнулся.— Что о нем думать! О нем все уже продумано.

— Не помогает он злостным неспадатчикам хлеба?

— Это с какой стороны подходить. Впрямую не помогает. Товарищ Суш невесело улыбнулась.

— А вкривую?

— Боится он их. Сам из бедняков, да и батрачил немало. Если копнуть, дворов десять обошел он в Северной Александровке, у кого весной, у кого осенью робил. Вот рабья жилка в нем и засела.

— Да, да,— повторила товарищ Суш,— рабья жилка... Это вы точно сказали. Рабья жилка еще у многих в крови.— Она сжала между ладонями катушок хлеба — получилась лепешечка.— Вот видите, с детства привычка, от отца еще доставалось мне за порчу хлеба, а отучиться не могу.

Товарищ Суш весело рассмеялась, и я подумал, что, если бы она знала, как ей идет смеяться, она бы смеялась часто.

— Что поделаешь, некоторые привычки оказываются сильнее нас, жилки эти, а лучше сказать — родимые пятна. Только одни безобидные, а другие... Другие очень даже обидные,— раздумчиво проговорила товарищ Суш.

Быстро она снова стала лепить из хлеба что-то, уже похожее на птичку, а через несколько секунд поставила на скатерть готового петушка.

— Ловко это у вас,— сказал дядя Вася.— Неужели отец наказывал за такое?

— Еще как. Не только за такую порчу хлеба, а и за крошки на столе.

— Это так,— согласился Старухин,— знал, значит, цену хлеба.

— Знал, знал... Что ж, засиделись мы, пора и на покой,— словно перебивая какие-то свои мысли, сказала она.

— Устраивайтесь на кровати, хлопец на печи любит, а я здесь, на лавке.

— Спасибо. Чувствую, стеснила я вас...

— Чего еще там. Можно сказать, живой дух в избе появился.

— Еще раз — спасибо. Давно уже так хорошо не чаевничала. Не проспайте бы завтра.

— Не проспим. Небось он спозарань подымет.— Старухин потрогал рукой хлебного петушка.

— А я и забыла.— Товарищ Суш снова звонко, молодо засмеялась.

Да, это была совсем, совсем другая товарищ Суш. Простая, милая, понятная. И почему я ее раньше побаивался?

Дядя Вася и впрямь поднялся с первыми петухами. Он расчистил во дворе выпавший за ночь снег, сварил картошку, нагрел в чугунке воду, приготовил чистое, вышитое красными петухами полотенце, которое я увидел впервые, и тогда уже погромче затопал своей деревяшкой. До этого он как-то умудрялся передвигаться бесшумно.

Товарищ Суш умылась, причесала свои коротко стриженные волосы, дядя Вася внимательно посмотрел на нее, и товарищ Суш почему-то смущенно улыбнулась, поглаживая на груди оборки. А дядя Вася — он как-то очень изменился, вел себя по-хозяйски уверенно и сказал, похлопывая ладонью по столешнице:

— Вот мы вчера говорили о хлебushке. Вот, к примеру, взять Степшу Корытова. Не заметила такого?

— Это который?

— Длинный такой, худой, заплакал еще.

— Ну этот-то,— скривилась товарищ Суш.

— Вот-вот. А он в своей длинной жилистой руке семейство в двадцать душ держит. Да еще как держит. Пять сыновей, пять невесток, четыре дочки, два зятя, внуки. И никто его послушаться не смеет. Домина вон какой — пятистенка, амбар, конюшня, коровник, двор листьяком выслан, ворота — картина, наличники — загляденье, на коньке дома — петух резной. Все сам мастерил. Ну, это у нас не в диковинку, небось заметили, что воротами да наличниками мы друг перед дружкой хвалимся. Не в них дело. А вот я думал, гадал: должен, должен у Степши хлеб быть. Пускай он сдал твердое задание. Да, видно, оно божеское было. Амбар у него пустой, это так. А ведь есть, есть у Степши хлеб! Вот я и думал, куда же он его сгоронил?

— Интересно,— живо откликнулась товарищ Суш.

— Думал, гадал, и вот такое мое решение: на заимке он его в закромах местечке упрятал. Не иначе как на заимке. Заимка его в глухомани — почитай, и заимка, и зимовье охотничье. Отгульная прозывается, а почему Отгульная — никто толком не знает. Еще прадед Степши ставил ее, лес кругом вырубил, землицы немало поднял, выгулы для скота поблизости, сенокосы. Крепкая заимка. Позапрошлый год я на коняке своей за косачами и глухарями подался в сторону Отгульной. Даже переночевал на заимке две ночи: дровишками, спичками, солью попользовался. И заметил

я в стороне целый бугор свежей земли, лапником листьяным заваленный. Да и на растопку щепы да стружки многовато. А строения ничего не видно, все старое. Кроме зимовья, овин стоит с сеновалом. Он и овин, и сушка для сена, и скотный двор. Не иначе Степша тайник смастерил в Отгульном, а что ему стоит — шесть мужиков зараз, они черта лысого своротят, не то что тайник. А зерно перебросить — это им пустяк. Шесть подвод разом — вот тебе и шитокрыто все. А кто и прознает — молчать будет, у самих рыльце в пушку, у самих тайники есть. Вот как вы рассудите все это?

Я и не подозревал, что дядя Вася может быть таким многословным.

Как преобразилась товарищ Суш!

Выпуклые ее глаза стали отливать стальным блеском. Она накинута на плечи свою кожанку, и ничто в ней не напоминало вчерашнюю женщину, уютно сидящую за столом, да и сегодняшнюю, такую непривычно смущенную.

— Ну, что скажешь? — вдруг обратилась ко мне товарищ Суш.— Живешь здесь две недели, а поговорить с Василием Гавриловичем толком не смог.

От неожиданности я растерялся.

— Мы говорили...

— Говорили, да не о том. Смотреть в корень надо, предупреждал еще Козьма Прутков.

— Зри в корень,— подсказал дядя Вася.— Это рази Кузьма Прутков? Так говорил наш унтер-офицер еще на царской службе.

— И он был прав. Так вот, дорогие товарищи, будем зрить в корень. Сейчас же с председателем сельсовета, с милиционером и понятыми поедом на заимку. Далеко это?

— Да верст двадцать верных.

Перед тем как выйти, дядя Вася незаметно сунул мне пистолет в кобуре.

— Прицепи свою пугалку,— сказал он,— не ровен час — пригодится.

Корытов на заимку ехать отказался. Он смотрел затравленно и злобно выдвигая из себя слова:

— Ежели заарестуете — везите силком, а так — делать мне там неча. Можете искать, хоть все вверх дном перевернуть. Это кто же такой заботный нашелся? Неужто я такой дурак — хлеб прятать на заимке? Да и где его спрячешь там? Делать неча — ищите.

Я уже начал сомневаться. И такой убедительный утренний рассказ дяди Васи не внушал сейчас почему-то надежд на успех.

Но товарищ Суш была непреклонна. Она поправила на голове кубанку, подняла ворот полушубка и сказала:

— Зачем арестовывать? Воля ваша, оставайтесь. Все равно ведь не покажете, где у вас хлеб припрятан. Обойдемся. Представитель власти имеется, понятые есть, милиционер — налицо! Как ваша фамилия, товарищ?

Милиционер взял под козырек:

— Корытов Иван.

Товарищ Суш насторожилась:

— Не родственник?

— Мы все тут сродственники. Полсела Корытовых,— не смутился милиционер.— Не сумлевайтесь, мы службу знаем.

Ехали на четырех подводах. Двинулись словно свадебным поездом по целинному, нетронутому снегу. Коня шли, лошадиным своим чутьем угадывая наезженную дорогу, занесенную сейчас снегом. Я сидел рядом с милиционером Корытовым. Впереди пробивал дорогу дядя Вася на своей Саврасухе, рядом с ним сидела товарищ Суш. Председатель сельсовета Косых и три понятых — молодые, здоровые парни — замыкающие. День выдался мягкий, солнечный, тихий, без ветерка — редкий для этой поры года денек. И хотя в нашем городке воздух был чистый, я, может быть, впервые в жизни дышал здесь так, словно пил и пил ключевую воду в жаркий день за перевозом, на той стороне нашей реки.

Милиционер Корытов, простуженно пошмыгивая, то и дело притрагивался рукавицей к носу и насмешливо говорил:

— Прокатимся за милу душу, это как пить дать. А чтобы хлеба... ничо, брат, не получится. С чем прикатим, с тем и укатим. Жалко Степш. Вечный трудяга. В нем еле душа держится. Не везет ему. Нет, не везет.

Я не отвечал. Вспомнились слова дяди Васи о Корытове: нашел кого жалеть этот милиционер. Да и как-то не думалось ни о чем. Ночью я спал плохо, подушку свою отдал

товарищу Суш, а сейчас на морозце, прикрыв лицо большим воротом полушубка, так хорошо дремалось, что я и не заметил, как лошади остановились.

Вот она, заимка. Зимовье было срублено на совесть из круглого листвяка, коричнево-золотистого, прожаренного солнцем, продутого ветрами и временем. Большой двор обнесен сплошным заплотом, тоже из мелкомерного листвяка: ворота, калитка с затейливой резьбой — как при въезде в заправскую деревенскую усадьбу. Чуть поодаль от зимовья — домина без окон, с большими двустворчатыми воротами, с лестницей наверх. Ни замков, ни запоров — только деревянные задвижки.

Мы прошли в зимовье. Дом как дом.

По стенам широкие лавки, стол из плотно сбитых, тоже листвяничных половиц, глинобитная печь, закопченные чугуны, два железных ухвата на сучковатых, отполированных ручках, на полках — берестяные теса разных размеров, долбленные деревянные миски, на прибитых к стене сучках — березовые черпаки, ложки. Пахнет устоявшимся, застарелым дымом, деревянный потолок — черный, прокопченный. Почти на половину избы — полати.

— Ну, с чего начнем? — деловито осведомился Косых, обводя всех своим единственным зрячим глазом.

— Подпол тута имеется? — спросил милиционер.

— Все имеется, окромя хлеба, — хмыкнул кто-то из по-
нятых.

— А все ж таки осмотреть надоть. Али, может, сначала избу согреем? — засомневался Косых.

— Мы сюда не греться приехали, — отрезала товарищ Суш. — Как думаете, Василий Гаврилович, — обратилась она к дяде Васе, — с чего начнем?

— Подпол здесь пустынный. Уж воистину Степша не такой дурак, чтобы хлеб там прятать. Картошка хранится.

Все поняли, что Василий Старухин играет сегодня первую скрипку. Поняли, подивились, а может, и усмехнулись про себя, но вида не показали. Шутки шутить при товарище Суш никто не хотел, и прежде всего не хотел этого сам председатель сельсовета, товарищ Косых — как его там? — Евстихий Изосимович. Тут словечком вроде инковарды не отдела-
ешься.

— Пойдем спервоначалу осмотр на свободе сделаем. Изба от нас не уйдет, — заключил дядя Вася.

— И то правда, — согласилась с ним товарищ Суш.

Мы вышли из зимовья.

То, что дядя Вася называл овином, на самом деле было крытым двором, поставленным основательно, рубленным из того же листвяка. Нижняя половина — хоть в догонялки играй — была разгорожена на три части. Оказывается, ближе к весне сюда пригоняли коров на отел, молодежь — на прокорм.

Верхняя, высотой метра в два, была забита зеленой — недоспелым овсом с колосьями. Когда по лестнице поднялись и открыли широкую дверь на кованых петлях, оттуда потянуло летней свежестью и хлебным духом.

— М-да, — сдвинув на глаза шапку и почесав затылок, произнес Косых. — На этом сеновале, знаца, что хошь скоро-
нить можно. А как докопаться? Зеленку эту и за день не перекидаешь.

Внизу в большом порядке стояли в загородке железные и деревянные вилы, грабли, топоры и прочий хозяйствен-
ный скраб.

С тоской посматривали на них понятые, милиционер и даже товарищ Суш.

Только один дядя Вася был невозмутим. Он предложил на лошадях объехать вокруг заимки: мол, сеновал от нас тоже, как и зимовье, никуда не уйдет. А вилы и лопаты он велел прихватить с собой.

Недалеко от заимки открылась пашня десятины на три. Стерня была не везде покрыта снегом, а посередине поля стоял основательный стог соломы. Еще издали мы увидели на стое с десяток косачей. Были они, видать, непуганые, лениво как-то поднялись, перелетели на голую березу и ус-
лились как ни в чем не бывало.

Милиционер Корытов даже застонал в охотничьем азарте:

— Ах, мать честная, как же мы берданки не захватили?! Их всех снять можно бы. С нижней начинай, а верхние вниз смотреть будут, не улетят. Это уж как пить дать.

— Вот, вот! — жестко сказала товарищ Суш. — Нам еще только осталось здесь охоту открыть. — Она вопросительно взглянула на Старухина.

— В соломе этой едва ли что есть. И не станет Степша в таком ненадежном месте хлеб прятать. Давайте объедем



все вырубки, на которых он сено косит.

И стали мы объезжать вырубки — большие и малые поляны. Везде стояли стога сена. Мне казалось, что почти в каждом из них спрятан хлеб, и я удивлялся тому, что дядя Вася не сказал, чтобы поворошили хотя бы один из них. Я видел, что товарищ Суш как-то приуныла, а Косых ехидно ухмыляется.

— Наворотил ночью Корытов сенца, ничо не скажешь, — проговорил он, — а мы ему, знаца, вроде ревизию делаем.

Дядя Вася промолчал, и мы поехали дальше.

Еще издали нам открылось широкое поле. Посередине его стоял зарод сена, а почти на самом краю, поближе к лесу, — не очень большой стог.

— И-их, мать честна, вот это махину Степша отгрохал! — восхитился Косых. — Нашими силами мы и за день его не раскидаем.

И опять дядя Вася промолчал. Он полюбовался на зарод и направил лошадь к маленькому стожку. Все тронулись за ним. Почти около самого стожка возвышалась большая снежная куча.

Дядя Вася слез с кошовки и с лопатой, прихрамывая и проваливаясь своей деревяшкой в снег, направился к ней. Все мы последовали за ним.

— Ну-тка, — сказал он, — посмотрим, что это за штука. — Проворно он стал откидывать снег.

Показались сучья, ветки срубленных деревьев. Дядя Вася молча стал вытаскивать их из-под снега.

— Проворнее, проворнее! — командовал он. — Что это за бугор такой и откуда он взялся?

Ага, значит, это тот самый бугор земли, о котором утром говорил дядя Вася.

Но вот мы очистили его от ветвей, сучьев, снега и хвон, и он вполне открылся нашим глазам. Его осматривали со всех сторон, пытались увидеть хоть что-нибудь, что указало бы на тайник. Все было тщетно. И Косых, и милиционер Корытов, и даже сама товарищ Суш работали в поте лица. И хотя ничего обнаружено не было, у председателя сельсовета исчезла с лица его ухмылка. Он тоже, как и все мы, задумался над тем, как это на вырубке ни с того ни с сего вырос свежий холм земли.

Дядя Вася с лопатой в руке, ударяя ею в мерзлую землю, сосредоточенно о чем-то думал.

— А ну, мужиканы, раскидаем-ка этот стог сена.

Вот тут у Косых снова появилась его ехидная ухмылка. Уж если в огромном, как корабль, зароде Старухин не заподозрил тайник, то здесь-то — в стоге сена на три-четыре воза — откуда ему взяться? Тем не менее он первым пошел за вилами. Через двадцать — тридцать минут мы раскидали зарод и увидели две составленные из выдолбленных деревянных половинок невысокие трубы. Под самой серединой стога оказалась приваленная сухим листом западня с кованым кольцом.

Дядя Вася опустил ручку от вил в одну из труб, словно прочищая ее, и заключил:

— Отдушины, не иначе.

— Вот это да-а! — только и смог сказать милиционер Корытов. — Тебе бы, Василь, в милиции надо робить.

— Во-во, — подтвердил дядя Вася, — я бы быстро вас там разогнал. А ну, подымай эту штуковину! — скомандовал он.

Корытов схватил за кольцо и поднял тяжелую западню. Вниз вела лестница. Из западни пахнуло хлебным застоявшимся духом.

— Ну, Василий Гаврилович, ну, удружил! — приговаривала товарищ Суш, первой спускаясь по лестнице.

Свет, проникающий через лаз да в две отдушины, не давал нам возможности увидеть это подземеелье. Стали чиркать спичками, но это помогло мало. Постепенно глаза привыкли, и мы увидели рубленые из бревен стены, накатный, из бревен же, потолок, подпорные стояки, а по стене — отсек, засыпанный доверху зерном.

В подземеелье было душно, тепло, пахло прелым.

— Вот тебе и Степша! — ахал и охал Косых. — Ну, знаца, сукин сын, ни себе, ни людям. Схоронил хлеб, и все тебе. Надо же, знаца, отгрохал такое под землей. Это ж надоть!

— Сколько же здесь хлеба может быть? — спросила товарищ Суш.

Дядя Вася и Косых то и дело опускали руки в зерно.

— Наберется, чего-ничего, — заключил Косых. — Его скорее надо поднимать отсюда, а то все спрелеет. Тут подводы две надоть да мешки. — По своему обыкновению он почесал в затылке.

— Вот завтра с утра и займитесь этим, — распорядилась товарищ Суш.

— Тянуть тут, знаца, негоже, — согласился с ней Косых. Мы все поднялись наверх. Милиционер закрыл западню.

— Так оставлять будем? — спросил он, обращаясь почему-то к дяде Васе. — Ну и ну! Вот Степша, холера бы его взяла.

— Э, чего там! — бесшабашно сдвинув на затылок шапку, проговорил Старухин. — Долго ли нам заново сметать эту копну на старом месте. Мужики тут все проворные, как я погляжу, а оно спокойнее будет.

Так и сделали.

К заимке вернулись ближе к сумеркам. Все были довольны, возбуждены, а председатель сельсовета, такой всегда флегматичный и медлительный, кажется, больше всех.

— Эхма, — произнес он, когда мы въехали в ворота заимки, — тот зарод сена надо было нам тоже пошевелить, не в одном месте тут, видать, хлебушко-то припрятано. Вот убей меня громом, если и на сеновале этом его нет.

— Ну, паря, — рассмеялся один из понятых, — что, потвоему, мы должны сейчас и зеленку всю эту с сеновала выгрузить? Тут наших никаких сил не хватит. Да и свечерело уже, а нам еще домой вертаться часа два надоть.

Косых молча обошел вокруг скотного двора, поглядывая вверх на сеновал.

— А что, ежели нам доски оторвать с этой лобовой стороны? Ведь если Степша хлеб тут спрятал, то он в мешках. Дело-то недолгое, а мы вилами, знаца, и пощупаем.

Принесли лестницу. Косых сам полез на нее с топором, оторвал три доски, потом попросил вилы и стал ими скидывать зеленку.

— Туго стервец набил, как спрессовал, — приговаривал он.

Мы стояли внизу и смотрели на его работу. Товарищ Суш тоже благосклонно поглядывала на Косых и сказала дяде Васе:

— А он старательный.

— Робить когда-то мог, да вот советская власть его разбаловала.

— Мать честна! — вдруг воскликнул Косых. — Да тут что-то вилы туго идут. — Он азартно тыкал во все стороны вилами, а глаз его готов был выскочить.

— Мать честна, пшеничка сыплется! — повернув к нам голову, доложил он.

— Хватит, хватит тебе! — остановил его дядя Вася. — Ты так все мешки пропорешь. — И уже то ли с одобрением, то ли с удивлением добавил: — А ты соображаешь. Только вот чо нам делать теперя?

— Придется тут кому-нибудь остаться, — сказала товарищ Суш. — Так все это оставлять нельзя.

— Да кому, знаца, оставаться, как не милиции, — отозвался Косых.

— Это, пожалуй, правильно. — И, подумав, товарищ Суш сказала: — А чтобы милиции не скучно было, не остаться ли и вам, Василий Гаврилович?

— Ну что ж, я не против.

— Разрешите и мне с ними, — вызвался я.

— Оставайся, оставайся, — засмеялась товарищ Суш. — Я вижу, ты без своего дяди Васи и обойтись не можешь. Прямо прикипел к нему.

— А как же вы одна будете там? — вдруг встревожился я.

— Подумаешь, какая невидаль, — переночую.

— У меня будете? — спросил дядя Вася.

— А то где же.

— Ну, еду каку-никаку найдете.

— Я-то найду, а вот вы чем сегодня поужинаете?

— О нас не беспокойтесь. В подполе картошка, на вешале в углу я приметил сушеную рыбу. Соль есть, спички есть, снег есть — кипятком будет. Обойдемся!

— Ну, тогда поехали. Завтра ждите подводы.

— Тут теперича пятью подводами не отделаешься.

— Это уж ваша забота, надеюсь, справитесь. — Товарищ Суш на прощание пожала нам всем троим руки.

— Ну и денек, — сказал дядя Вася, когда мы остались одни, — всем денькам денек. Представляю, что там будет со Степшой. Весть-то эта седни по селу разнесется.

— Эх, Степша, Степша... Робил, робил, а все впустую, — сокрушенно сказал милиционер. — Без семян останется, да и семья голодать будет.

— Ишь ты, пожалел злыдня, — насмешливо бросил дядя Вася. — Небось он нас не жалеет.

— А чо тебя жалеть? — удивился милиционер. — Чо он

тебе худого сделал?

— А ты ведь и вправду сродственник ему, вот и заболело.

— Не в этом дело. Я сродственник — десятая вода на киселе, а ты за что злобишься на него? За то, что брат его бабу твою увел? Так он здесь при чем?

— Ты это брось. Слышь? Брось, говорю, — яростно бледнея, выдавил из себя дядя Вася.

— Ладно, ладно, — миролюбиво сказал милиционер с явным испугом. — Не сердчай, Василий, не хотел я тебя обидеть.

— Не хотел, — проворчал дядя Вася. — Вся ваша порода такая.

— Не сердчай. Сдурю я. Чесслово — сдурю.

— Перво-наперво, — остывая, проговорил дядя Вася, — давайте Саврасуху устроим, а потом и сами обживаться будем.

— Саврасуха чо, вон дворец для нее, зеленку в колоду сейчас подбросим, такого небось она у тебя не видывала давным-давно. Овсом-то ты ее не балуешь? — заискивающе говорил милиционер.

— Овсом, — хмыкнул дядя Вася. — Сено и то с грехом пополам до новых зеленей еле-еле растягиваю. Так уж, когда весной пахота, пуда два-три поберегаю.

Дядя Вася распряг Саврасуху, я увел ее в скотный двор, принес несколько охапок зеленки, которую сбросил с сеновала Косых, а Корытов почему-то решил поставить сани под навес рядом с хозяйскими телегами, саями и кошовкой. Он поднял оглобли, связал их подпругой.

— Ишь ты, — ухмыльнулся дядя Вася, — а ты, выходит, мужик хозяйственный.

— Не с неба свалился и не с пеленок в милиции, — довольно и, как мне показалось, подобострастно проговорил Корытов.

— Ну а теперь в дому порядок наводить надоть. Зимовье здесь быстро нагревается — часа за два, не боле. Еду сварганим — и на боковую. На печи втроем уместимся.

Первым делом дядя Вася набрал мелкой щепы, поставил ее аккуратно одну к другой на загнетке и зажег. В избе стали различимы стены, стол, скамейки. Он велел мне спуститься в подполье с зажженной лучиной, подал берестяное ведро с ручкой, я набрал картошки.

— А чо, мужиканы, давайте разведем костерок во дворе да прямо в нем и запечем картошку, — предложил дядя Вася.

Костер быстро разгоношил Корытова, а дядя Вася растопил печь.

Необыкновенно вкусной была в этот вечер картошка, такой, пожалуй, в жизни я больше и не едал. И вообще хорошо и уютно сидели мы за столом при свете лучин на загнетке.

Устали мы, конечно, изрядно, но усталость эта была особой, доселе мне неизвестной. И растянулся этот день, как мне показалось, чуть ли не в целый месяц.

Изда и в самом деле быстро нагревалась.

Корытов погасил костер, присыпал его снегом, обошел еще раз двор, заглянул к Саврасухе — она мирно жевала зеленку, — убрал на место лестницу от дыры в сеновале и вернулся в избу довольный и вполне благодушный.

— Эхма, — потянулся он так, что хрустнули косточки, — дадим же мы сейчас храпака за милую душу.

Дядя Вася расстегнул свой широкий пояс, снял деревяшку, пощипал на одной ноге к печке, подтянулся на руках, встал ногой на заступ в печи и сказал:

— Вот благодать — тут во всю печь потник. Ну, мужиканы, закрывайте дверь на щеколду, чтобы, не приведи господь, медведь к нам не пожаловал, и давайте на боковую.

Лучины на загнетке прогорели — стало темно. В окошко свет почти не проникал, с той стороны оно было забито досками.

Стало настолько тепло, что мы хотя и не раздевались, но сняли валенки, оставшись в шерстяных носках, а полушубками укрылись. Под головами у нас ничего не было, и я вспомнил о своей подушке...

Что-то еще говорил Корытов дяде Васе, но я уже засыпал.

Проснулся от дикого ржания лошади и от запаха гари. В окне, в щели между досками, посверкивали отблески огня. Слышался треск, шум.

— Чо, чо такое? — дико вскрикнул Корытов.

— Не видишь, горим. Скорее открывай дверь!

Корытов спрыгнул с печи, бросился к двери, но она не отворилась.

— С той стороны подперто.

— Окно, окно вышибай!

— Да как же его вышибать?

— Чугуном, ухватом. Выламывай доски.

Я скатился с печи и услышал, как упал дядя Вася.

Корытов выломал раму, выбил доски, и в маленькое окно мы увидели пылающий скотный двор и сеновал. С той стороны горели и стены нашего зимовья.

— Вылазь наружу, — толкал меня дядя Вася, — скорее вылазь!

Оконце было настолько маленьким, что ни Корытов, ни дядя Вася в него бы не пролезли.

Я почему-то не двигался с места.

— Вылазь, тебе говорю, мать твою... — Дядя Вася выругался.

Меня словно подхлестнули эти слова, и я бросился к окну. Корытов прокричал:

— Погоди ты — тут под самым окном костер!

Он разбросал ухватом горящие поленья и помог мне выбраться. Я спустился по уже пылающим бревнам, спрыгнул и почувствовал боль в ноге.

— Двери, двери! — кричал мне Корытов. — Посмотри, что с дверями!

Я увидел, что там тоже пылает костер, схватил доску и стал ею разбрасывать горящие поленья. Не помню уже, как я дотянулся, отбросил горящий сутонок, которым дверь была подперта, отодвинул щеколду. Корытов выбежал, но тут же вернулся. В дверях, держась за косяки, показался дядя Вася. Он был страшен в эту минуту.

— Беги открывай ворота конюшни. Саврасуха же...

Я побежал, но увидел, что ворота уже объаты огнем, крыша обваливалась на глазах, стоял страшный шум, треск. Каким образом дядя Вася на одной своей ноге обогнал меня, не представляю. Он бросился прямо в огонь, распахнул горящие ворота, оттуда вылетела обезумевшая лошадь. Она бросилась на землю и стала валиться в снег.

Я пытался помочь дяде Васе встать, но он оттолкнул меня и пополз на четвереньках от конюшни.

Корытов в это время успел вынести наши полушубки, валенки, шапки и даже деревяшку дяди Васи.

— Гады, гады, — стонал дядя Вася, — что натворили...

Конюшня, зимовье, навес с телегами, саями, кошовкой, часть заплота сгорели дотла.

Удушающе пахло гарью и жареным зерном.

Мы ушли со двора. Еле-еле нам удалось поднять Саврасуху и увести ее с собой.

Корытов непрестанно оглядывался кругом, не выпуская из руки нагана. Опасливо поглядывая в сторону дяди Васи, он тихо говорил будто самому себе:

— Ах, Степша, Степша, что ты натворил! Сгубил и себя, и семью.

— Да откуда вы знаете, что это он сделал? — удивился я.

— А то кто же? Он это, он.

Милиционер не ошибся. Как выяснилось, в этот же день Степша еще с вечера выстрелил из берданки в товарища Суш. Она стояла перед окном, взбивая мою подушку, и в это время раздался выстрел. Товарищ Суш упала, но подушка спасла ее: пуля и дробины застряли в пуху, только две из них пробили ее и ранили товарища Суш в левое плечо.

Степша же на трех лошадях в кошовках с двумя старшими сыновьями ускакал на займку. Они знали, что мы ночуем в зимовье, обложили его сухими дровами и подожгли — решили нас зажарить живьем. Потом подожгли конюшню и двинулись к тайнику с хлебом. Побросав в тайник сено, они подпалили его и, не дожидаясь, укатили в Тасеевскую тайгу.

Там, по слухам, собралось немало бывших красных партизан да и таких людей, как Степша Корытов. Тасеевское восстание взбудоражило все вокруг на сотни километров, вести о нем докатились до Новосибирска и даже до Москвы. Утихомиривать бывших красных партизан приезжал сам Буденный. Он ехал от Канска до Тасеева на лошадях без всякой охраны, кажется, ему удалось убедить восставших сложить оружие.

С перевязанным плечом, в накинутой кожанке товарищ Суш в этот же день с председателем сельсовета и понятыми ходила по дворам с обыском. Некоторые крестьяне, не дожидаясь своей очереди, выскребли припрятанное зерно, повезли сдавать его на приемный пункт в Таловку и возвращались оттуда с квитанциями.

Что еще сказать?

Саврасуха пала. Дядя Вася очень тужил. И товарищ Суш утешала его. Больше того: распорядилась изъять пару лошадей у Корятова и передать их дяде Васе. Впрочем, все хозяйство Корятова пошло под раскулачивание, а семью выселили.

— А все ж таки сплеховали мы со Степшей Корятовым, — тяжело вздохнув, сказал дядя Вася. — Не спать бы нам надо было на заимке. Все ж таки при оружии были, не сумел бы Степша такой беды надумать. Хотя этот-то, милиционер, и вправду сродственник Степши, все жалел его. На его пугалку не очень-то понадеешься.

Глаза у товарища Суш округлились, и она жестко проговорила:

— Вот как, жалел? Ну хорошо, мы его тоже пожалеим. Все мы бываем умны задним числом. Хорошо, что вы дверь закрыли, они бы вас все, как котят, вырезали.

— Уж тут без сумлений, — согласился дядя Вася. — Правда, он нас живо зажарить решил. Тоже неплохо. До точки дошел Степша. Вся порода Корятовых такая... Вы к этому милиционеру присмотритесь. Он ведь тоже из этих, корытовских.

Первый раз за все время, пока я жил в Северной Александровке, эти слова дяди Васи, да и сам он, с недобрым блеском в глазах, со сжатыми челюстями, не понравились мне. Я ведь тоже в первый день жалел Степшу Корятова.

Впрочем, вполне разобраться в своих чувствах я тогда не мог. Да и смог лишь многие годы спустя. Товарищ Суш и дядя Вася Старухин долго еще, очень долго были людьми, которыми я восхищался.

На новом месте

Меня, молодого парнишку, направили работать в северный район.

Из крайкома комсомола приехал в наш город инструктор. Чем-то, видать, я ему приглянулся (а в ту пору я уже занимал в райкоме комсомола большой пост: был председателем районного бюро детской коммунистической организации), и было решено включить меня в «счет двадцати пяти для укрепления северных комсомольских организаций».

В Подчанах тамошний секретарь райкома комсомола Саша Коляскин на первых порах приютил меня у себя на квартире, где он жил вместе со своей матерью, маленькой, очень подвижной, кругленькой старушкой с хитроватыми ласковыми глазами.

Как я теперь понимаю, Елена Семеновна, может быть, и не была старушкой, но в ту пору все, кому было за сорок, казались мне пожилыми.

Саша приехал в Подчаны около года тому назад из Черемхова, где работал забойщиком и был секретарем комсомольской ячейки на шахте. Ко времени моего приезда он успел обжиться в Подчанах и вызвать к себе мать. Он тоже казался мне пожилым, а было ему лет двадцать шесть — двадцать восемь.

Месяца через два-три, пока я огляделся на новом месте, меня послали в командировку в Подобец — самое дальнее село нашего района.

— Проведешь организационное собрание комсомольской ячейки, — напутствовал меня Саша Коляскин. — Там четыре комсомольца. Надо избрать секретаря. И вообще посмотри: село там глухое, но есть хорошая молодежь, а это резерв роста. Понял?

Я все понял.

Село Подобец растянулось в одну улицу по берегу реки.

Крепкие дома из толстомерного, темного от солнца и времени кругляка, заплоты из широченного горбыля, высокие крыльца с видом на неоглядную реку, обрывистый берег и зеленый мир нетронутого леса.

Да, нетронутого. Противоположный берег — ладно, до него руки у сельчан не доходили, а здесь, совсем рядом с домами, почему здесь вековые красавицы сосны стояли в своей первозданности, почему их не трогали, а ехали на вырубку за десятком, а то и больше километров, заготавливали там древесину для строительства и для всех хозяйственных нужд, везли на сани и телегах дрова, жерди для поскотин, оставляя близстоящий лес нетронутым?

— Такая заповедь от дедов-прадедов оставлена нам, — говорил хозяин моей квартиры Боташев. — Ты весной к нам приезжай, свожу тебя в этот лес. Не налюбуешься. У нас тут рядом кедрачи, орехи добываем. Да и белкой, даже соболем промышляем.

Боташев, сутулый, широкоплечий мужик с русыми, подстриженными «под горшок» волосами и необыкновенно синими, добро, пытливо глядящими глазами, был мне очень симпатичен. Ей-ей, везло мне в жизни на хороших людей.

Много впоследствии забывалось, а такие люди, как Боташев, запоминались навсегда.

Стены большой его горницы были сплошь уставлены широкими полками с книгами. Не дом, а целая библиотека. Вот уж чего я не ожидал встретить в Подобце.

И тянулись сюда люди со всего села.

Здесь я повстречал одного из четырех местных комсомольцев — Гошу Кулакова.

— Я вот все думаю, откуда фамилии пошли у людей, — раздумчиво говорил Боташев. — Не случайно все это. Кулаков, например. Думаешь, богатей какой в дедах-прадедах ходил, кулак то есть? Ан нет. У него прадед-прапрадед кулачные бои вел, большой силы и ловкости был человек, заводила! Вот и заработал свою фамилию.

Я смотрел на Гошу Кулакова, широкоскулого, с выступающей вперед челюстью, с широкими, как грабли, ручищами, улыбчивого, по-медвежьи неуклюжего, сильного парня, и соглашался. У такого наверняка прапрадед шел напролом в кулачных боях, такому фамилия Кулаков — в самый раз.

Познакомился я и с двумя молоденькими учительницами — выпускницами педучилища из краевого центра, комсомолками, недавно, с нового учебного года, присланными в местную школу. Одну звали Шурой, другую — Мурой. Боташев незлобиво говорил о них:

— Разведут шуры-муры. Бедовые девахи. Надо бы скорее замуж их выдать, а то быть беде.

Четвертым комсомольцем был присланный из района бухгалтер колхоза Виктор Буковский, застенчивый парень, которого очень ценил председатель колхоза Соленьный.

Единственный член партии на селе, Соленьный, когда-то отслуживший военную службу на флоте, ходил с тех пор в неизменной полосатой тельняшке. Это он настоял, и Коляскин согласился с ним, на создании в селе комсомольской ячейки.

Первое собрание проходило в правлении колхоза. Открывал его Соленьный.

— Ну вот, дорогие товарищи комсомольцы, — сказал он, ероша волосы, — сегодня, можно сказать, исторический день. Вы собрались вместе, чтобы, значит, оформить ячейку. Что такое ячейка? — Он задумался, обводя всех взглядом, словно оценивая каждого. — Ячейка — это как семья, все за одного, и один за всех. Вас еще мало, но лиха беда начало. Вас четверо, а я буду пятый. Как член партии и прикрепленный к ячейке. Так что нас будет пятеро, и мы будем отвечать за всю жизнь на селе. А потом нас станет больше. Мы еще доживем до того, что у нас будет партиячка и кое-кто из вас станет коммунистом. Придет время. Придет время, — повторил он и опять осматривал многочисленное собрание.

А оно шло на высокой ноте.

От имени райкома комсомола я говорил о текущем моменте. Вспомнил пламенные речи товарища Суш. Вот кому я подражал. Пусть не думают комсомольцы Подобца, что их никто не видит и никто не слышит. Их дела, их революционный порыв дойдут до мирового пролетариата. А дел у них будет по горло, надо создать Синюю блузу, в селе даже нет избы-читальни, пионерский отряд не оформлен. Надо организовать сбор золы для удобрений, председатель колхоза товарищ Соленьный мечтает о том, чтобы развести огород и выращивать овощи. Это ли не задача для ячейки? Наконец, ликвидация неграмотности — разве могут комсомольцы пройти мимо?! А стенгазета? Почему не выпускается стенгазета?..

Много, много задач стояло перед молодой ячейкой.

Секретарем ее единогласно избрали Гошу Кулакова. Была принята заранее подготовленная резолюция. В ней говорилось: «Мы, молодые коммунисты Подобца, объявляем о создании в нашем селе комсомольской ячейки и обязуемся во всем и всегда помогать строительству коммунизма, нести свет и знания в массы, быть передовыми в труде, показывать пример в личной жизни, не пить и не курить, не сквернословить, повышать свой идейно-политический уровень, растить молодую смену — пионерию, растить ряды комсомолии, готовить себя для вступления в партию».

Я привез эту резолюцию из Подчаны, ее мы написали заранее вместе с Сашей Коляскиным. На все случаи, так как новые ячейки создавались не только в Подобце. А «пионерию» и «комсомолию» — это были любимые Сашины слова.

В заключение товарищ Солёный, еще больше лохматя голову, предложил спеть Интернационал.

Мы встали плечом к плечу и необыкновенно торжественно пропели гимн. Слова знали не все, но Шура с Мурой вели хор.

— Эх,— сказал Солёный.— До чего хорошо!

Действительно, было хорошо и не хотелось расходиться. Мы шли по улице широкой шеренгой, держась за руки.

— А что, ребята, зайдём к Боташеву,— предложил Солёный.— Он хоть у нас и беспартийный, но крепко сочувствующий нашей партии.

И мы пошли к моему хозяину.

Тот обрадовался гостям, засуетился, жена его Мария Иннокентьевна, тетя Маня, быстро раздула самовар, поставила на стол шаньги, свежие калачи, большую крынку с золотистым мёдом, медный таз с кедровыми орехами — в общем, пир. Стол облепила ребятня Боташевых — целых семь отпрысков.

— Ну, друзья-товарищи,— торжественно сказал Боташев.— Поздравляю вас. Вы теперь — ячейка, вы теперь — сила. Эх, годы мои не те, а то бы и я к вам подался.

— Ничего, Серега, ты в партию готовься. В партию! Сначала сочувствующим тебя оформим через райком, а после и кандидаты. Ты у нас мужик грамотный. Вот в ликбезе поучаствуй. Теперь, брат, мы и за ликбез возьмемся. Вот отряд пионерский создадим, твоих ребят — в пионеры. Такие дела завернем, что и вправду мировой пролетариат услышит. Правильно я говорю?— обратился ко мне Солёный и лукаво, заговорщицки подмигнул.

Что же, он говорил правильно. Я с ним был целиком и полностью согласен.

Прожил я в Подобце еще недели две.

Мы создали пионерский отряд, торжественно принимали ребят в пионеры в присутствии всех комсомольцев. Вожатым отряда на собрании ячейки утвердили Шуру. Она раздобыла в сельпо красный материал, и жена Боташева тетя Маня, у которой была единственная во всем селе швейная машинка, оставленная в наследство кем-то из ссыльных, сшила пионерские галстуки для всего отряда и для троих своих сыновей. А заодно и косынку для себя и секретаря сельсовета Вассы, которую мы наметили в ближайшее время принять в комсомол.

В общем, как я думал, будет о чем рапортовать Саше Коляскину, который уже считал себя чуть ли не коренным подчаем и с гордостью говорил: «Комсомолия Сибири растёт не по дням, а по часам».

Суд скорый

Через год ранней весной меня снова послали в Подобец уполномоченным на весенний сев.

Застрел я там надолго — пришлось ждать, пока не прошел лед по Речице и не открылась навигация. Собственно, в «навигации» в нижней части Речицы участвовал единственный катер «Комсомолец», принадлежащий райкому партии. Другого транспорта здесь не было.

То ли в шутку, то ли всерьез рассказывали, что катер этот ходит с незапамятных времен, только в старое время его звали «Иноходец». Брал он на борт человек пятнадцать — двадцать, не больше, и во время летних отпусков маршрут его проходил почти исключительно от райцентра вниз по Речице, а отпускники там уже пересаживались на пароход и достигали «Большой земли» — краевого центра.

В Подобце на время распутицы застрел районный судья Ахрименя. Добродушный человек огромного роста, улыбочный, любил рассказать солёный анекдот и сам же первый трубно хохотал над ним.

Дел у него, как мне казалось, здесь не было. Несколько раз он уезжал верхом в небольшие левобережные деревеньки, но и там все было в порядке, поэтому Ахрименя возвращался в Подобец — тут все же было повеселее. Ко мне он относился снисходительно и, похихатывая, рассказывал свои бесконечные анекдоты. Ему, видимо, нравилось, как я каждый раз краснею и норовлю уйти из веселой компании, состоявшей из учителя с его бойкой женой, местной фельдшершей, которую называли не иначе, как доктором, и председателя местного сельсовета — мужика с откормленным загривком и пудовыми кулаками. Фельдшерша-доктор не краснела и не прятала глаз, а, наваливаясь грудью на стол и подперев голову руками, вместе с Ахрименей громко хохотала над анекдотами.



Учитель и его жена то ли были избраны, то ли назначены народными заседателями. Правда, за все время в Подобце пока еще не состоялось ни одного заседания суда. Да и в районе, насколько мне известно, что-то никто не воровал, никто не хулиганил и не убивал. Дома не замыкались, чужого не трогали, браконьерства не водилось.

Жизнь в Подобце, как и во всем районе, была тихой, без особых новостей, а тем более потрясений. Да и то сказать: газет здесь не получали, радио не было. Если приедет из района уполномоченный, проведет собрание, расскажет о текущем моменте — вот и все новости, а уж если он привезет газету, то ее и совсем зачитают до дыр. Учебники в местной школе переходили из поколения в поколение, книги водились на селе только у одного человека — Боташева Сергея Илларионовича. Когда-то в доме его отца жила ссыльные поселенцы. И после революции их перебивало здесь достаточно. Почти все они были книголюбцами, и еще подростком Сергей пристрастился с их помощью к грамоте. Школы в ту пору в Подобце не было. Одно слово — реченская глухомань. Постепенно у Сергея скапливались книги; ссыльные, отбывая срок, оставляли ему на память все, что у них было. Во все годы дом Боташевых был как заезжий двор для уполномоченных. Я, например, уже в третий раз останавливался у них.

Боташев выдавал книги каждому в селе, кто хотел читать. Записей никаких не вел, и можно было только поражаться его памяти: он знал, кому что давал и на какой срок. Условие было одно: книгу вернуть вовремя, не загубить страниц, не дай бог оставить какие-нибудь пятна, а тем более вырвать страницу на «закрутку» — находились и такие. Да и в собственной семье — а у Сергея Илларионовича, кроме жены и матери, было семеро детей — к книге существовало прямо-таки трепетное отношение. И, что совсем меня удивляло, по вечерам, при свете керосиновой лампы Сергей Илларионович читал вслух детям и взрослым стихи Пушкина и Лермонтова, рассказы Короленко и Чехова.

Сам Боташев и его жена работали в колхозе, мать вела домашнее хозяйство. Первым, кто научил меня пахать, был Сергей Илларионович.

— Ты, паря, не жми сильно на рукоятки, лемех сам свое возьмет, только направляй его, — говорил он, — и лошадей не дергай. Лошадь знает свою борозду, ты не мешай ей. Вот она, земляца наша. Не земляца, а масло. Видишь, как пласт ложится? Главное, прошел гон, вот тут поверни коней так, чтобы лемех у тебя тютя в тютю попал да селезня на закрайке не оставил. И зачинай новый гон. Оно и пойдет так: вспашка с двух сторон, а вспаханный клин все ширше и ширше... Только селезня не оставляй! — повторял он.

Я не встречал человека, который так любил бы землю, как Боташев. Это были его земля и его лошади. Тут стоит сказать, что пара коней, на которых он сейчас работал, до коллективизации принадлежала ему. И земельный надел с дедовских времен был тоже его. Председатель колхоза Соленьный, добряк и рачительный хозяин, не возражал, чтобы за Боташевыми были закреплены две лошади, до обобществления принадлежавшие ему.

Земельные наделы были раскиданы по всему левобережью, на вырубках у тайги больших или малых вырубках. Так и жили. Урожай собирали немалый, не зная химикатов, удобряя землю только конским навозом.

В этот день мы с председателем колхоза Соленьным верхами на лошадях поехали к дальним пашням в бригаду, которую возглавлял секретарь комсомольской ячейки колхоза Георгий Кулаков.

И надо было случиться, что именно в этот день судья Ахрименя решил тоже сделать объезд некоторых пашен в сопровождении председателя сельсовета. Фамилии его я не помню, врезалась в память только его внешность, особенно могучие кисти рук, которые, казалось, перетягивали вперед его приземистую фигуру.

За все время пребывания Ахримени в Подобце председатель сельсовета не отходил от него.

Когда мы с Соленьным вернулись на следующий день в село (а ночевали мы в бригадном стане), нас сразу же ошеломила новость: арестован Боташев.

Милиционер, обслуживающий несколько сел левобережья, изымающий от безделья, съездил за Боташевым и доставил его в сельсовет верхом на лошади, пристроив позади себя.

Поместили его в чулан под высоким крыльцом сельсовета. Милиционер охранял его и никого не подпускал к щелястой двери. Из-за нее я увидел не синие, как

всегда, а красные, будто у кролика, глаза моего хозяина.

Соленьный набросился на милиционера:

— Ты что — сдурел? За что держишь Боташева? Выпусти немедленно!

— Чаво раскричались? Я вам кто? Мне приказано — я охраняю.

— Кем приказано? — кипятился Соленьный, и рябины на его лице, которые раньше не бросались в глаза, побелели. — Я тебя спрашиваю!

— Кем надо, тем и приказано. Прошу отойти в сторону и не застывать.

Соленьный вбежал по лестнице в дом. Там, в комнате, на дверях которой было намалевано белыми буквами на кумачовом лоскуте слово «КАБИНЕТ», закрылись судья и председатель сельсовета.

— С утра сидят закрывшись, — сказала коротко подстриженная девушка в красной косынке — секретарь сельсовета Васса. — Иван Иванович вас спрашивали. На три часа в школе суд назначен.

— Суд? Над кем?

— Боташева судить будут.

— Вы что, сдурели? За что судить?

— По закону от седьмого августа.

— Что?! — уже кричал Соленьный. — Боташев — вор?

Дверь кабинета открылась, на пороге, пригнувшись, стоял Ахрименя.

— Что за крик? — грозно спросил он.

— Да вот, товарищ судья, — робая и понизив голос, проговорил Иван Иванович. — Тут прямо несусветные дела творятся. Говорят, суд над Боташевым от седьмого августа. Это как же так? Седьмое августа — это же за воровство государственного...

— И кол-хоз-ного! — сделав шаг вперед от двери и распрямляясь во весь свой богатырский рост, раздельно, с нажимом произнес судья.

— Да не может того быть! Вы хоть у кого спросите — честнее Сереги у нас на селе никого не сыщешь.

— И спросим, на то и суд. С вас вот спросим: как это вы умудрились держать в колхозе скрытого единоличника?

— Скрытого? Да что же это такое творится? Кто это его скрывал? Он весь на виду!

— Вот-вот. Как хорошо вы придумали: в колхоз вступил, а лошадей оставили за ним, землю даже оставили. Вы понимаете, куда вы покатались?.. Может, у вас еще такие, с позволения сказать, колхозники есть?..

— Да нет же, — дрожащими губами, окончательно теряя свой запал и заикаясь, выговорил Иван Иванович.

— Да это же не колхоз, а фикция. Вы же преступник. Обманщик партии и советской власти. Нечего сказать — устроились! Значит, тягло собственное, земля собственная, а семена колхозные? Да еще протравленной пшеницей коней губить? Десять килограммов протравленной пшеницы ваш Боташев прямо в борозде скормил коням. Это вам что? Еще неизвестно, останутся ли они живы!

— О-хо-хо! — понурил голову Соленьный. — Как же теперь быть?

— Отвечать придется перед советским законом вместе с Боташевым, — жестко заключил Ахрименя. — Садитесь и пишите объяснение.

Я уже ничего не понимал. Вдруг на какое-то время стало казаться, что судья с его непреклонной логикой прав. Что там произошло, почему Сергей Илларионович стал в борозде кормить лошадей протравленным зерном? Неужели он хотел отравить лошадей, которых так любил и берег?..

— Товарищ Ахрименя, — попробовал я вступить в разговор. — Тут недоразумение какое-то. Не мог он травить своих коней.

— А ты откуда знаешь? — повернулся ко мне всем своим могучим торсом судья.

— Да я же несколько раз был на этом поле и лошадей этих видел.

— Занимался бы ты своим делом, — отчеканил судья. — Что ты во взрослые дела лезешь? Пошел бы к пионерам, там твое место.

Рядом с этим гигантом я почувствовал себя ничтожно малой величиной. И тут же вышел в сени, а потом на крыльцо дома.

Где-то подо мной стоял, уткнувшись в щелястую дверь, Боташев. Поодаль я увидел его жену в окружении всей своей ребятни. Среди них были пионеры. Трое носили красные галстуки. А на голове жены Боташева — красная косынка...

Я спустился по лестнице и подошел к ним. Тетя Маня прижимала к груди большой калач хлеба и крынку с молоком.

— Вот, не разрешают передать мужу, — сказала она со слезами в голосе. — А он со вчерашнего дня не емши.

Я молча взял у нее калач, крынку и, не обращая внимания на милиционера, подошел к дверце чулана.

Милиционер, пригретый весенним солнцем, похрапывал, уронив голову на грудь. Отодвинув щеколду, я зашел в чулан, прикрыл за собой дверцу. Пахло плесенью, застоялой сыростью, старым курятником.

— На дворе тепло, а тут знобко, — вместо приветствия сказал Боташев. Он принял калач, крынку, но не притрагивался к еде.

— Сергей Илларионович, что же произошло?

— Худо, брат. Приехал на поле судья, а я коней зерном кормлю. Притомились они, встали, не идут в сеялке. А у меня овса нет. Вот и решил прямо из сеялки в ведерке подкрепить их. Кормлю, не вижу, что судья с председателем сельсовета подходят. Набросились они на меня. Ты, говорят, колхозное зерно воруюсь. А тут, значит, узнали, что семена протравлены. Ну и совсем понесли меня крыть на чем свет стоит. Ты, говорят, коней извести решил. А я в ответ: «Да это же мои родные кони, как я могу извести их, да и протрава эта слабая. Вот я могу сам вам показать, я могу сам есть это зерно! И ничего со мной не будет. Я что, изверг какой? Чтобы родных коней...» Председатель в пояснение: так, мол, и так, кони, говорит, действительно евные, и земля эта евная, такие вот порядочки Соленьи наш завел. Единоличник, говорит он, в колхозе, чистый единоличник. Как был, так и остался им, только вывеску сменил. Я же в ответ: «Какой я единоличник? Что о конях пекусь, так от этого колхозу убытку нет. А урожай весь в колхоз отдаю». Судья говорит: «Это еще посмотреть надо: что ты там отдаешь, а убыток от тебя — вот он: семена колхозные разбазариваешь. Сколько взял из сеялки?» Полведра, говорю, килограмма три-четыре, не более. «Вот, — говорит судья, — посчитай теперь, сколь ты у колхоза украл урожай. Полведра в десять ведер обернется. Закон от седьмого августа знаешь?» Как, говорю, не знать, слышал. Но это же против воров государственного добра. «А семена, — говорит, — разве не государственные?» Вот и весь сказ. Повернули они в паре и уехали. А через час-другой милиционер Трошка за мной явился...

Говорил Боташев торопливо, сам себя перебивал, словно боялся, что ему не дадут договорить. И точно: дверца распахнулась, и показался сам милиционер.

— Что же это вы, дорогой товарищ, порядок нарушаете? — обратился он ко мне, позевывая и прикрывая ладонью рот. — Сказано же, нельзя, а вы в камеру влезли.

— Да какая же это камера? — не выдержав, разозлился я. — Обыкновенный чулан.

— Был чулан, а теперь камера предварительного заключения. Выходите отсюда. А то я судье доложу — недоборовать вам. Да и мне попадет, что недоглядел. Ночью без сна просидел около него, вот и сморил на солнце.

В широком школьном коридоре — он же служил и спортзалом — состоялся показательный суд.

Из классов снесли парты, за ними, согнувшись, подобрав под себя ноги, в неловких позах, пристроились мужики и бабы, но не меньше половины стояли, прислонившись к стене и в проходах между партами, сидели на подоконниках.

Судья и два заседателя — учитель и фельдшерица сидели за столом, покрытым широким куском кумача с остатком лозунга «Вся власть...».

И хотя судья Ахрименя восседал на обыкновенной табуретке, он сейчас был неузнаваемо строг, даже величествен. Да и тишедушный учитель, не говоря уже о дородной фельдшерице, выглядел неумолимо грозным.

В сторонке от них, тоже на табуретках, понурился, опустив головы, сидели Боташев и председатель колхоза Соленьи. Около них стоял милиционер. По другую сторону стола, за партией, председатель сельсовета перебирал какие-то бумажки — он был обвинителем. Почему-то не помню, был ли защитник, но мне кажется, что защита тогда не была представлена.

Позади судейского стола висела сшитая из трех кусков холстина, расписанная масляными красками: лазурное небо с перистыми облаками и с рекой, в которой от-

ражались эти облака. Холстину почему-то не сняли.

Председатель сельсовета зачитал обвинительное заключение. В нем было все, что рассказал мне Боташев, но прозвучало это сейчас с такой силой убедительности, что сомнений не оставалось: Боташев совершил тягчайшее преступление. И Соленьи такой же преступник: он всячески потворствовал Боташеву, который, как было сказано, «будучи формально колхозником, на деле оставался единоличником, так как в его пользовании по-прежнему были две лошади и земельный надел». Мало того, что Боташев похитил колхозные семена (сколько и зачем, сказано не было), указанный Сергей Илларионович Боташев присвоил общественную библиотеку, состоящую из книг, принадлежащих бывшим политическим ссыльным и подаренных ими жителям села Подбобец.

Я впервые в жизни присутствовал на суде. Кажется, я понимал, что на моих глазах творится несправедливое дело. Но в голову лезли какие-то пустяковые мысли, вроде той, что милиционер Трошка, наверное, устал стоять, переминаясь с ноги на ногу, около Боташева и Соленьи, что я в жизни не видел такого лазурного неба, как над головой судьи... Я думал о лошадях Боташева — увели ли их с поля на колхозную пашню? Мне представлялось много птиц над полем, над сеялкой, над мешками с зерном...

Я вспомнил вдруг, как однажды вечером Сергей Илларионович читал своим детям и соседям, пришедшим его послушать, сказку Пушкина о попе и работнике его Балде.

Когда он закончил, кто-то его спросил:

— А Пушкин в Бога верил?

— Пушкин сам был богом, — не задумываясь ответил Боташев. — Потому и бесчестного попа высмеять мог.

— А ты сам в Бога веруешь? — попытался у него все тот же сосед.

— Это как посмотреть. Я в человека верую. Ежели человек, как в библии сказано, создание Божье, то почему мне в него, человека, не верить? А вот миру Пушкин явился. Тот же Лев Толстой, как сам бог Саваоф. Почему же мне не верить им?

— А Иисус Христос?

— Что же, и Христос. Он, может, такой же человек был.

— Э-э, загадываешь, Илларионич. Он сын Божий.

— Вот тут не знаю. Может, и сын. Может, и Пушкин — сын, если подумать хорошо...

Вспомнил я вдруг, как нашел во дворе у Боташева старую подкову.

— Это же Серко мой потерял. А ты вот нашел на счастье. Храни ее, — рассматривая подкову, сказал тогда Сергей Илларионович.

— А вы в приметы верите? — спросил я.

— А как же. Приметы, паря, — это от народа. Мудрость его. Веками собирали, думали, хранили, примерялись. Возьми ту же погоду. Сколь примет есть, и у всякой своя правда. Приметливый человек всегда погоду предсказать может. И зиму снежную, и лето жаркое, и засуху, и дождь. Или вот подкова. Одно дело, взял ты новую подкову — она, паря, пустое дело. Новая и новая. Что проку в ней? А старая? Сколь конь побил ее о камни, о землю, сколь походил на ней путей трудных, сколь потопал и на пашне, и в страду. Вот и отвалилась она, гвозди постерлись, шипы обломались, лежит она, в землю втопанная, никому вроде не нужная. А ты вот нашел ее, от земли очистил, вспомнил, что люди издавна говорили тебе: найденная подкова — это к счастью. Найденная, паря, а не дареная. И ты верь. Верь в это. Вера, паря, великая сила. Золото человек нашел — счастье, говорят, привалило. Золото — оно всегда в цене. А подкова? Ее не продашь, какая в ней цена? Кому она нужна? А она тебе нужна. Ты веришь, что она счастье тебе сулит. Потому как ты ее нашел — и это твое счастье. Только не отдавай его никому...

Так и храню всю жизнь свое счастье — подкову со двора хорошего, светлого человека Сергея Илларионовича Боташева.

...Запомнилось, как протиснулась в людскую тесноту жена Боташева с сухими, безумными глазами.

Кто-то крикнул:

— Дайте место Марье!

Она только замотала головой и сказала:

— Я постою.

И встала неподалеку от милиционера, у стены, чтобы лучше видеть мужа.

Почему я не помню, чтобы кто-нибудь выступил в защиту Боташева? Почему у меня у самого словно отнялся язык?

Я понимал, что Боташев не вор, я знал, что и библиотека его для всех, что и дом его даже не дом, а изба-читальня. В те годы в деревнях были такие избы, о которых говорили, что они — очаги культуры на селе. А дом Боташевых и был настоящим очагом культуры. Другого в Подобце не было.

Не забыть, как судья Ахрименя ронял в толпу, стоящую в широком школьном коридоре, неумолимые слова — и они принадлежали даже не ему, он только произносил их: «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...» Десять лет. Десять лет гражданину Боташеву Сергею Илларионовичу по закону от седьмого августа тысяча девятьсот тридцать второго года. Три года гражданину Солену Ивану Ивановичу... За нарушение устава сельхозартели. Злостное укрывательство фактического единоличника под видом колхозника, расхитителя колхозной социалистической собственности... Именем республики... Именем страны.

Вот когда я почувствовал, что мне на грудь будто навалили тяжелый камень, который давил всей своей тяжестью, не позволяя дышать. Я боялся посмотреть в сторону Боташева и Соленого.

Все опустили головы, будто присутствовали на похоронах. И ни один, ни один не сказал слов, которые, как мне кажется, были у всех на языке.

Из Подобца в райцентр я возвращался вместе с судьей Ахрименей. На борт катера взошли по широкому трапу Боташев и Солень в сопровождении того же милиционера. На оттопыренных ушах его держалась большая форменная фуражка, и под широким ремнем сбилась на живот гимнастерка.

День был жаркий, спасал только низовой ветер, поднимающий на реке волну. Катер покачивало, под днищем билась вода.

Судья снова был в благодушном настроении, снова шутил. Это были два разных человека — Ахрименя в школе на суде и Ахрименя на катере. Может, оно так и правильно, но мне неприятны были и эта веселость, и шутки, и весь его благодушный вид.

Последним зашел на катер работник райисполкома Дмитрий Иванович Шилько, очень грузный человек, с гусарскими усами. Он встал на борт, держась за поручни. Ахрименя крикнул ему:

— Шилько! Уйди с левого борта, судно накренилось, смотри — перевернется!

Шилько даже не взглянул на судью.

— Встань на правый, вот и уравновесим!

Шилько, коммуниста с дореволюционным стажем, уважали в районе. Знали, что после ссылки он навсегда остался в этих местах.

Я подошел к Шилько и встал с ним рядом.

— Что невеселый, комсомол?

— Так, — сказал я неопределенно. — Невесело что-то, дядя Дима.

Шилько смотрел на берег, я тоже. Там собралась толпа.

И обычно-то, когда уходил катер, люди провожали его: все же приключение, по местным масштабам. В навигацию раз-два в месяц приходил и уходил катер. А теперь и вдвойне: односельчане прощались с председателем колхоза Соленым и Боташевым. С ним надолго, может быть, навсегда.

Чуть в сторонке от остальных стояла жена Боташева, все в той же красной косынке, а вокруг нее — ребятишки. И трое в пионерских галстуках.

Когда Боташева и Соленого подвели к катеру, Ахрименя разрешил им попрощаться с родными. Жена Соленого обхватила шею мужа и повисла на ней. Но я сейчас почему-то смотрел только на Боташева и на тетю Маню.

— Что ты натворил, отец? На кого оставляешь меня с ребятами? — сказала тетя Маня.

— Кабы знать, стал бы я кормить коней зерном? Не знал я такой беды, не ведал.

— Как же быть мне с оравой такой?

— Сенька помогать будет. Он старшой, ему и помогать. А там Колька с Глашей подымутся. Крепись, мать. Такая уж беда вышла.

— Письма-то писать будешь? Письма пиши. Хоть как-нибудь весточку подавай. Жив ли, здоров ли?

— Ладно, чего там. Где ни быть, а жить надо. Авось не пропаду.

Такой вот разговор был. И ни слезинки не уронила тетя

Маня. Только у Боташева глаза были красные, хотя он тоже не плакал. Может, за эти два дня и две ночи выплакал все слезы? И куда делась неповторимая синевая его глаз?

Раздалась команда капитана отдавать концы.

Вот крикнул Боташев своей жене:

— Маня! Книги береги!

На что судья Ахрименя, ударив себя по лбу, воскликнул:

— Как же мы забыли о книгах! Надо было вынести частное определение — книги изъять в общественное пользование!

— Небось сами догадаются, — небрежно бросил Шилько, все так же не глядя на Ахрименю. — Председатель сельсовета здесь дошлый.

— На самокрутки изведут, — услыша разговор, вставил свое слово Солень. — Мало ли страниц из книг повырывали. И то сказать, курить надо, а бумагу не сразу сыщешь.

Ахрименя неприязненно взглянул на него и сказал:

— А вы, гражданин Солень, не встревайте, не с вами разговор.

— Со мной разговор кончен, — согласился Солень. — Со мной все.

— С нами все, — подтвердил Боташев.

Как мне хотелось подойти сейчас к этим двум мужикам, как хотелось побыть около них, сказать, может, что-то самое пустяковое, но дать почувствовать, что я не на стороне Ахримени, но где там: весь путь от Подобца я даже опасался взглянуть в их сторону; Ахрименя заметил бы это, вдруг понял бы, что я сочувствую осужденным.

Наверное, не раз еще в своей жизни, в более поздние тяжкие годы, я хотел и не смел выказать свое сочувствие, свои симпатии к несправедливо обиженным людям. И мучила меня совесть тогда, и жить не хотелось, а вот не мог, не решался. Не смел.

Как стыдно и горько теперь все это вспоминать!

Единственное, на что я решился, — это доверить свои мысли и чувства дневнику. По молодости и неопытности я вел дневник и записал в нем всю эту историю в Подобце. И мне пришлось потом в этом раскаяться.

На пароходе возвращался я в краевой центр, проработав в Подчанах три года. Новый секретарь райкома комсомола Гоша Семенко, сменивший Сашу Коляскина, снял меня с учета и выдал на руки личную карточку.

В каюте нас было четверо, в том числе едущий в отпуск заорг райкома партии Филиппович — крупный мужчина с одутловатым лицом. Я больше времени проводил на палубе, а мои соседи резались в карты, курили так, что хоть топор вешай, и пили спирт «с проигравшего». Изредка я заходил в каюту, доставал тетрадь из сколоченного для меня дедом чемодана и записывал все, что мне приходило в голову во время этой поездки.

Однажды, зайдя в каюту, я увидел свою тетрадь в руках у Филипповича. Он читал вслух, и я услышал фамилию Боташева.

— Та-а-ак, — протянул Филиппович, заметив меня. — Та-а-ак! Такой-то ты, оказывается, радеть за врагов народа. Хорош, нечего сказать. И ты еще смеешь называть себя комсомольским работником?! Гнать таких надо!

На коленях у Филипповича я увидел свою подкову, старую подкову. Не раздумывая, я выхватил из рук ненавистного красномордого этого человека тетрадь, успел даже схватить подкову и выбежал на палубу. Еще ничего не соображая, я бросил тетрадь за борт, а подкову засунул себе за ворот рубашки. От обиды, от бессилия, прижимая подкову рукой к груди, я давился слезами.

Филиппович стоял позади меня и смотрел на реку, где покачивалась на волнах моя тетрадь.

— Ничего, — говорил он, — твою учетную карточку я взял. Ишь ты, подкова ему потребовалась. Так и знай: никакая подкова тебе не поможет.

Но Филиппович ошибался. Жестоко ошибался. И старая подкова, и добрая память о светлом человеке из глухой сибирской деревни помогали мне. Так же, как вечная благодарная память обо всех хороших людях. А их в моей жизни было немало. Но об этом как-нибудь после, как говорится, если хватит сил и времени.

ХРОНИКА ФУТБОЛЬНОГО ГОДА

Удастся ли нам выбраться из той бездны, в которую страна погружалась многие десятилетия? И до футбола ли столь политизированному ныне обществу? Интерес к чемпионату страны, из которого — по политическим опять же мотивам! — самоустранились литовские и грузинские футболисты, действительно спал. Но вот настал день мирового чемпионата, и многие из нас, делая выбор между театром футбольным и политическим (трансляция сессий даже российского — самого результативного — парламента), склонялись к футболу — спешили смотреть телерепортажи из Италии. Рискнем сделать вывод: жизнь наша, как бы трудна она ни была сегодня, не безысходна, пока нас влечет футбол.

Сравниется ли Бышовец с Непомнящим?

Анатолий Бышовец, возглавивший сборную СССР после ее фиаско на чемпионате мира, начал свою деятельность с прямых, порой некорректных обвинений в адрес своего предшественника.

Разумеется, выступление советской команды в Италии огорчает, но не будем спешить — пройдет год, другой, прежде чем мы сможем всерьез оценить состоятельность нового тренера сборной.

Да, Валерий Лобановский ушел. Как и принято у нас в таких случаях, вдогонку раздается сплошное улюлюканье. Попыток серьезно разобраться в случившемся, а заодно и в том, что собой представляет наш футбол, практически не последовало.

Фотографии В. Гусева и И. Уткина



Эпизодические успехи советских футболистов на короткое время вводили в состояние эйфории, но затем все становилось на свои места. У нашего футбола нет никаких оснований претендовать на место «под солнцем». Он находится там, где и должен находиться. На своем месте. Возможны лишь спорадические вспышки, локальные — не успехи даже, а удачи. Случайные, а не закономерные. Зависящие только от сверхусилий небольшой группы футболистов и тренеров. Было бы противоестественно, если бы нам постоянно удавалось опережать такие футбольные державы, как ФРГ, Италия, Голландия, Англия... У них — современная футбольная индустрия, мощная и отлаженная. У нас — кустарная лавочка.

Киевское «Динамо», многим обязанное Лобановскому, уже в его отсутствие стало в очередной раз чемпионом страны. Не стоит забывать, что и многие победы сборной последних лет связаны с именем Лобановского.

Но есть и мнение, что далеко не все, что привнес в наш футбол этот деятельный, незаурядный человек, может быть оправдано. Что же, Лобановский — сын своего времени. Посмотрим, сможет ли его преемник, воспитанный тем же временем, предложить нам не только более классный, но и менее прагматичный футбол?..

Когда двадцать лет назад полузащитник ашхабадского «Строителя» Валерий Непомнящий закончил играть из-за травмы, он мало что знал об африканской стране Камерун, со сборной которой прошедшим летом ему удалось попасть в восьмерку сильнейших команд мира.

Труднопроизносимую фамилию Валерия как только не называли зарубежные комментаторы в Риме; но и для своих он был неизвестен. Ему приписывали «ассистентскую работу у Лобановского», «вывод самаркандского «Динамо» в первую лигу». Но с Лобановским он впервые встретился в Бари перед встречей СССР — Камерун, а самаркандская команда никогда в первой лиге не играла...

Н'Коно, Бийк, Маканаки, Милла — фамилии этих камерунских игроков, ставших на родине национальными героями, вошли в списки различных символических сборных мира. В числе лучших тренеров чемпионата мира называют и Непомнящего, получившего после турнира много предложений из западноевропейских клубов и ни одного — из своей страны.

Я не берусь доказывать, что в сборной страны Лобановского должен был сменить Непомнящий, но место в восьмерке сильнейших сборной Камеруна — бесспорный ориентир для Бышовца на следующем чемпионате мира.

Александр ГОРБУНОВ

Прощаясь с Эдиком...

И вот теперь я боюсь, что он снова окажется в заключении — не том несправедливом, постыдном для всей страны, не способной и любимца своего защитить от командного произвола, а в совсем ином: самыми искренними и благими намерениями образуем и более чем заслуженном Стрельцовым, но ведь одновременно и противоречащем досадно сути того непознанного явления, именуемого всеми нами просто Эдиком...

Рискну предположить, что имя это, окрыленное всеобщей лаской произнесения, и вберет в себя всю громкость эпитетов, в которые Стрельцов, как у нас водится, заключен официально лишь после смерти, когда поспешно компенсируется прижизненное отношение к нему, чаще напоминавшее со стороны властей опалу, — и надеюсь, что сохранение в памяти интонации, с которой неизменно говорили мы про Эдика, обещает ему именно освобождение. То, к чему он всегда стремился — в тайге ли на лесоповале, в быту ли вполне комфортном, когда навязывали Стрельцову, что-нибудь неприемлемое ему по сердечной склонности, — мягкость и своеволие сочетались в этом характере с покоряющей окружающих естественностью.

Величие Эдика еще и в том, что величие в любых своих внешних проявлениях было Стрельцову противопоставлено.

Осознавая отлично свою значимость, он ее обычно стеснялся и неизменно испытывал неловкость, когда в приятельском кругу ему напоминали о том, кто он: Эдик начинал сразу ворчать, то иронизируя, а то и обижаясь сердито, как на бестактность по отношению к остальным здесь присутствующим, если в компании называли его, например, гениальным футболистом.

Еще в мае (скончался Эдуард Стрельцов в ночь на два-

дцать второе июля, пережив день своего пятидесятилетлетия) он, еще в решимости сопротивляться болезни, но уже не совсем убежденный, что сил на такое сопротивление у него хватит, говорил: «На похоронах Яшина подумал, что следующий за Левой — я...»

Не знаю, произносил ли он эти слова вслух на яшинской панихиде. Но откуда-то они стали достоянием молвы — слышал их повторенными разными людьми. Молва, как всегда, права, соединяя в необходимом нынешнему прагматичному футболу мифе двух самых популярных игроков — вратаря и центрфорварда, — жестоко разлученных в действующем футболе, что сократило для нас на шесть лет неповторимое зрелище, а затем нелепо противопоставляемых, разведенных ради бездарной ритуальности на разные полюсы государственного признания.

Александр НИЛИН

Эта игра для нее

В прошедшем августе московские футболистки — команды СМ («Серп и Молот») и «СКИФ» — впервые участвовали в международном женском футбольном турнире в Оттаве. Этот престижный турнир возник в 1983 году и на сей раз проводился уже в шести возрастных группах. Играли и девочки-«атомы» (до 10 лет), и девочки-«москиты» (до 12 лет), москвички же выступали в старшей возрастной группе (от 18 лет и хоть до ста), где соперничали двадцать команд.

Победительница турнира, 19-летняя полузащитница СМ Марина Мерзлякина рассказывает:

— Не поверите, но в финале, где мы встретились с американками, зрители болели за нас. Организаторы, видно, думали, что эти самые американки выиграют, как и в прошлом году. И пенальти в наши ворота назначили. Но мы завелись, выложились, комбинацию красивую провели и забили решающий мяч. Страсти на поле кипели нешуточные. А только финальный свисток прозвучал, мы с американками обнялись. Там была атмосфера большого праздника. На Западе женский футбол более десяти лет существует. Жизнь, куда ни глянь, показывает, что сначала мы опаздываем, а потом наверстываем, перенимаем спешно их опыт.

Прежде я всерьез занималась легкой атлетикой. Средние дистанции бегала. А в один прекрасный день увидела женский футбол, и что-то в душе моей дрогнуло. Записалась в команду «Лужники». Платила по 7—10 рублей в месяц, на абонементных началах существовали. И после первых же тренировок почувствовала: эта игра для меня. На беговой дорожке в чем радость? Месяцы монотонной работы — и сбросила с личного рекорда секунду. И все. А на зеленом поле — настоящая жизнь. Как обвела, как забила, как вывела острым пасом партнершу — мало-мальские удачи крутятся в голове будто кадры любимого фильма. Против черниговских девчат играли, и мне с лета удалось попасть в верхний угол. Это ж как сон.

Пока, правда, хвастаться особенно нечем. Я ведь только год играю. Вхожу в сборную Москвы. Но недочетов — пруд пруди. Мне бы побольше артистизма и мягкости в обращении с мячом, как у Черенкова. Федор, конечно, мой кумир. Но у женщин тоже отменные мастера есть — так красиво играют, что залюбуешься!

В принципе мы уступаем мужчинам в выносливости и скорости, в динамике уступаем. А в остальном? В интуиции превосходим. И тренеров слушаемся беспрекословно. И тренеры нашей команды другой работы не ищут. А это люди известные: Юрий Александрович Шумилин, который в Ростове играл вместе с Заваровым, и Андрей Викторович Редкоус — в прошлом ведущий форвард московского «Торпедо».

У нас, как и у мужчин, свои национальные школы. Француженки, те техничные очень. Американки темп нагнетают. Сильны китайки. В Китае, где в предстоящем году состоится наш мировой чемпионат, по 30—35 тысяч зрителей женский футбол собирает.

Леонид РЕЙЗЕР

Валерий ПОПОВ



Высокий пятиэтажный хор грозно пел: «...Он слишком много захотел! Он слишком много захотел!»

— За что? Почему? — испуганно думал я, прекрасно понимая, что это сон, но все равно содрогаясь от его постановочной мощи. — И ведь неправильно все, — страдал я. — Надо петь: «Он слишком многого захотел!» Начались уже сны с грамматическими ошибками! Что такое?!

Брякнул звонок. О, это уже явно снаружи! С трудом вырвавшись из сна в явь, я пошел на негнущихся ногах в прихожую, и, не дождавшись ответа на вопрос: «Кто там?», все же открыл.

Уверенно вошли двое штатских.

— Собирайтесь — вы нам нужны! — мрачно проговорил один из них.

— ... А мысли... записи свои... можно взять с собой?

— Нужно!

Я кивнул... Натянул пальто... Затхлый выдох портфеля... В прихожую, зевая и потягиваясь, вышла жена.

— Чего шумите-то? — недовольно проговорила она. — Вечно какие-то пьяницы по ночам к тебе ходят!

— Это как раз те пьяницы, которые ходят по ночам! — Я усмехнулся.

— Чтoб вечером дома был!

— Слушаюсь! — Я отдал честь.

Мы вышли.

Машина была какая-то несолидная, обшарпанная — я, честно говоря, был недоволен: мне кажется, я кое-что значу, могли бы уж позаботиться о машине получше?

«Впрочем, навряд ли они так уж разбираются в искусстве, нельзя требовать слишком многого!» — подумал я.

Мы подъехали к высокому серому зданию, прошли мимо дремлющего вахтера с кобурой и пошли по бесконечным, призрачно-люминесцентным коридорам.

— Скорее, пожалуйста! — недовольно проговорил один из сопровождающих, и мы прибавили шаг. У серой железной двери с маленьким окошечком мы остановились.

— Сюда, пожалуйста! — Мой спутник с натугой подвинул дверь.

Ну все! Прощай, свобода! Я вдохнул — и шагнул!

И тут же мне пришлось закрыть глаза рукавом — от сразу нескольких прожекторов, направленных на меня. Я оказался в огромной телевизионной студии. Телекамеры, поворачиваясь ко мне, играли радужно-бензиновым отливом объективов. Вернее это была не студия, а оборудованный по последнему слову телевизионной техники зал: я находился на невысокой сцене, а подо мной рядами сидели люди. Мужчины все были во фраках и «бабочках», женщины слепили декольте и бриллиантами.

Раздалось покашливание — я испуганно повернулся: сбоку ко мне, сияя улыбкой и лысиной, приближался какой-то смутно знакомый мужчина во фраке. Через одну руку у него был перекинут роскошный, почти свисающий до земли букет бе-

лых гладиолусов, в другой он держал матово-серебряный кубок.

Да, не ожидал я такого, когда вели меня по тусклым коридорам, подталкивая в спину!

Мужчина, сияя, приблизился.

— Вы, вероятно, уже в курсе (все заплотировали), но мне тем не менее приятно сообщить, что международная премия имени Набокова впервые присуждена гражданину нашей страны... — Имя, фамилия и отчество потонули в аплодисментах, впрочем, они и так, наверное, их знали, раз пришли.

Потом я вдруг оказался в гораздо более скромном помещении — обычном кабинете с колченогими стульями, с окурками в жестяных коробках из-под киноплёнки на столах.

В него меня втокнула пожилая энергичная женщина с окурком в желтых зубах, с щурящимися от дыма глазами, с короткими седыми волосами.

— Аглая Федоровна! — хрипло представилась она. — Все, что было там, — она резко махнула в сторону зала, — полная хреновень, выбросьте и забудьте.

В глубине души я не мог с нею полностью согласиться: что значит «хреновень», если о таком я мечтал всю жизнь, во имя этого жил и работал? Но спорить с нею не стал.

— Важно, что мы сделаем с вами сейчас!

... ну, конечно же, ей знать лучше!

— ... сейчас будет с вами пятиминутное интервью — и тут-то вы должны себя показать, тут все и решится.

... Ну, конечно, решится тут, а там, где я просиживал ночи за столом... то так... ерудна! Но спорить не стал.

— Ну и что, как вам кажется, я должен сказать?

— Ну, что хотите, ваше дело! — грубо проговорила она, размазывая окурки по банке. — Думаю, следует рассказать о своей судьбе, о том, как вас притесняли, — это, я думаю, интересно!

Ну ясно... Я понял, что интересует ее. Я вспоминал, как меня притесняли. Вспомнил не такой уж давний случай — однажды надо было ехать по делам, все было поставлено на карту, зависело от моего приезда или неприезда, а во всем доме обнаружился один только пятак, притом искореженный какой-то дьявольской силой! Я пытался сунуть его во входной автомат метро, но он не лез, куражился, упирался. Слезы навернулись мне на глаза: ну что за жизнь?! Потом я все-таки взял себя в руки, с натугой выдернул из прорези кривой пятак, вышел с ним на улицу, отыскал кирпич, положил пятак на лок и стал бить по нему, надеясь выпрямить. На звон подошел милиционер, я видел лишь его грязные сапоги. «Ты чего тут делаешь?» Чего, чего... Этот случай я бы мог рассказать, если бы не несколько неожиданный конец, который, как я уже четко понимал, не устраивал Аглаю. Ей бы сейчас хотелось, чтобы меня, оторвав от люка, закинули в кутузку, где долго бы по-

пирали мое человеческое достоинство... Но все было, увы, не так! Посмотрев некоторое время на мои упражнения, милиционер вдруг полез в галерею, вынул абсолютно новенький, сияющий пятак и протянул его мне: «Держи!» Так было дело. Я понимал, что конец этот не устроит Аглаю, и в то же время изменить его или просто опустить мне не позволяло то, что заменяло у меня совесть.

Но и рассказать так, как было на деле, не позволяло что-то вроде совести. Я смотрел на Аглаю: человек на работе, ей надо делать так — чем она-то виновата, что было иначе? Многие в таких случаях пребывают в абсолютном спокойствии, движутся, как им хочется, не глядя по сторонам, — их-то какая забота, что где-то не так? Но я не могу! Если я приезжаю на юг с друзьями (причем и инициатива даже не моя, а общая), тем не менее я несколько дней мучаюсь, страдаю, что море не такое уж синее, а горы не такие высокие, как могли бы быть, — словно я в этом виноват. Во всяком случае, я чувствую вину: люди мечтали, готовились, а тут все так... И если, скажем, наглый таксист все же согласится за повышенную оплату везти меня в мою тмугаракань, по дороге я уже начинаю чувствовать его как бы родным, проникаюсь его проблемами и страшно переживаю, если он тут же, на нашей же стоянке, не найдет себе седока обратно до центра!

А недавно в одной мерзкой столовой я попросил книгу, чтоб написать жалобу, но в результате, после беседы с персоналом, написал благодарность! Теперь сами понимаете — могли я при моем характере сорвать выношенный замысел Аглаи Федоровны!

Я вздохнул.

— Я вижу, вам надо собраться с мыслями, — усмехнулась она. — Давайте я вас отведу в наш отстойник — так мы называем его, — там мы приводим в порядок наши мысли.

— С удовольствием, — проговорил я. Лишь бы уйти отсюда, от нее, от ее молчаливого, но безудержного напора!

Отстойник оказался клетушкой вообще без окон, освещенной трепещущим фиолетовым светом, — здесь было и холодно, и одновременно душно. Стоял казенный стол с громоздкой машинкой, включенной в сеть, у стола — кушетка с тускло мерцающими звездками пухлого покрытия из кожзаменителя, с торчащим посередине клоком серой, с мелкими темными семечками ваты и, конечно же, тут стояли многочисленные перекиривившиеся банки из-под киноплёнки с давно погашенными, холодными, но вонючими окурками.

Обстановка самая творческая! Вздохнув, я щелкнул тумблером машинки — она включилась, задышала, клавиши возбужденно приподнялись. Потом, слегка отвлекшись, я вспомнил, как в последнее мое пребывание в Доме творчества в Комарово в форточку моей комнатки влетел бело-бордовый бодрый дя-

тел, сел за машинку, откинул голову с хохолком и энергично стал бить клавишам, делая материал, который как раз был мне неприятен... Нет, в жизни мне везло! Но здесь на дятла не было никакой надежды, я вздохнул и начал стучать.

— Слышу, слышу, как ты тут клянешь, мои зернышки склевываешь! — вдруг проговорил рядом с моим ухом скрипучий, мучительно знакомый, но неприятный голос.

Я резко обернулся. Рядом со мною, нервно хихикая, стоял мой давний знакомый Леха — давний в том смысле, что мы давно не виделись с ним и давно не стремились к встрече.

— Ты — дерьмо, я — дерьмо, давай дружить! — так обычно говорил он, я не мог с ним полностью согласиться, поэтому избегал. Зато все эти годы он маячил на экране телевизора — сказать, что я по нему соскучился, я не мог.

— Так, уже и кабинет мой занял! — шутиливо произнес он.

— Ой, извини, пожалуйста, я не знал! — Пожимая его руку, я вскочил с кушетки, левой рукой пытаясь одновременно выдернуть бумагу из машинки, но он устало отмахнулся:

— Сиди! Да-а-а... — В глазах его, идущих по помещению, вдруг сверкнула слеза. — ... Сколько тут было всего!

Я молчал, чувствуя себя неловко: у меня-то тут не было ничего!

— ... Сколько раз, помню, — проникновенно проговорил он, — я спал на этом катафалке, пьяный в сосиску!

Я торопливо освободил музейный экспонат.

— ... Ну эти, ясное дело, пляшут вокруг меня, — он гордо усмехнулся, — кто с кофе, кто с нашатырем: через пять минут эфир, а я в хлам! — Он мечтательно вздохнул.

Я с завистью смотрел на него. Какую интересную, насыщенную жизнь создавал он Аглае Федоровне и ее помощникам!.. А что им могу предложить я на те же деньги?!

— И долго продолжалось... это блаженство? — поинтересовался я.

— А вот пока ты не пришел! — злобно выговорил он.

— Ну, так я, пожалуй, пойду! — Я сделал попытку рвануться к выходу, но он удержал меня мощной рукой.

— Все! Кончен бал! — веско проговорил Алексей. — Раньше я был гласом народа, теперь — ты!

Я вздрогнул... Для того чтобы считать себя гласом народа, нужна немалая наглость... смогу ли я?

— Покажи, что ты там накарякал! — Он по-прежнему по-хозяйски, вразвалочку подошел к машинке, прочитал начало робкой моей истории про милиционера, потом с треском выдернул лист, с хрустом скомкал его и бросил в банку с окурками. — Чушь!

Я особенно не возражал.

— А что надо, по-твоему? — поинтересовался я.

— Письмо президенту! — отчеканил он.

— ... Президенту? — Я был поражен. — ... Нашему?

— Их!

— Но мы... как-то *незнакомы...

— Ну и что? А премия, которую ты получил? Думаешь, он не знает о ней?

— А ты думаешь, знает?

— Ясное дело!

— Да-а... понятно... А что писать? О любви-дружбе?

— Совсем, что ли, ничего не соображаешь?

Я вздохнул. Леха, тоже отрывисто вздохнув, завинтил сразу четыре экземпляра... во, работает!

— Может, от своего имени и напишешь? — предложил я.

— Да нет. От моего имени не годится! — с болью произнес Леха, и он был прав.

Ибо именно на этих письмах и сделал он в свое время карьеру, но письма эти, как бы сказать, были с совершенно обратным знаком — в духе времени. Первое его письмо появилось внезапно. В те еще годы Леха достаточно робко входил в жизнь, весьма скромно и незаметно отирался на телевидении, занимаясь тем, что пытался привить детям любовь к нашей самой тяжелой в мире промышленности. К тому же как раз в это время судьба нанесла Лехе тяжелый удар, вернее он сам себе его нанес, разведясь со своей женой Дией.

— Им мужья должны доставать — уже в великом виде! — обиженно говорил он тогда.

Соответственно он лишился квартиры. Ночевки у друзей, а также, возможно, у подруг оказались изматывающими, и вскоре и появилось это чеканное, полное гневного пафоса письмо.

Оно предназначалось как бы лично их президенту, но написано оно было настолько чеканно, что было бы до слез обидно, если бы с ним не познакомилась общественность, — и она познакомилась. В тот же день, когда сочинилось письмо, Леха дрожащим от волнения голосом читал это письмо с экрана на всю страну. В письме он отчитывал их президента, грубо вляпавшегося в очередную авантюру. Вопрос с Лехиной квартирой, что интересно, решил на следующий день. Признаться, я был искренне поражен. Я знал из своего скромного опыта, что международная почта крайне медлительна. Как же в данном случае за один день (а фактически за одну ночь!) президент их умудрился, отодвинув все прочие дела, ознакомиться с этим пространным письмом и тут же ответить на него, и переслать ответ на Лехино почтовое отделение, и как успел Леха передать реакцию президента, схваченного за руку, в соответствующие органы, — и все это за одну ночь! Уму непостижимо! Видимо, я чего-то недопонимал. Однако идея эта — сугубо доверительных писем президенту — оказалась плодотворной. Письмо о нескольких аляповатых отношениях их президента к их творческой интеллигенции — у Лехи машина! Письмо о расовой дискриминации в их школах — у Лехи неслабая

должность на телевидении и репутация «голоса народа». Пристрастившись к этому промыслу, Леха уже без зазрения совести лупцевал далекого президента за круг колбасы или за костюм ихнего же, американского, производства.

Но времена, говорят, переменялись, так что Лехе продолжать писать письма президенту от своего имени вроде действительно стало неудобно... Но ничего! Он великолепно писал от моего имени — машинка дымилась!

Вошла наглая Аглая.

— Ну что, орелики? — Быстро прочла текст, любовно трепанула Леху за остатки кудрей. — Цены б тебе не было, бандит, если б ты не был таким бандитом! Немедленно в ТАСС! — протянула один из экземпляров обращения своему помощнику (может, она сказала «в таз», но мне послышалось — в ТАСС). Потом она обернулась ко мне и сказала значительно уже холоднее, чем Лехе: — Сможете произвести текст?

— Смогу... почему же не смогу? — робко пробормотал я. Не оборачиваясь, она пошла. Я поплелся за ней. Мы снова пришли в студию, я уселся. Телекамера теперь смотрела в упор.

— ...Не заикаетесь? — с надеждой проговорила Аглая.

— Нет, к сожалению, — виновато произнес я.

Щурясь, покуривая, Аглая смотрела на меня. Внезапно подал голос амбал-оператор, горой поднимающийся за хрупкой камерой.

— Я не понимаю, что мы будем снимать! Это же не фактура! Может, хоть синяк ему сделать, хоть что-то?!

— Как бы я сам тебе не сделал синяк! — вскакивая, завопил я и тут же почувствовал резкий удар в глаз, посыпались искры. Не помня себя от ярости, я бросился на оператора.

— Ах, операторов бить! — почему-то радостно протрубил он, и, действительно, словно силы всех операторов мира соединились в нем!

— ...Стойте, стойте! — донесся крик. Меж нами врезался помощник Аглаи с длинным белым, косо обрванным на краю телетайпным рулоном. — Президент до глубины души тронут вашим письмом и хочет немедленно, сегодня же видеть вас! — Он поднял рулон.

Вот это да! Я несколько растерялся... виновато глянул на Леху.

Он скорбно молчал.

В машине, однако же, он оказался рядом со мной. Что это была за машина, — краев ее не было даже видно, — в ней можно было бегать, прыгать, играть в прятки и в волейбол. Водитель маячил далеко впереди.

— Эх! — с болью воскликнул Леха. — А мой-то все надеялся, что поеду я! Знаешь, что мой внучек мне сказал?!

Я молчал, не зная ответа.

— ...он сказал мне, — Леху душили рыдания: — дедушка!.. Привези мне знаешь что? (Сдержанные рыдания.)

Маленький, красненький, дизайненький телефончик с кнопками! — Леха зарыдал.

— Ну ладно. — Я почувствовал дикую неловкость. — Красненький, говоришь? Обязательно привезу!

Леха, слегка успокаиваясь, затаился.

— А вы бы вообще не курили здесь! — резко оборачиваясь, проговорил водитель. — Вы, кстати, курите! — Он одарил меня нежной улыбкой.

— Нет, ну зачем же...

В аэропорту нас встретило оцепление, что, честно сказать, мне не очень понравилось. Вся толпа бурлила за оцеплением — меня ждал коридор из синих шинелей.

Вдруг я услышал чей-то вопль.

— Что это?!

— Да пустяки! — улыбнулся сопровождающий меня водитель. — Бабка тут одна случайно хапнула из брони ваш билет! В Тулу достала только через Нью-Йорк! Не беспокойтесь, все нормально — билет уже отбирают у нее!

Бабка вдруг прорвалась через все кордоны и, мотнув головой, плюнула в меня. Я еле успел закрыться ладошкой. Объединенными силами спецслужб бабку оттащили.

Я, стоя неподвижно, задумался: то ли это счастье, к которому следует так стремиться? Уже были в моей жизни случаи, когда мне выписывали успеха больше, чем положено, но тогда я успел отказываться! А сейчас? Чем плохо, если вдуматься, я живу? Пальто для выхода, пальто для дома... Рядом появился Леха.

— Ну что... хорошо тебе?

— ...Хорошо, но душно.

Бабка вдруг снова прорвала все цепи и с размаху жახнула мне палкой по голове. Бабку оттащили.

— Ну что... тяжело? — усмехнулся Леха.

— Тяжело! — горячо согласился я.

— Ну так иди каши поешь!

Я пошел. Задумчиво стоял за столом, глядя на тусклое отражение в темном стекле, идиотски подмигивая сам себе. Водитель бесшумно положил рядом со мной тезисы моего доклада: «Проблемы обесудьбливания поколений в одной отдельно взятой стране». Ну что же, тема вполне прогрессивная! Я приуныл. Могу ли я искренне сказать, что мое поколение обесудьблено из-за того, что оно не ездilo в больших машинах и не летало в Америку? Сказать, конечно, могу, но неискренне. Вот Леха — тот бы мог, тот имеет на это полное право. Представляю, как бы он горделиво говорил: «Некоторые уходили в пьянство!» Но могу ли я на примере Лехи говорить обо всем поколениях?! Я вспомнил вдруг момент полного своего счастья... Разбойничий полумесец, кривая черная река. Я выбегаю с глухой деревянной лестницы, запутываясь в мясистых лопухах, хватаю какую-то палку и начинаю их отчаянно рубить! Но они не рубятся, толсто пружинят — ни одного лопуха не удается сокрушить! Вдруг в высоком заборе открывается калитка, человек в май-

ке протягивает мне серебряную саблю: «Давай». Дело засверкало!

С неохотой возвращаясь к реальности, я огляделся вокруг. Пустое почти что помещение, освещенное трепещущим светом, и вокруг никого... То ли я угодил уже в какой-то закрытый распределитель, то ли каша нехороша...

Впрочем, сзади оказался один клиент. Он брезгливо попробовал все, что ему принесли, и тут же отодвинул:

— Унесите, унесите!

— Куда прикажете!

— Детям, детям!

Видимо, какой-то крупный деятель, хлопочущий о счастье детей, но в мировом масштабе. Тоска охватила меня. Я спустился вниз, нашел Леху.

— Пошли!

— Куда это? — настороженно проговорил он.

— Кашу принесли!

— ...так я же в фигуральном смысле тебе сказал!

— А я — в буквальном!

К аэропорту с визгом сирен подъезжали все новые спецслужбы, бежали в зал. Цеплялись вокруг бабки, как осинный рой, и та мотала их по залу, сметая все.

Мы поднялись. Молча черпали из горшочков. Я, не отрываясь, смотрел на каплю, тянущуюся из крапа в кухонном окошке. Сначала она просто вытягивалась вниз, потом обрела вдруг талию, талия стала вытягиваться, утоньшаться, и вот капля разделилась на две половинки — нижняя полетела вниз, в бездну, а верхняя сразу как бы брезгливо подтянулась вверх, решительно отмежевываясь от падшей.

— ...Помню, было дело, — бубнил Леха, — послали меня на международный конгресс: там разберешься! Оказался конгресс кардиологов! — Леха счастливо вздохнул. — Ну, погулял!

Я посмотрел на него: если уж такой болтун и рукоусый не справился с этой работой, то куда лезу я? ...Ну ладно: сделаю один раз!.. Нет, один раз — это много.

Я надолго устал в окно, на летное поле. Из-за стеклянного угла дома вывернули две стюардессы, ветер мгновенно набросился на них, они одновременно прихлопнули юбки и шляпки... Буду ли я еще видеть такое — или меня ждет лишь глобальное, кардинальное?!

Вдруг Леха рванул к стеклу:

— ...Самолет взлетает!

— ...Ну и что?

Но он, не слушая меня, выскочил на поле — маленький, но неукротимый, с горшком в руках. Лайнер медленно выворачивал на него, нависал, словно огромный беркут. Из утробы его вдруг послышался бабкин хохот.

— Сволочь! — выкрикнул Леха и метнул в стальную птицу горшок. Лайнер взлетел, весь в каше.

Я почувствовал, что после удара бабки что-то беспокоит меня. Я оцупал голову, потом глянул на руку... кровь! Слава Богу, я еще промокаем!

г. Ленинград

Нина ИСКРЕНКО

* * *

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОНЕСЛА

Мы долго ждали этого момента
Все волновались
вдруг не будет прецедента
А тут она взяла и понесла

И словно по команде
в тот же час
вдруг
ПОНЕСЛА СОВЕТСКАЯ НАУКА
Мы все гадали
в чем здесь подоплека
и есть ли недвусмысленная связь

Но тут и связь Скоропостижно
А за ней
толпясь и наперед

друг другу забегая
дипкорпус Красный Крест
строительство торговля
Совпис Средмаш и Москвошвей
И список становился все длинней

И только Комитет советских
женщин
еще держался пару дней

Все это не для среднего ума
сказали мне в одной
московской кухне

Еще сказали мне
Ты временно заглохни
пока идет вся эта кутерьма
И правда сколько вынесло ума

Уже велись бои за телеграф
Уже телемосты от взрывов
сотрясались
И лучшие дома публично отрекались
от бывших их обязанностью прав

Во вторник заработало метро
Казалось бы развязка неизбежна
Специзовцы массировали нежно
предсердие толпы штурмующей метро

В четверг дожди пошли
на компромисс
И Лужники разгладились устало
не докурив тринитротолула
и побросав окурки в унитаз

А к пятнице страхнули скорбь
с чела
и выдали талоны на печенье
Общественность вздохнула
с облегчением
и встала в очередь.

Да там и понесла

Поход эпигонов *

Рожденный
после
ломать
не строит

Нас бросала молодость
под лежащий камень
Нас водила молодость
строим по нужде
Величала молодость
корешки вершиками
и желала счастья нам
в далекой Кулунде

Научила уступать
старшим

лейтенантам
мерить сантиметрами
площадь потолка
и локатором ловить
голос континента
и глушить без просыпа
и писать в ЦК

Нас имела молодость
на колесах чертовых
Нас манила молодость
словно грудь четвертого
Трудовым почином
починили нас
Целиной-Сучаном
исцелили нас
Чтобы не глядели мы
словно волки в лес
Чтобы и не вздумали
отойти от масс

Физики и шизики
Медики и педики
Чижики и пыжики
Тузы и короли
Самовары-чайники
граждане-начальники
чукчи и арцахи
псы и патрули

Берегите молодость
от дурного глаза
на дубовой вешалке
в номерном шкафу
чтобы не пристала к ней
чуждая зараза
чтобы не пришили ей
пункт или графу

Берегите молодость
ивушку зеленую
над рекой склоненную
под-воду-концы
Берегите принципы
орешки каленные
фигушки карманные
талоны и шприцы

Шитому и крытому
досыта не битому
шептуну горбатуму
крестному отцу

Всем потрафит молодость
наша душка-молодость
наша пышка-молодость
наша гоп-ца-ца
Вся она как стеклышко
от шнура до колышка
всем она под горлышко
всем она к лицу

Спим как победители
Бдим как победители
Нам как победителям
все плывет само
С нами наша молодость
наша комсомолодость
вечная как молодость
прочная как чмо

* Эпигоны — букв. родившиеся после
(греч.).

«СОСТАВЛЕНО ПО ИСТОЧНИКАМ И ТАК»

«Как-то так у нас в России
всегда бывает, что люди, наибо-
лее способные, наиболее знаю-
щие, оказываются позади, ока-
зываются всегда затертыми.

Например — я.

Физиология человека для
меня открытая книга: разбу-
дите меня ночью, и я сейчас же
расскажу вам, почему человек
кушает, что заставляет его
дышать, сообщу вам тысячи
таких вещей, которые известны
только узким специалистам.

А анатомия... Смешно мне
даже говорить об анатомии. Ко-
роче сказать, я знаю ее как свои
пять пальцев, которые тоже
входят в эту любопытную
область. Попробуйте, например,
отрезать чью-нибудь ногу и по-
казать ее мне. Я сейчас же ска-
жу вам — правая это нога или
левая, мужская или женская,
взрослого человека или ребенка.
И все это без сложных медицин-
ских аппаратов, без термоме-
тра, пульса и проч.
...Единственно — знание и
опытность».

Эти строки Аркадия Авер-
ченко взяты нами из фундамен-
тального пародийного исследо-
вания «Анатомия и физиоло-
гия человека», которое было
опубликовано в 1916 году в
библиотеке журнала «Новый Са-
тирикон». Его авторы — вели-
колепная плеяда писателей-
юмористов: Арк. Аверченко,
Арк. Бухов, Георгий Ландау,
Н. А. Тэффи.

Написанное простым и до-
ступным языком, это произве-
дение за три четверти века не
потеряло своей актуальности.
Оно вполне способно заменить
школьникам и студентам совре-
менные излишне наукообразные
учебники.

С первого номера 1991 года
«Зеленый портфель» присту-
пает к публикации сатириконской
монографии «Анатомия и фи-
зиология человека» с приложе-
нием «Психология человека». Вы
знаете много увлекательного
о человеческих внутренностях,
деятельности головного мозга,
органах чувств, простых
и сложных явлениях душевной
жизни.

ЧИТАЙТЕ САМУЮ ПРА-
ВИЛЬНУЮ АНАТОМИЮ И СА-
МУЮ ТОЧНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
ЧЕЛОВЕКА С САМОЙ ПЕРЕ-
ДОВОЙ ФИЗИОЛОГИЕЙ!

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ» ЗА 1990 год

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ

АКСЕНОВ Василий. Остров Крым	1—5
БАСЫРОВ Игорь. Сказка о Нездешнем городе	8
БОРОДИН Леонид. Женщина в море	1
Расставание	7, 8, 9
ВОЙНОВИЧ Владимир. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга вторая — Претендент на престол	6, 7, 8
ГАЗДАНОВ Гайто. Вечер у Клэр	10
ГОРЕНШТЕЙН Фридрих. Искушение	11, 12
ГУМЕРОВ Рифат. До ресторанов Парижа — лягушки поют о любви на своем языке	12
КОЖЕВНИКОВ Петр. Личная неосторожность	5, 6
КОРСАК Веньямин. У белых	10
КОСТЮКОВСКИЙ Борис. Старая подкова	11
ЛАВРИН Александр. Гон	11
МАКСИМОВ Владимир. Заглянуть в бездну (главы из романа)	9
НАРБИКОВА Валерия. Около эколо.	3
НИКОЛАЕВА Олесь. Инвалид детства	2
РЕЗИН Михаил. Бегство талой воды	9
САЗАНОВИЧ Елена. Прекрасная мельничка	1
СИГЛ Эрик. История любви	7
ТАЙГАНОВА Татьяна. Красное сафари на желтого льва	6

РАССКАЗЫ

ВАНЕЕВА Лариса. Маленькая библиотечка. Взлет	4
КОВАЛЬДЖИ Кирилл. Истории от Аристиды	3
ПЕТРУШЕВСКАЯ Людмила. Сказки для взрослых	9
РАЗГОН Лев. Борис и Глеб	4
Бунт на корабле	11
ШМЕЛЕВ Иван. Три рассказа	10
ЯКИМЧУК Николай. Рассказы	7

ПОЭМЫ. СТИХИ

АКСЕЛЬРОД Елена	2
АМАРШАН Виталий	8
АНТОНОВ Вадим	6
БЕЛИКОВ Юрий	1
БЕРШИН Ефим	12
БУЛЫКА Галина	2
ВАНШЕНКИН Константин	12
ГАЛИНА Мария	9
ГОРБОВСКАЯ Екатерина	1
ГРАЧЕВ Эдуард	5
ГРИДИНА Галина	6
ДМИТРИЕВ Олег	1
ЖИРМУНСКАЯ Тамара	3
ЗАВАЛЬНЮК Леонид	1
ЗОРИН Александр	12
КАБЫШ Инна	12
КАЗАНЦЕВ Василий	2
КАЗАРИН Юрий	8
КАРАБЧЕВСКИЙ Юрий	11
КАШЕЖЕВА Инна	7
КОВДА Вадим	2
КОНДРАШОВ Дмитрий	2
КОРЖАВИН Наум	7
КОРЖИКОВ Виталий	8
КОРНИЛОВ Владимир	5
КОТЕНКО Николай	4
КРАСНИКОВ Геннадий	9
КРАСНОВА Нина	12
КРЮКОВА Елена	5
КУБЛАНОВСКИЙ Юрий	2
КУШНЕР Александр	7
ЛАВЛЕНЦЕВ Игорь	4

ЛИСНЯНСКАЯ Инна	11
ЛИСЯНСКИЙ Марк	7
МАРГОВСКИЙ Григорий	4
МИЖИТ Эдуард	12
МНАЦКАНЯН Сергей	2
НОВИКОВ Николай	11
ОКУДЖАВА Булат	4
ОЛЬШЕВСКИЙ Рудольф	6
ПАВЛОВА Вера	1
ПЫТАЛЕВ Петр	4
РАКИТСКАЯ Эвелина	3
РАКОТИН Дмитрий	6
РЕЗНИК Валентин	9
РЕЙН Евгений	1
РЕЦЕПТЕР Владимир	9
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт	7
САЕДШАХ Анна	12
СЕРГЕЕВ Марк	9
СЕФ Роман	4
СИНЕЛЬНИКОВ Михаил	2
СИКОРСКИЙ Вадим	3
СОЛНЦЕВ Роман	3
ТАРАТУТА Сергей	3
ТКАЧЕНКО Александр	12
ТРЯПША Валерий	3
ФОНЯКОВ Илья	8
ХАДЫРКЭ Ион	4
ЧИЧИБАБИН Борис	1
ЩАДРИН Владимир	5
ЭМИН Геворг	8
ЭХИН Андреас	6
ЮШКО Геннадий	6

ПУБЛИЦИСТИКА

АРБАТСКАЯ Галина. Покушение на миражи	11
АФОНИН Василий. Биография	4
АХМЕТОВ Низаметдин. Улицы Свободы (Автобиографическое эссе)	3
Ровесник Гагарина	12
БОГУСЛАВСКАЯ Зоя. Американки	3, 4
БОРАТЫНСКАЯ Ксения. Начало конца	10
БУРИН Сергей. Р.Б.Р.	10
ВЕШНЕВА Мария. Это память о днях в Донском	9
ГАРАНИН Анатолий. Великая Отечественная. Фотографии	5
ДАНИЛОВ Виктор. За что погибли 16 миллионов россиян?	10
20-я комната. Заседания тридцать первое — тридцать восьмое	2—7, 9
ЕРЛАШОВ Александр. Вращатель солнца	6
Жертва (Дневник Нази Шаманаури)	2
Жить не по лжи (По страницам самиздата)	5
ЗЕРЧАНИНОВ Юрий. Всмотритесь в эти лица	4
Последняя из Тшебовы	10
КАЗАЧКОВ Михаил. В советах Лубянки — не нуждаюсь	11
КОСТЮКОВСКИЙ Борис. Давний свет	11, 12
КРИВИН Феликс. В местечке Париж	9, 11
ЛУРЬЕ Павел. Дневник	10
МАЛЮГИН Александр. Скорбное бессилие	9
МЛЫНАРЖ Зденек. Тот август шестидесяти восьмого	1
Моя разбойничья профессия (Беседа с Александром Невзоровым)	4
ОЗЕРОВ Михаил. Если заглянуть за кулисы	1
ПАПОРОВ Юрий. «Белое солнце пустыни?»	1
ПЕРКАС Иосиф. Москва, спаленная пожаром	1
ПОМЕРАНЦ Григорий. Страница, деленная на бесконечность	12
ПРИВАЛОВ Кирилл. «Шли дроздовцы твердым шагом...»	10
СТАНКЕВИЧ Сергей. Москва —	

точка прорыва	11
Судьба Михаила Казачкова	6
ТИМОФЕЕВ Лев. Я — особо опасный преступник	8
Триумф океанных дней. (Диалог в цитатах. Публикацию подготовили Е. Атыкина и И. Хургина)	10
ТРИФОНОВА Ольга. Писать до предела возможного	10
У нас два вопроса. Анкета «Юности»	6
ХАНДРОС Борис. Смертные листы	12
ХОХРЯКОВ Геннадий. Чего ждать и чего опасаться, или Роковой круг перестройки	4, 5
Фотолепопись гражданской войны. Это было, было, было («Юность» 1955—1990)	10
ЯКИМАЙНЕН Юрий. Острова восходящего пива	6

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

БОЧАРОВ Анатолий. «Все смешалось...»	11
ВОЛГИН Игорь. Возвращение с прогулки	12
ИВАНОВА Наталья. Пройти через отчаяние	1, 2
КОРМИЛОВ С. «Обогатить свой ум и сердце»	6
МАЛЫГИН Андрей. «А где моя книжечка?»	5
ПРИВАЛОВ Кирилл. Вызов Ивана Бунина	4
САМОЙЛОВ Давид: «Суетливость не пристала настоящим мастерам» (Беседа вела А. Пугач)	11
САРНОВ Бенедикт. «Я просто русским был поэтом...»	7
СИНЯВСКИЙ Андрей. Один день с Пастернаком	2

НАША ПУБЛИКАЦИЯ. НАСЛЕДИЕ

АЛДАНОВ Марк. О Михаиле Осоргине	5
ВЕРЕСАЕВ Викентий. Неопубликованные главы из романа «Сестры»	7
ВЕСЕЛЫЙ Артем. Вольница. Рассказ	10
ВОЛОШИН Максимилиан. Россия распятая. Усобица	10
ГАЗДАНОВ Гайто. Вечер у Клэр	10
ГРИН Александр. На реке. «Непобедимый». Рассказ о странной судьбе. Карнавал. Рассказы	3
ИЛЬИН Иван. «Наши задачи» (Избранные статьи 1948—1954 гг. Предисловие С. Хоружего)	8
КОРСАК Веньямин. У белых	10
ЛОСЕВ Алексей. Жизнь. Повесть (Предисловие А. Тахо-Годи)	4, 5
МАРЧЕНКО Анатолий. От Тарусы до Чуны (Предисловие Ларисы Богораз)	2
МЕНЬ Александр (А. БОГОЛЮБОВ), протоиерей. Сын человеческий (Главы из книги)	12
ОСОРГИН Михаил. Из книги «Повесть о некоей девице»	5
РОЗАНОВ В. В. Эмбрионы (Предисловие и публикация Н. Казаковой)	11
САХАРОВ Андрей. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. — О себе	3
САМОЙЛОВ Давид. Стихи	9
СТЕФАНОВИЧ Николай. Стихи	8
ТРОЦКИЙ Лев. Поезд. Месяц в Свяжске	10

ТРУБЕЦКОЙ Евгений, князь. Максимум (Статья)	3
ШМЕЛЕВ Иван. Рассказы	10

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ВАЙЛЬ Петр. ГЕНИС Александр. Лишний человек — это звучит гордо	9
ГУМИЛЕВ Лев. Никакой мистики Два билета на бал-базар	8
ЗАХАРЧЕНКО Елена. Не оби- жайте гномов, сидящих под лопухами!	5
КОКИН Олег. Андрей Волков. . .	6
ЛИПАТОВ Виктор. «Чюдни вел- ми»	2
Каменные призраки.	7
Автономное плавание Кращи- на.	11
Счастье и трагедия русского гоф- малера	12
ОБРОСОВ Игорь. Во что веровал, то и творил	3
Нина Даниленко	8
ПАВЛОВ Михаил. Где эта улица? Хроника шагающего экскаватора . .	4
	2

НАУКА

КУНИЦЫН Иван, НИКОЛАЕВ Алексей. Кто отравил Сала- ват?	1
По Дону гуляет... «мирный» атом	4
Спираль подвига	7, 11

ПОЧТА «ЮНОСТИ»

ВОЙНОВИЧ Владимир: О моем непутевом блудном сыне (Чи- тательские письма и интервью И. Хургиной)	1
ИОДОВСКИЙ Эдмунд. Окоро- тики	2
Письма читателей	4, 9, 11, 12

СПОРТ

ЛУКЬЯЕВ Владимир. Живи в сво- бодном стиле	1
Вверх по южной стене	6
ПАПОРОВ Юрий. Ответ на пись- мо специалистов-историков	9
ГОРБУНОВ А., НИЛИН А.,	

РЕЙЗЕР Л. Хроника футболь- ного года.	12
--	----

ЗЕЛЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

АНИЩЕНКО Валерий. Пародии из цикла «Посадил дед репку» . .	9
БОРСКИЙ Николай. Ювенализмы ВИШНЕВСКИЙ Владимир. Одно- стишия	7
ДУДОЛАДОВ Александр. Учум. .	2
ЗАДОРНОВ Михаил. Конец света ЗАЯЦКИЙ Сергей. Жизнеопи- сание Степана Александровича Лососинова	3
ИЗМАЙЛОВ Лион. Наш человек в Канаде	6
ИРТЕНЬЕВ Игорь. Двести лет спустя	10
ИСКРЕНКО Нина. Иронические стихи	2
КЛИМОВИЧ Владимир. Встреча Краткий курс истории «Зеле- ного портфеля»	11
КУДИНОВ Михаил. Иронические стихи	12
КУЧАЕВ Андрей. Новые Колум- бы	3
МЕДВЕДОВСКИЙ Григорий. Иронические стихи	6
ПЕРШИН Михаил. Иронические стихи	8
РАСПОПОВ Валерий. Ирониче- ские стихи	8
ПОПОВ Валерий. Недолет.	9
РОЗИН Борис. Автобиография. Сувенир. Резолюция митинга работников психиатрических лечебниц	9
РОЗОВСКИЙ Марк. Уралец.	12
РУЧИНСКИЙ Виталий. Боевые бульжники	7
САТИН Сергей. Иронические стихи	6
СЛАВКИН Виктор. Зоо	11
СМОЛИН Ефим. Светлое будущее ХОРТ Александр. Последний бифштекс	5
Шекспир районного пошиба . .	6
ШЕНДЕРОВИЧ Виктор. Ирони- ческие стихи	1
ШИРОКОВ Виктор. Иронические стихи	4
ШИРЯЕВ Владимир. Ирони- ческие стихи	5

В НОМЕРЕ:

Проза

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Искушение.
Роман. Окончание (6)
Омар Рифат Бек МАНСУР аль ФАРГО-
НИ и Рамо Тариф Басурман аль ИНО-
ГРАФ. До ресторанов Парижа — ля-
гушки поют о любви на своем языке
(36)
Борис КОСТЮКОВСКИЙ. Старая под-
кова. Повесть. Окончание (77)

Наша публикация

Протоиерей Александр МЕНЬ (А. Бого-
любов). Сын человеческий. Главы из
книги (2)

Поэзия

Константин ВАНШЕНКИН (34), Алек-
сандр ТКАЧЕНКО (45), Анна САЕД-
ШАХ (46), Юрий МИХАЙЛИК (46),
Ефим БЕРШИН (62), Нина КРАСНО-
ВА (63), Эдуард МИЖИТ (63), Инна
КАБЫШ (76), Александр ЗОРИН (76)

Публицистика

Борис ХАНДРОС. Смертные листы (47),
20-я комната. Заседание тридцать
восьмое (66)
Андрей КОЛОБАЕВ. Папа, Тэтчер
и я (72)
Лариса ШАТОВА. Читайте «МИКС» (75)

Культура и искусство

Виктор ЛИПАТОВ. Счастье и трагедия
русского гофмалера (64)

Критика

Игорь ВОЛГИН. Возвращение с прогул-
ки (58)

Спорт

Хроника футбольного года (89)

Почта «Юности»

Шестнадцать ответов на два вопроса (56)

Зеленый портфель

Валерий ПОПОВ. Недолет (91)
Нина ИСКРЕНКО. Ироническая поэ-
зия (94)

Содержание журнала «Юность» за
1990 г. (95)

Совместное советско-американское предприятие
«ЭЛЬБА» и RACIFIC FIDELITY CORPORATION
(California, USA) предлагают содействие желающим
заклучить брачный союз с гражданами США.

Поступающая информация обрабатывается на
компьютерах СП «Эльба» и включается в сетевую
базу данных брачных фирм США.

Письмо в наш адрес (117593, Москва, ул. Рокотова,
1/12-120) должно содержать:

— анкету: имя, отчество, фамилию, дату рожде-
ния, образование, профессию, рост, вес, наличие де-
тей, вероисповедание, национальность, увлечения,
знание языков, адрес, телефон, какие качества цени-
те в мужчине (женщине);

— четыре фотографии (две в полный рост);

— квитанцию о почтовом переводе 35 рублей на
расчетный счет № 609316 в Строительном отд. Жил-
соцбанка г. Москвы, МФО 201575, СП «Эльба».

При получении приглашения в США для личного
знакомства расходы на авиабилеты, проживание
и сервис производятся за счет фирмы.

Рукописи объемом менее авторского листа
не возвращаются.

Во всех случаях полиграфического брака
в экземплярах журнала обращаться в изда-
тельство «Правда» по адресу: 125865, Москва,
А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление первой страницы обложки
Вадима и Владислава Игоных
Главный художник Олег Конин
Художник Юрий Цишевский
Технический редактор Диана Мазур

Сдано в набор 02.10.90. Подп. к печ. 26.10.90.
Формат 84×60%. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 2907.
Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6,
ул. Горького, д. 32/1.
Телефон для справок 251-31-22.

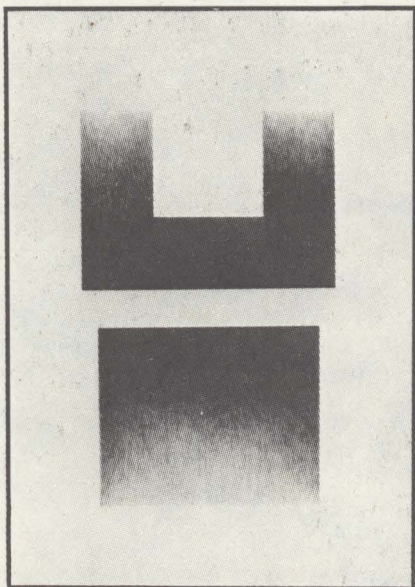
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,
«Юность», 1990 г.

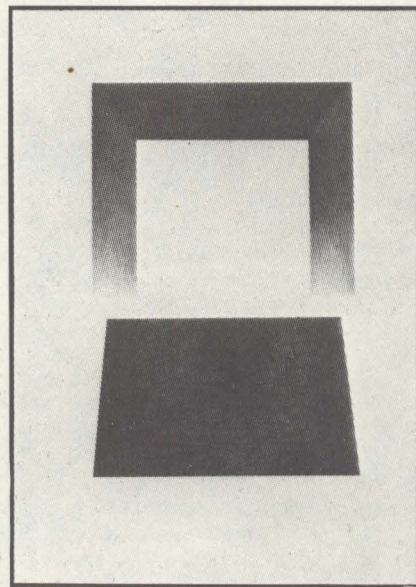
Юбер Вюрт родился в Люксембурге в семье художника. Начал рисовать в конце шестидесятых, в 15 лет, но отец убедил его в том, что художник не профессия и тяга к искусству, если она действительно сильна в душе, сама пробьет себе дорогу. Так и случилось. Дипломатическая карьера не помешала ему стать художником, найти свой стиль.

Свой стиль Юбер Вюрт нашел в диалоге с «Черным квадратом» Малевича, стремясь в серии графических листов проникнуть в молчащую черноту квадрата, увидеть его структуру. Работы люксембургского художника отличает переход от обыденности, хаоса в мир, где добавлено еще одно измерение бытия — стремление к ясности, гармонии, простоте. Лишь нити, которые протягивает человек, предчувствуя порядок, попадают в художественное пространство. Они часто прозрачны, легки, как бы парят. Отсветы, тени, следы событий... Так живет память. Возвращая нас к прошедшему — к людям, событиям. Эти геометрические композиции полны чувств, далеких от холодного анализа. Мощные цветовые плоскости то приходят откуда-то сверху, то вырастают снизу, препятствуя даже мысли о том, что может существовать что-либо более значительное, чем размышления о силовых полях, действующих в мироздании. Так воплощается мысль о бесконечности.

Евгения ГОРЧАКОВА

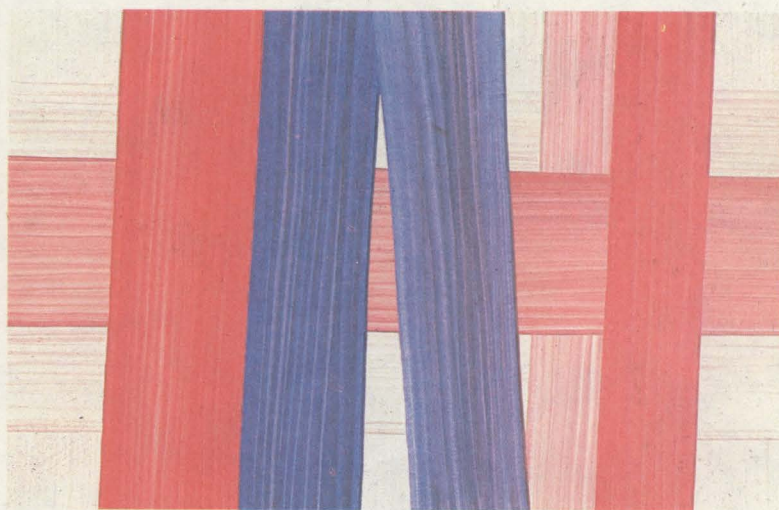


«Посвящение Казимиру Малевичу». Карандаш.

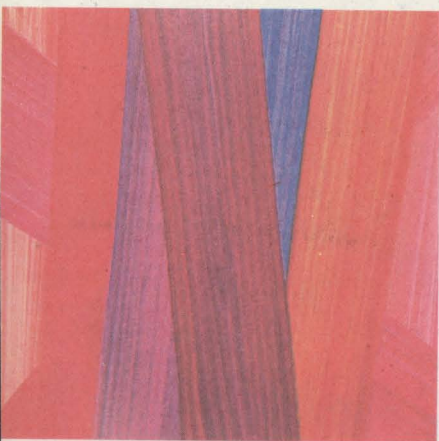


На стендах «ЮНОСТИ»

Юбер ВЮРТ (Люксембург)



«Диалог». Холст, масло.



«Драма». Холст, масло.



«Погружение». Холст, масло.

Куда безопаснее завоевывать мир не оружием, а компьютерами.
В экспериментальном объединении «АРСЕНАЛ»,
за спиной которого мощный потенциал оборонных предприятий,
приступивших к конверсии, поняли это одними из первых.

Компьютеры этого объединения «КОМПАНЬОН» и «МАГИК» (компьютеры нового поколения серии «СПЕКТРУМ») сегодня самые дешевые в стране, а по надежности превосходят зарубежные аналоги!

«КОМПАНЬОН» и «МАГИК» — это компьютеры для всех. Диапазон их возможностей универсален и устроит любого — от первоклассника до академика. Столь же универсальна и сфера использования этих компьютеров — от учебных компьютерных классов и игровых залов до процессов управления производством и подготовки научно-технической документации.

Компьютеры и информационные сети на их основе продаются по наличному и безналичному расчету и устанавливаются «под ключ». По истечении гарантийного срока предоставляются льготы для приобретения нового компьютера.

Наш адрес: 125190, Москва, а/я 179.

Факс: (095) 2002216, 2002217.

Телекс: 411700 ТОМ.

Телефон: 278-50-38 (с 11.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья).



ВНИМАНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
КООПЕРАТОРОВ, АРЕНДАТОРОВ И СМЕЛЫХ ИНИЦИАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ!

Журнал «Юность», имеющий многомиллионную читательскую аудиторию,
принимает заказы на публикацию КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ.

Почему бы вам не оказаться в фокусе всеобщего внимания?

НЕИЗВЕСТНОСТЬ И КОММЕРЦИЯ — слова-враги! Справки по тел. 251-14-21